

- **ДЕТСТВО НА СОВЕТСКИЙ МАНЕР** –  
главы из нового романа Сергея Юрьенена
- **ЗАЧЕМ В ИЗРАИЛЕ ПИСАТЬ ПО-РУССКИ?** –  
иерусалимские размышления эттингеровских лауреатов
- **БЕЙРУТ, ИЛИ ВЕЛИКОЕ МОЛЧАНИЕ ПРЕССЫ** –  
история капитуляции западных журналистов
- **ОРВЕЛЛ И РЕВОЛЮЦИЯ МЕНЕДЖЕРОВ** –  
новое прочтение знаменитого романа
- **ЛИТЕРАТУРА И ИЗГНАНИЕ** –  
вокруг международного симпозиума в Иерусалиме

41

22

№ 41

МОСКВА И ИЕРУСАЛИМ

---

# ДВАДЦАТЬ ДВА

---

общественно-политический и литературный журнал  
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле.  
Лауреат премии имени Р. Н. Эттингера за 1984 год.

---

Год издания VII

№ 41

март-апрель 1985

---

## СОДЕРЖАНИЕ

### ЛИТЕРАТУРА

- СЕРГЕЙ ЮРЬЕНЕН. Сын империи (инфантильный роман) . . . . . 3  
НАУМ ВАЙМАН. Стихи . . . . . 47  
ДЖОН ЛЕ-КАРРЕ. Маленькая барабанщица (роман, продолжение;  
сокращенный перевод с английского Р. Нудельман) . . . . . 51

### ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

- Эттингеровские речи (Э. Любошиц, Н. Рубинштейн, М. Хейфец,  
Ю. Колкер, А. Воронель, Н. Гутина, Р. Нудельман, М. Каганская) . . . 117

### ОЧЕРКИ И ВОСПОМИНАНИЯ

- ЗЕЕВ ХЕФЕЦ. Бейрут, или великое молчание прессы . . . . . 140

### ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

- АЛАН БУЛЛОК. Стоит ли оглядываться на прошлое? . . . . . 154  
ИЦХАК ОРЕН. Начала и концы. . . . . 163

### МИР СОВРЕМЕННЫХ ИДЕЙ

- АЛЕКСАНДР ДОНДЕ. Орвелл и революция менеджеров. . . . . 169

### ЛИТЕРАТУРА И ИЗГНАНИЕ

- На симпозиуме в Иерусалиме. . . . . 183  
Интервью с Чеславом Милошем . . . . . 191  
ТОМАС ВЕНЦЛОВА. Поэзия как искупление. . . . . 194  
ЗЕЕВ БАР-СЕЛЛА. Страх и трепет. . . . . 202

## ЛЮДИ И КНИГИ

АННА МАЮЛИНА. Исповедь как литературный жанр. . . . .	214
МАРША ПОМЕРАНЦ. Кто открыл Иону Волох? . . . . .	218

---

### ИЗДАНИЕ

общественного культурного фонда "Москва-Иерусалим" под покровительством Израильского комитета ученых при общественном совете солидарности с евреями СССР

главный редактор — Рафаил Нудельман

#### Редакционная коллегия:

В. Богуславский	Ю. Меклер
А. Воронель	Н. Рубинштейн
Н. Воронель	М. Хейфец
Э. Кузнецов	Я. Цигельман

И. Чаплина

заведующая редакцией — Мириам Бар-Ор

технический редактор — Наталья Рубина

Всю корреспонденцию направлять по адресу:  
"22", P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel

Телефон редакции — 03/394525

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва—Иерусалим". Использование материалов без ведома и согласия издательства не разрешается.

Отпечатано в типографии  
"ЯКОВ ПРЕСС"  
ул. Рош-Пина, 22  
Тель-Авив

Был месяц май. Пятьдесят Первого, и Августе было четырнадцать, а ему три. Мама сняла мансарду у Финского залива.

Они пошли в лес без мамы. Вдруг Августа тихо сказала: — За нами идет мужчина. Не оглядывайся.

Он оглянулся. Это был солдат. Сапоги его были бесшумны во мху, а в руке он сжимал пилотку.

— Это же солдат! — обрадовался Александр.

Солдат резко шагнул в сторону и пропал, спрятавшись за стволом.

— Бежим! — рванула его Августа.

Треск сучьев гнался за детьми, но они убежали. Все кругом было тихо, когда они отдышались. Где-то постукивал дятел. Было сумрачно, сыро, и полным-полно цветочков.

— Это ландыши, — сказала Августа. — Серебристые ландыши!

— Они белые, — возразил Александр.

— Ничего ты не понимаешь. Давай наберем букет для мамы.

— Давай.

Цветочки пахли кислой сыростью. Ему больше нравился мох — изумрудный, мягкий, как мех невиданного зверя, и топко-сырой под коленями. Он ушел на коленях далеко. Потя-

*Сергей Юрьенен*

**СЫН ИМПЕРИИ**

(Инфантильный роман)

нул за цветочком, и вдруг колючка ржавая вонзилась в рубашку. Он дернулся, порвал рубашку. Двамя пальцами приподнял тяжесть колючей проволоки и оказался на солнечной прогалине. Цветов тут было невидимо, и колокольчики на них крупней.

— Августа! — позвал он, увлеченно срывая цветы. — Ау-у!

За спиной вдруг раздался шип по-змеиному.

— Александр...

Он оглянулся.

— Замри! — хрипло скомандовала сестра, и он замер. — Теперь давай назад, но смотри у меня: чтобы след в след!..

Он вернулся, вставляя колени в свои сырые ямки.

Сквозь еловые лапки высунулась рука Августы с обгрызанными до розового мяса ногтями. Приподняла проволоку, и он перекатился обратно, в тень.

Рывком Августа подняла его и потащила так, что лес исхлестал его неизвестно за что. Он только закрывал лицо. Потом он отнял от глаз руки.

Перед ними под солнцем высилась насыпь узкоколейки.

Августа втащила его на насыпь и усадила на рельсу. Села рядом и ткнула пальцем вниз.

— Видишь надпись?

Туго натянутые ряды колючей проволоки выползали из лесу, наматывались на столб и дальше, на столбах, тянулись вдоль насыпи далеко-далеко. К третьему по счету столбу был приколотен дощатый щит. На нем было написано что-то — черными, преувеличенными буквами. Грозными на вид.

— Вижу, — сказал Александр.

— Читай!

— Я же не умею! — возмутился он.

— Научись! Буквы знаешь? Знаешь. Вот и давай, складывай!

Рельса была теплой. Он крепко взялся за металл, вздохнул и начал складывать. После длительного мозгового усилия он подытожил:

### *ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА МИНЫ*

— Ну?

— Чего "ну"?

— Сложил вот.

— И радуешься, да? А радоваться тут нечему. Что это такое "мина", знаешь?

Он потупился. Узкоколейка заросла вся розовым и лиловым бархатом "львиного зева". Он знал, он даже знал, что у нас уже есть Атомная Бомба, но обо всем об этом имел все же туманное представление.

— Наступил бы на нее, раз! и ничего бы от тебя не осталось. И что тогда?

Он сорвал "львиный зев", путем нажатия раскрыл ему пасть и залюбовался, вспомнив Самсона в Петергофе. Августа вырвала цветок.

— Отвечай!

— Ничего тогда.

— То-то и оно! Тебе ничего, а мне потом возвращаться! Как бы я маме в глаза посмотрела? — Августа придвинулась, натянула сарафан на свои худые коленки с преждевременно содранными болячками и обняла Александра. — Нет, — сказала она. — Не вернулась бы я.

— Куда бы ты делась?

— А удавилась бы в лесу! Как вон Надежда-почтальонша. Или не знаю... В Финском бы заливе утопилась. — Августа понюхала свои ландыши и дала понюхать ему. — Все-таки как они *серебристо* пахнут, скажи? Я бы даже сказала: благоухают.

— Финский залив слишком мелкий. А удавиться — у тебя веревки нет.

— Я ему про Фому, а он мне про Ерему.

Тогда он встал из-под ее руки и показал Августе с насыпи вниз, за ряды колючей проволоки.

— Там, где я был, — сказал он, — они еще серебристей.

Августа положила между ног увядший букетик, наклонилась, сняла свои сандалеты и высыпала сквозь узорчатые их дырочки белый тонкий песок. Вдела ноги и снова сняла, чтобы выбить об рельсу.

— Запретная зона, Александр, — сказала она, — это запретная зона. Запомни у меня раз и навсегда. Заруби себе на носу, если хочешь остаться цел! Пошли...

## ЕЕ РОЗОВЫЕ ТРУСЫ

Августа сняла свой сатиновый пионерский галстук с концами, скрутившимися в стрелки, сняла черный фартук, стащила через

голову темно-коричневое форменное платье; и Александр увидел, что розовые ее трусы, только недавно заштопанные мамой на шляпке деревянного грибка, опять просвечивают попой и к тому же в рыжих пятнах мастики. Августа ходит в среднюю школу девочек — напротив Театра Ленинского Комсомола. На переменах там шайка девочек сбивает Августу на пол и, схватив за ноги, возит из конца в конец по скользкому коридору. Сколько раз ей говорили: защищайся, не давай себя в 'биду. А она опять дала.

— Это что у тебя с трусами?

Августа захлопнула ладонями свои дырки и повернулась к нему, бледная:

— Только маме не говори!..

Александр, однако, накопил зла, что не дает ему Августу перед сном слушать репродуктор, а уроки зубрит невнятно бубня — так, что ничего не различить. Н а р о ч н о . И он вырвался из тисков ее худых рук.

Мама стирала в ванной. За ней уже была занята очередь на стирку, и она торопилась: изо всех сил натирала о гофры терки, об эти волны из оцинкованной жести, взмыленное, хлюпающее, сердито попискивающее белье.

— А Августа трусы порвала! — осведомил Александр, испытываю ожог мстительного наслаждения.

— О чем ты, сынуля? — Тыльной стороной ладони мама сняла со лба прилипшую прядь.

Он повторил, и выражение на мамином лице обезобразилось гневом. Она упруго разогнулась и закричала:

— Как, опять?!

Он попытался, захлопнув себе рот. Но было поздно. Слово вылетело.

Страшной ведьмой — волосы во все стороны — мама влетела в комнату. В правом углу была печь — толстая, как под Музеем Атеизма (Казанский собор) колонна. До потолка. Обитая листами гофрированной жести. В угол между боком этой печи и стеной и забилась Августа. Ноги ее изо всех сил упирались в пол, и, глядя исподлобья, она пыталась откусить еще ногтя — с большого пальца.

— Руки изо рта! — крикнула мама.

Спрятав руку за спину, Августа буркнула:

— Врет он все.

— Ах, врет?!

Рывком мама вытащила Августу из-за печи, рывком задрала

ей подол и своими глазами увидела, что Александр показал правду, только правду и, кроме правды, ничего. Мама присела на корточки и, царапаясь как кошка, спустила с Августы трусы.

При этом Августа, прикусив ноготь, смотрела в окно.

— А ну, ногу подними! Да пошевеливайся!..

Августа оторвала ногу от пола.

— И эту тоже!

Приподняла и эту.

Мама вскочила и растянула под глазами дыры на трусах Августы. Крикнула:

— Ну, погоди у меня, дрянь!..

И хлопнула дверью, оставив их наедине.

Августа только и спросила, не обернувшись:

— Рад, да? Стукач малолетний!

Окно выходило в колодец тесный. На фоне облезлых до кирпичей стен спиралью свивалась метель. Справа в этом колодце стены не было, и в эту щель видно было, что там, снаружи, еще светло.

Под зеленым светом настольной лампы Августа зубрит урок на завтра. Из учебника "Логика". И на этот раз — внятно.

— Перестань, надоело! — говорит Александр.

— Ты же ведь клянчил? Так на, обожрись, яй-абеда!.. *"Меня пленила, говорил И. В. Сталин, та непреодолимая сила логики в речах Ленина, которая несколько сухо, но зато основательно овладевает аудиторией, постепенно электризует ее и потом берет в плен, как говорится, без остатка. Я помню, как говорили тогда многие из делегатов: "Логика в речах Ленина — это какие-то всесильные щупальцы, которые охватывают тебя со всех сторон клещами, из объятий которых нет мочи вырваться. Либо сдавайся — либо решайся на полный провал". Необычайная сила убеждения, логичность и ясность речей В. И. Ленина и И. В. Сталина являются выражением того глубокого смысла, богатство содержания которого заложено в этих речах"*\*. Хватит, или еще?

— Хватит.

— То-то же. И больше ко мне не лезь. Еще назубришься, когда в школу пойдешь.

---

\* "Логика". Учебник для средних школ. Министерство просвещения, Москва, 1950.



– Щупальца, – спрашивает Александр, – это у осьминогов руки?

– У осьминогов? Да!

– В Фонтанке осьминоги водятся?

– Нет.

– А в Неве?

– Нет.

– А в Финском заливе?

– Нет.

– А в Балтийском море?

– Осьминоги водятся только в теплых морях, которые далеко.

– А вдруг, – пугается он, – какой-нибудь один по трубам канализации у нас в уборной всплывет?

– А тебе-то что? Ты же на горшок ходишь.

– Хорошо бы он под Матюшиной всплыл. Охватил бы ее – и обратно, – говорит он. – По трубам...

– Хорошо бы! – Августа смеется в кулак, потом спохватывается: – А теперь отстань со своими фантазиями, а? Меня еще бить будут, а я уроки не выучила. Спи!

– А если мне не спится?

– Так фантазируй про себя!..

Чтобы избить Августу, маме приходится дожидаться ночи, когда с кухни все разойдутся и запрутся у себя в комнатах. Тогда мама приоткрывает дверь:

– А ну, пошли!..

Августа встает из-за стола и выходит. Она закрывает за собой дверь комнаты, а мама закрывает дверь из кухни в коридор. Но удары – мотком бельевых веревок – все равно просачиваются. По русской пословице, сор из избы выносить нельзя, поэтому сначала они обе – мама и Августа – молчат, но удары все сильнее слышны, и Августа начинает взвизгивать. В животе Александра оживает как бы крыса – как в китайской изощренной пытке, о которой рассказал ему дед, еще в Старые Времена побывавший юнкером-практикантом на сопках Маньчжурии. Крыса начинает выгрызать его изнутри, и он двумя руками под одеялом зажимает то, что – “распетушь”, называет бабушка, а мама: “твое хозяйство” – находится, нежное, между ног.

“Ой, мамочка! — доносится с кухни. — Ой, миленькая! Ой — больше в обиду не дамся! Это же все они, девчонки!..”

“Не оправдывайся, дрянь! Будешь оправдываться, насмерть запорю! Вот тебе за трусы! Вот тебе — что ногти изгрызла! Вот тебе за “уд” твой по родной литературе...”

Так кричит мама — и выкрикивает из Большой Комнаты грузные шаги бабушки.

Втолкнутая, ударяясь об углы, влетает в комнату Августа и, всхлипывая, начинает сразу же раскладывать свою раскладушку из алюминиевых гнутых трубок, между которыми кое-где оторвался от пружинок натянутый брезент. Будильник она уже завела на семь. Она старается не греметь, прислушиваясь к тому, как на кухне мама кричит:

“Не вмешивайтесь в воспитание! Не имеете права! *Мой* ребенок, а вам даже не внучка!”

Августа с повышенной старательностью вешает свое домашнее платье на спинку стула и поворачивается, зажав подолом майки золотистый пушок у себя между ног.

— А все из-за тебя... Ты что это там делаешь, развратник?! А ну, руки на одеяло!

По одной, она выдергивает его руки из тепла и складывает их у Александра на груди.

Перед тем, как закончить вмешательство в чужие дела, бабушка говорит:

“Креста на тебе нет, Любовь!..”

И уходит.

Александр торопливо зажмуривается. Входит мама.

## ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ

С черного хода, — он прямо из кухни, — мама вынесла на лестницу оцинкованный таз с бельем, и Александр вышел следом. Он взялся за холодные прутья перил, просунул голову и посмотрел на дно пропасти в семь этажей. Чем дальше он туда смотрел, тем неудержимей хотелось ему вывалиться. Слюна этого желания наполнила рот, он уронил плевков — всунул голову обратно и наперегонки с плевком бросился вверх по ступенькам. Поворот, еще один, марш вверх — к чердачной площадке...

Слабый звук плевка его опередил.

Он переступил порог. На чердаке гудел ветер, прорываясь в узкие вентиляционные бойницы. Мама влезла под балку, наматала там принесенную с собой белую веревку (оставлять нельзя, своруют), и вот уже оттуда захлопал, пытаясь оторваться, любимый мамин лифчик, вывезенный из Германии, где, угнанная врагом в рабство, она всю войну проработала в "арбайтслагере", но об этом никому нельзя говорить.

В сумрачном дальнем углу стоял большой дощатый ящик с песком — на случай пожара. А на случай новой мировой войны, которую вот-вот разожгут Соединенные Штаты Америки с помощью Англии и Франции, за ящиком были надежно спрятаны железные клещи, которыми дедушка Александра во время блокадных бомбардировок хватал немецкие зажигательные бомбочки. Маленькие, они насквозь прожигали крышу, но на чердачном полу он, дедушка, их — р-раз — и схватывал в клещи, после чего относил в песок. Где какая-нибудь случайная, может быть, и затерялась. Оглянувшись на маму, — мама увертывалась от ударов беля и ей было не до него, — Александр погрузил руки до запястьев в мерзлый, а потом сырой песок. В разных местах втыкал он свои руки в ящик, но бомбы так и не нашел. Вот если бы лопату. Он нахлобучил шапку поплотней, поднял воротник шубы, втянул руки в рукава и, переминаясь на месте, похрустывая щепнем, огляделся.

Вместе с порывами ветра сквозь белую дыру окна влетали снежинки. Большинство уносилось сквозняком, но отдельные отпадали и, красиво кружа, опускались медленно вниз. Александр стал ловить снежинки. Поймав, он их слизывал с ладоней. Потом он вытер руки, взялся за занозистые бока деревянной лесенки и полез вверх, к дыре.

В лицо ему ударил ветер, но он удержался. Потом ветер отпал, оставив на лице ожоги снежинок, и Александр, взявшись за кирпичи кладки, высунул голову.

Было высоко. Так, что над крышей дома напротив, всеми окнами глядящего в колодец двора, Александр увидел намного более высокую, но удаленную крышу углового дома между улицей Рубинштейна и Загородным проспектом. Угол этого дома был срезан, и там, внизу, невидимая отсюда, помещалась театральная касса, где можно взять билеты в любой театр Ленинграда. Но вот на что он никогда снизу не обращал внимания, это на то, что крышу того дома подпирают рельефно-мускулисто оживающие

из стен статуи бородатых фавнов с рожками. Они подпирали карниз крыши своими могучими руками, корча самые разнообразные гримасы, — то жуткие, то смешные, — никем — из-за тесноты улицы под ними — невидимые. Там, под ними, опустив головы, люди муравьями разбегаются из подворотен в магазины и сбегают обратно в подворотни, не зная, что над ними гримасничают бородачи.

Только он, Александр, об этом узнал.

От этого он себя почувствовал — не Богом, нет, но что-то переполнило его, ощущение некоей Силы. И он опустил голову, чтобы увидеть свой собственный дворик.

На дне стояли мусорные баки, занесенные снегом, а подальше от баков, прямо под Александром, головами друг к другу сошлись три фигуры. И он их опознал, Александр. Это были нехорошие люди. В сером шерстяном платке была Уполномоченная, в синей ушанке — Участковый, а в черной кожаной — дворник Африкан Африканыч. Постукивая своим скребком, он там, на дне, явно ябедничал Уполномоченной и Участковому на Космополитов. Стучал. Несмотря на свое имя-отчество, Африкан Африканыч был огненно-рыжим. И волосы, и бородища, и даже пестрое веснушчатое лицо. Весь. За исключением зеленых глаз. Поверх овчинного тулупа он надевал белый фартук, а на грудь фартука прицеплял начищенную медную бляху. Бляха эта много власти давала ему над жильцами. Так, когда Африкан Африканыч был не в духе, недопив, он вышибал ногой дверь дворницкой внизу, брался за перила и, задрав свою рыжую бороду кверху, орал в пролет, как в трубу: "КОСМОПОЛИТЫ! ЖИДОВЬЕ ПРОКЛЯТОЕ! ОБРАТНО РАССЕЮ ПОГУБИТЬ ЗАДУМАЛИ? ИШЬ, ЗАТАИЛИСЬ, КАК КЛОПЫ!.. ИШШО СОРВУТ С ВАС МАСКУ! ИШШО ПОПРУТ ВАС ИЗ ГОРОДА ЛЕНИНА К ЕБЕНЕЙ МАТЕРИ!" На другой день после этих страшных криков сын его Африкаша обходил сверху донизу все квартиры на лестнице, собирая с жильцов "на лампочку". В квартире Александра "космополитов" не проживало, кроме того все знали, что и на этот раз Африкан Африканыч пропьет давно обещанную лампочку, поправляя голову, — но все давали тоже. Почему? Потому что у дворника есть Домовая Книга, где о каждом все, что тот скрывает, записано. И про дедушку. И про маму — что на Оккупированной Территории была. И поэтому с улыбкой извинения что больше не может мама даже не на лампочку, а всякий раз сует Африкан

Африканычу в карман фартука рублевую бумажку, а он и “благодарствуйте” не говорит, так, сквозь зубы цедит: “Ладно уж, ж-живи покуда... Когда на чаек-то зайдешь, а? А то, смотри, выкипит чайничек да распаяется...”

Не нужен нам твой чай, Африкан Африканыч. И будем мы жить не “покуда”, а вечно. А вот тебе -- стоит ли жить? С этой мыслью или, вернее, ощущением Александр вынул из разошедшейся кладки правый кирпич и поставил его на средний. Слева вынул и третьим водрузил. А потом, поднатужившись, вытолкнул из окна всю стопку.

Каждому по кирпичу.

Глянул на хохочущих фавнов, спустился с лесенки и, вытирая ладони, пошел к выходу с чердака — параллельно маме, которая хрустела по ту сторону балки, окликаая его.

— Ты где это был? — увидела его мама.

-- В песке играл.

Они вышли на лестничную площадку. Мама закрыла дверь, но запереть висячий на ней замок не успела: пролет вдруг наполнился криками и топотом людей.

— Что там случилось? — перегнулась мама над перилами, а он, Александр, взялся за прутья и тоже стал смотреть вниз.

Оттуда к ним, с ужасом на них снизу глядя, взбегали по лестнице люди, а впереди всех Участковый с наганом наготове, дворник Африкан Африканыч со скребком наперевес и Уполномоченная, которая, запрокидывая белое лицо, кричала, как ворона:

— Терракт! ТЕРРАКТ!..

Живые и невредимые. А за ними хлопали двери, кричали жильцы, оповещая тех, кто еще не понял, что на чердаке укрылся Террорист, — и все бежали следом, раскачивая перила и грохоча так, что еще немного, и все мы рухнем в пролет.

Участковый взбежал первый, задыхаясь, скомандовал: “В сторону, гражданка!..” и — наганом к двери — распластался по стене. Он стоял, как распятый, и переводил дыхание, а люди, набившиеся на последний марш, смотрели на него. Потом Участковый ткнул пистолетом в проем двери и крикнул:

— А ну выходи!

Все молчали, слушая, как на чердаке хлопает бельё.

— Есть там кто? -- крикнул Участковый.

— Никого там, — ответила мама. -- А что?

— Только что, — взглянул он недобро на маму, — кто там был?  
-- Никого, кроме нас с ребенком. А что, собственно, произошло?

Участковый — наганом вперед — переступил порог, похрустел там минут пять, вышел, всунул наган в кобуру и утер лоб. Потом повернулся к маме:

— Кирпичи кто кидал?

Мама перехватила пустой таз.

-- Какие кирпичи?

— Такие, — сказал Участковый. — Которыми нас чуть не пришибло.

— А это знаете, гражданка, как классифицируется? — закричала Уполномоченная. — Как покушение на представителей Советской власти! При исполнении служебных обязанностей!.. Субъекты твои, Африкан?

Зелеными глазами рыжий дворник взглянул на Александра.

— Мои.

— Будешь понятым! — назначила его Уполномоченная.

Таз вырвался у мамы из рук и загрохотал вниз по ступенькам, отжимая жильцов к стене. Никто его не осмелился пододать, когда таз утих.

— Я ничего не знаю, -- сказала мама. — Я белье вешала...

— В другом месте, — прервала ее Уполномоченная, — будете объясняться! Ну, и что с того что "вдова"? Что с того, что "посмертно"? — обрушилась она на дворника, пытавшегося ей что-то нашептать. -- Закон для всех един! Как в Древнем Риме говорили, суров закон — но Закон. Товарищ старший лейтенант Мышкин, прошу оформить протокол!

При слове "протокол" жильцы утратили любопытство и стали удаляться, обходя или осторожно переступая оцинкованный таз.

-- Оформить-то недолго, — сказал Участковый по фамилии Мышкин и снова ушел на чердак.

Дворник за ним.

А мама потупилась под свинцовыми глазами Уполномоченной.

-- "Посмертно"! — не выдержала Уполномоченная. -- Моего, может быть, тоже посмертно!.. Но его дети у меня кирпичи на головы представителей не бросают!

— Так это ты?! — вскричала мама, нависая над Александром. — Ты меня под монастырь подвел?

— Ничего себе “монастырь”! — сказала Уполномоченная. — Тут тюрьмой пахнет!..

— Слышишь?

Она наступала с искаженным лицом, а он пятился назад — пока решетка перил не остановила. Тогда он повернулся боком, пролез туда...

— А-ах! — ахнуло все.

...и остановился на выступе, взявшись за прутья. Над пролетом в семь этажей.

— Сашенька... — Там, за прутьями, мама села на корточки. -- Иди сюда.

Он покачал головой.

Уполномоченная смотрела на него сквозь прутья, открыв рот, полный золотых зубов.

С чердака на площадку вышли Участковый Мышкин и дворник Африкан Африканыч.

-- Ветрище там будь здоров! — сказал Участковый Мышкин и увидел Александра.

Дворник тоже увидел и аж крикнул.

— Вот я и говорю, — нарушил паузу Участковый, — что кирпичи те, видимо, сквозняком и выдуло.

— Что точно! — поддержал дворник. — Кладочка-то, считай, столетняя.

Уполномоченная ничего не сказала. Повернулась и пошла вниз, разгоняя своим видом последних любопытных жильцов.

— Ну? — подзывала мама из-за прутьев. — Иди, сынуля...

— А нас не оформят?

— Не оформят, не бойся... Давай.

— И в тюрьму не посадят?

— Ну что ты? Тетя пошутила...

Он толкнулся плечом обратно, и мама, сунув руки сквозь прутья, вытолкала его на площадку и больно прижала к себе, к поредевшему ожерелью деревянных прищепок.

— Ты это, Любовь батьковна... — донесся голос дворника. — Спустишься потом.

— На чаек? — недобро усмехнулся голос мамы.

— Чаек с кем другим будешь пить. По поводу прописки мне с тобой потолковать надо. Ясно?

К ужину мама возвращается. Толчком спины прикрывает дверь, расстегивает шубу, разматывает шерстяной платок.

— Уф-ф! — говорит. — Ну, кажется, пронесло!..

На коммунальной кухне зажжены обе газовых плиты, и снег на маме тает, унизывая всю ее радужным сиянием. Из-под железного крыла теплой, бабушкиной плиты Александр смотрит на сияющую маму.

— Взял? — спрашивает дед.

— Взял.

— Все триста?

— Ага! “С другой бы, говорит, всю тыщу за такое слупил, но, учитывая многодетное положение...” Спасибо вам огромное, Александр Густавович! Я вам отдам, вот клянусь!..

— Чего уж там, — говорит дед.. — Ну и хам! — говорит он. — Правильно в свое время литератор Мережковский предсказывал: “Грядет Великий Хам!” Но его не расслышали. Увы!

Соседка Матюшина от своей плиты подает сиплый прокуренный голос вокзальной диспетчерши:

-- “Пронесло”, говоришь. Может быть, и так. На *этот* раз. А что он у тебя в следующий раз натворит, а? Яду крысиного мне вот в эту кастрюлю подкинет? Газу напустит и с одной спички весь дом подорвет?

-- Не подорвет он.

— А *если*? Где гарантия? Да и кто в нее поверит, если он уже кирпичи в ход пускает?

— Ох, — говорит мама, — даже не знаю.. Ну, а что мне с ним делать? Можно бы, конечно, в детсад попытаться его определить, так еще хуже: из болезней вылезать не будет. Просто голову не приложу.

— Ты спрашиваешь: “Что делать?” А я, — говорит Матюшина, -- тебе скажу. Прежде всего огради от тлетворного влияния! А то его еще и не тому научат. Те, по которым Большой Дом еще с Октября Семнадцатого плачет!..

Дедушка гасит папиросу в ракушке, -- это Александр видит по бряканью над своей головой, -- бабушка снимает с плиты вскипевший чайник, -- и уходят с кухни.



— Сочувствую тебе, Любовь! — сипит Матюшина. — Связала же тебя судьба-злодейка! Это же — прямо не знаю... Клубок змей! Банда Теккерей! Ну, взглядишь сама: каково их политическое лицо?

— При чем тут они...

— Сын? Так не они его, его Партия воспитала, товарищ Сталин его окрылил! А они теперь им прикрываются, купоны с геройской смерти стригут.

— Извини, но...

— Нет, это ты меня извини, но я, ты знаешь, привыкла правду-матку! Невзирая там на якобы родственные связи! Свекровь твоя — просто-напросто ханжа набожная, ну а теть... Чего там говорить? Сама каждый вечер слышишь, как он тут топчет в грязь все советское. Кровное наше топчет! Завоеванное! Эх, Любовь, Любовь! Беззубая ты! Попались бы они мне, я бы уж себя не дала загнать в эту каморку. Я бы у них Большую Комнату отсудила. Да что там! Попадись они мне, я бы их выперла вон из Ленинграда!

Александр больше не выдерживает.

— Тебя саму выпереть надо! — кричит он, выскакивая из-под железного крыла плиты. — Ты после Блокады дедушкин кабинет оккупировала!

— А ну марш в комнату! — кричит мама.

— А еще ты через банку трехлитровую дедушку подслушиваешь! Вот отрежешь себе ухо — погоди!

Матюшина на мальчика ноль внимания.

— Плоды воспитания, — говорит Матюшина маме. — Любуйся! Заступничка себе готовят. Мстителю юного. У, террорист малолетний!

Она замахивается супным половником, но мама, опережая, хватывает за ухо орущего Александра, выволакивает из кухни, где торопливо гладит по голове, давая понять, что это не всерьез, а напоказ, для Матюшиной, — открывает дверь комнаты и дает пинка коленом.

Влетев в комнату, Александр тормозит себя за скатерть, утаскивая из-под глаз Августы учебник "География".

— Ты чего это? — Августа подтаскивает учебник обратно.

— Фашистка!

— Кто?

— Тюха-Матюха проклятая!

— Конечно, фашистка. Ты что, об этом только сегодня узнал? —

И, зажав ладонями уши, Августа снова уходит с головой в учебник. Он взбирается на подоконник и прикладывает горящее ухо к холодному стеклу.

— ...но это грубая ошибка (бубнит сестра). Географическая среда не является существенным признаком, определяющим характер того или иного общественного строя. Так, например, климат в нашей стране и климат в США различаются незначительно, однако, как мы знаем, развитие общественного строя в США отстало от развития общественного строя в СССР на целую историческую эпоху...

За окном, в колодце каменном, взвизгивает, бьется и воет ночная пурга.

Он бросает взгляд направо, на окно кухни. Оно обморожено по краям, а в центре, освещенная тусклой лампочкой, ведьма с короткой стрижкой и озлобленным лицом неслышно разевает рот, размахивая в такт оловянным половником.

#### КРАСНАЯ АРМИЯ ВСЕХ СИЛЬНЕЙ

Они спят втроем. Мама у стенки, Гусаров с краю, а он, Александр, у них в изголовье. Поперек.

Трещит будильник, и глаза открываются сами.

Августа спит на раскладушке, задвигаемой под стол. Александр слезает на пол и обнажает ноги Августы. Она вылезает из-под стола, берет в охапку школьную одежду и раздувшуюся от учебников брезентовую полевую сумку, Гусаровым подаренную, — уходит на кухню. Александр за ней. На нем обязанность — закрывать на крюк после Августы дверь черного хода. Потом Александр допивает остатки ее утреннего чая из большой алюминиевой кружки. Идет по коридору, поднимает руку и дергает за ручку. Дверь заперта. Большая Комната еще спит. Он стучится — не открывают. Колотится об дверь лопатками — шипят сердито, но не встают впустить. Из замочной скважины сквозит нехорошим душком.

— Спите и спите! — лягает он дверь. — А потом у вас смертью изо рта пахнет!.. Вставайте, не то умрете!

Но они не хотят жить. Отжившие люди — верно о них говорят. Александр возвращается в Маленькую Комнату.

Гусаров спит тоже. Александр придвигает стул к матрасу,

стоящему на кирпичях. Разглаживает Гусарову грозную морщину на переносице. Завинчивает ему усы.

— Хватит спать, Гусаров!

— Для кого Гусаров, а для тебя папа, — отвечает он не открывая глаз.

— Мой папа смертью смерть поправил. Вставай, в Академию опоздаешь!

— Солдат спит, служба идет.

— Ты же офицер?

— Один хер, — сквозь сон отвечает Гусаров.

Щеки у него уже синие. Александр отходит. На подоконнике лежит бритва Гусарова. О п а с н а я . Он остро ощущает опасность бритвы, раскрывая ее. Он выдыхает на бритву. Затуманенное лезвие медленно проясняется. Ремень, о который Гусаров точит бритву, толстый и прочный. Еще у Гусарова есть большая жестяная коробка из-под американского табака, который ему в Вене подарил американский летчик. Когда американцы еще были хорошие. Александр открывает коробку. Он перебирает вещи спящего Гусарова. Латунную дощечку с прорезью — Трафарет. Чтобы, не пачкая мундира и шинели, полировать зубным порошком пуговицы с сияющими пятиугольными звездами армии. Кусок позеленелого войлока. Бархотку — для наведения на пуговицы армии зеркальности. Потом Александр поворачивается на стуле к столу, расстегивает большой, до серых пятен вытершийся портфель свиной кожи. Из портфеля медленно выползает коробка карандашей "ТАКТИКА". Большой и толстый красный карандаш "СТРАТЕГИЧЕСКИЙ". Еще один Трафарет — этот из мутно-прозрачного целлулоида, сквозь разнообразно-узорчатые прорези которого остро отточенным карандашом можно так четко нарисовать любой контур: Бойца. Оружие. Танк. Самолет. Стрелу Решающего Удара — хищную, как акула. Еще выползают: трофейная немецкая готовальня, сложенные оперативные карты — такие огромные, что в их Маленькой Комнате полностью их и развернуть нельзя. И книга толстая: "И. В. Сталин о военном искусстве". Без картинок... Александр еще раз поворачивается на стуле — лицом к его спинке. На ней висит китель Гусарова с чистым белым подворотничком, который он собственноручно пришил с вечера. Через золотое погонное плечо кителя перекинута портупея, которой, уходя в Академию, опоясывается Гусаров — сложное, как упряжь конская, переплетение толстых и тонких ремней, пахучих, дурма-

нящих, простроченных узором, с дырочками, пряжками червонного золота и серебряными застежками и держалками для шашки, которую выдают на время Ноябрьского парада, а также для кобуры с лучшим в мире пистолетом системы "Макаров", который снова вернется к гвардии капитану Гусарову, когда он закончит свою Бронетанковую Академию и снова вернется в строй. Боевым офицером лучшей в мире армии, о которой недаром поет радио, что

*От тайги до британских морей  
Красная Армия – всех сильнее!..*

И тогда они все отсюда уедут. Может быть, в Берлин, а может быть – в Пекин... Александр смотрит в окно на почерневшие стены опостылевшего колодца.

Соскакивает на пол.

– Вставай, Гусаров! – говорит. – Труба зовет.

– Для кого Гусаров, а для тебя, брат, папа, – бормочет спящий рядом с мамой гвардии капитан.

На щеках его под пальцами Александра трещит щетина.

– Подъем, подъем, – зовет Александр. – Ты уже так долго спишь, что борода у тебя выросла. Пора тебе побриться?

– Дай, брат, доспать, – не открывает глаз Гусаров.

– Ну, хочешь: ты спи, а я тебя побрею?

– Зарежешь...

– Тогда я тебе пока бритву наточу?

– Порежешься. – И бормочет, удаляясь снова куда-то далеко-далеко: – Прогоним фрицев, тогда и будем бриться... Охота сон досмотреть – а, сынок? До победного конца.

Александр умолкает. Александр влезает на стул с ногами и, подперевшись, внимательно смотрит на суровое лицо усатого мужчины, по смене выражений пытаюсь угадать, как разворачиваются события на фронте утреннего сновидения. Гусаров стискивает зубы и гоняет по щеке желвак, но Александр знает: как бы ни было трудно, победа останется за нами.

Красная Армия всех сильнее.

## РЫСЬ

В мае мы все, кроме Гусарова, который сдавал экзамены в Бронетанковой академии, переехали на дачу, и жизнь началась там

совсем другая — голубая и зеленая. И сытная: потому что мама сняла дачу с козой.

Гусаров устроил нас, и мы пошли его провожать на станцию. За околицей дорога пошла мимо луга. Кочек на нем было!.. Они пучились ровными рядами, как нарочно посаженные.

— Да, — сказал Гусаров, — под Гатчиной мы им крепко врезали...

— Кому? — спросил я.

— Немцам. Тут же кладбище их было.

— Фрицевское?!

Охваченный внезапной ненавистью к лугу, я сбежал с дороги и принялся пинать кочку. Я пинал ее, мягкую, изо всех сил, а потом, оглядываясь на Гусарова, стал и плевать на нее. Но Гусаров неожиданно нахмурился. Сбежал ко мне, оторвал от кочки, усадил себе на плечи, вынес с луга и поставил на дорогу.

— Солдатом быть хочешь?

— Хочу.

— Так вот, заруби себе на этом вот носу: осквернением могил солдат не занимается. Солдат, он уважает Смерть.

— Что ли, и фрицевскую? — возмутился я.

— Она для всех одина, — сказал Гусаров. — Смерть, это, брат... Ладно! Вырастешь — поймешь.

Он уехал в Ленинград, а мы пошли обратно еловым лесом.

— Где ты там плетешься? — оглянулась мама.

Она схватила меня за руку и потащила так, что я прикусил губу, ударившись пальцами ноги о проросший землю корень. С одной стороны мама тащила меня, а с другой Августу — за локоть. И при этом оглядывалась назад, где не было ни души.

— Тебе не кажется, — сказала мама, — что за нами кто-то следит?

-- Кто? — спросила Августа.

— Не ори, дура! — Мама говорила задыхающимся шепотом. — Ну-ка, оглянись... Ну?

— Никого там нет.

Но мама потащила нас еще быстрее.

— Не знаю, почему, — прошептала она, — но у меня такое впечатление, что нас с вами, дети мои, сейчас начнут убивать...

— За что? — удивилась Августа.

— Тихо ты! Смотри!.. — Мама засучила рукав и показала нам руку, которая до локтя была покрыта "гусиной кожей" так,

что все волоски стояли дыбом. — За нами идут по пятам, я их чувствую... Бежим!

Но в темном тоннеле за нами никого, и от этого нас всех, и даже Августу, охватывает паника, и мы бежим. Тропинкой. А вровень с нами — но верхом, над головой — бежит-струится кошка. Огромная и рыжая, и с кисточками на ушах.

Таких я еще не видел.

Когда мы с ней встретились глазами, она мне повелела: *Молчи!* Она не хотела, чтобы мама с Августой ее увидели. Мне она доверилась, и оглядываясь на бегу, я ей отвечаю: *Видишь? молчу...* За это желтые глаза взирают с пристальной любовью. И напоследок, перед тем как мы выбегаем из ельника, говорят: *Приходи, поиграем еще... Приду!* оглядываясь я в последний раз.

Над нами чистое закатное небо, и мама:

— Ф-фу! — выдыхает. — От души отлегло...

-- Тебе просто померещилось, — говорит Августа. — Никого там не было.

— Может быть, — соглашается мама... — А может быть, и нет. Кто знает?

Муж хозяйки пропал на войне без вести. Вдвоем с сыном Вовкой — ржавой зубастой пилой — они пилят во дворе березовый крест.

— Аккуратисты, — говорит хозяйка, утирая пот. — Каждого, гляди, поврозь закапывали. Не как у нас — в одну яму всех, а потом звезду воткнули: братская могила! А какие ж там братья? Все ведь вперемешку, не разбери-поймешь... Эх, прости Господи!..

Потом Вовка раскалывает напильные чурки на полешки, которыми они топят русскую печь, чтобы варить картошку "в мундире" и спать на теплом.

Крестов в сарае еще на одну зиму хватит. Козу свою хозяйка тоже пасет на бывшем кладбище. Кочки там едят из-под земли врагов, коза обгладывает кочки... От одного запаха козьего молока подкатывает к горлу.

— Пей, — говорит мама, — оно полезное.

— Расти не будешь, — грозит она, — так и останешься...

— Ну, хоть глоточек, -- умоляет. — За маму? Или ты свою маму не любишь?

-- Я — делать нечего — выпиваю...

— А теперь, — говорит мама, -- за Сталина. Ты ведь не можешь не выпить за дедушку Сталина?

Не могу.

Потом еще — и за Ленина глоточек. Дедушку...

И за нашу Советскую Родину...

Нет! за Маркса-Энгельса я отказываюсь наотрез. Не буду, говорю я. Немцы они. Но они же хорошие? Все равно! говорю я, чувствуя, что где-то прав: на этих немцах не очень-то и настаивают. Ладно, говорят. Не хочешь как хочешь. Но ты посмотри что на дне...

Я наклоняю стакан — на дне алеет "барбариска". Это Августа как-то подкинула ее незаметно.

-- Смотри, растет...

За этот кисло-сладкий, алый вкус -- чего не сделаешь! Я выдыхаю и — залпом!..

Но тут же все это из меня обратно — на стол! Фонтаном мутным! С "барбариской"...

Меня утирают, дают напиток из алюминиевого ковшика, из мятого, и утешают:

— Ничего! Завтра получится.

— А если не получится?

— Получится послезавтра. Это в тебе, — говорит мама, — организм сопротивляется.

— Кто?

— Организм. Он же не знает, что козье молоко полезно. Его нужно убедить. Заставить. Я тебе помогу, но сломить свой организм, — говорит мама, — ты, Саша, должен сам... Если хочешь вырасти настоящим мужчиной.

У меня начались рвоты. Молоко временно отставили, но теперь меня тошнило и от ключевой воды. Мама повезла меня в Гатчину. Там ей посоветовали везти меня в Ленинград на анализы и рентген. Мы поехали. В детской поликлинике у Кузнечного рынка я живо отреагировал на фотостенд наглядной агитации за гигиену: упал в обморок. И было от чего: на одной из картин клубок червей буквально съедал изнутри невинного ребенка... Сильный пропагандистский образ.

Проанализировав то, что мы принесли в баночке из-под горчицы, и то, что мама запечатала в спичечный коробок, а также кровь, натянутую губами медсестры в стеклянную трубочку, а потом,

под рентгеном, всего меня в целом (выпившего перед тем стакан творожно-белой бариевой каши), в поликлинике сказали, что патологических отклонений нет, и мальчика можно считать практически здоровым, только...

— Что? — перепугалась мама.

— Оберегайте его от чрезмерной психической нагрузки. Рвоты у него, вероятно, на почве нервных спазм. Ребенок повышено впечатлителен.

— Доктор, я хотела спросить еще... Молоко ему можно?

— То есть?

— Козье, — уточнила мама.

— Любое! — ответили ей. — Не только можно, но даже очень нужно!..

— Слышал? — спросила мама.

Я промолчал.

Мы с Августой пришли на бывшее кладбище, где Вовка пас козу. То есть: лежал на ватнике и курил папиросу "Герцеговина Флор", по его просьбе украденную мной из портсигара Гусарова, который приехал вчера, чтобы попрощаться с нами перед отъездом на летние маневры.

Вовка курил и приглядывал, чтобы коза не вырвала колышек, к которому она была привязана за веревку. Августа присела на соседнюю кочку и принялась плести веночек из одуванчиков. Вовка вынул колышек от козы из своей кочки и воткнул его в кочку Августы.

— Другого места не нашел? — не поднимая головы спросила Августа.

Вовка кинул ватник ей под ноги и улегся.

— Не нашел, — ответил он. — Эй, мальй!

— Что?

— Не пизданешь еще папироску? Будь другом.

— Пиздану, — пообещал я. — После обеда. Нам до обеда нельзя возвращаться.

— Эт-то почему ж?

— Чтобы их не будить. Спать они легли.

— С утра-то? Ясно, — сказал Вовка. — Дело ясное что дело темное... Покурим мху тогда, чего ж.

И вдруг Августа говорит:

— У меня есть, но, кажется, сломалась... — И вынимает из кар-



мана кофты гусаровскую папироску. — Нет, согнулась только! На.

Вовка неторопливо раскурил, выпустил изо рта три кольца дыма и оглядел Августу, которая от этого покраснела и туго обтянула подолом колени.

— Ты чо, куришь, что ль? — спросил он.

— Нет, она не курит, — ответил я.

— Тебя что, спрашивают? — прикрикнула Августа... — Конечно, нет, Володя. Курят только женщины легкого поведения.

— Это что ж за такие? — заинтересовался Вовка.

— Ну... Обольстительницы. Которые прожигают жизнь по ресторанам.

— Ресторан, это что?

— Не знаешь? Зал такой. Где ужинают, пьют вино и танцуют.

Под джаз-оркестр.

— В городе у вас?

— Ну да. Там их полно!

Вовка поднялся на ноги и предложил Августе:

— Ойдем на пару слов.

Они отошли.

Я подсел к колышку. Взялся за него двумя руками, поднатужился — выдернул. Сначала колышек лежал спокойно, потом пополз. Остановился... Потом — р-раз — и нырнул в траву. Я подобрал сплетенный Августой веночек, надел себе на голову, подбежал к сестре и схватил ее за руку, которая была потной.

— Не хочишь как хочишь, — сказал ей Вовка. — Давай хоть это, поцелуемся?

— Разве ты не знаешь, как Вера Павловна говорила? “Умру, но без любви поцелуя — не дам!” Ты читал роман Чернышевского “Что делать?”

— Ебал я твою Веру Павловну! Сперва, понимаешь, папироской завлекают, а потом Вера Павловна? — Вовка сплюнул.

— Тебе, Володя, — по-хорошему сказала Августа в ответ на эти нехорошие слова, — необходимо повышать свой культурный уровень.

— А тебе буфера растить! — Он ухмыльнулся. — Тощая уж больно на мой вкус. Мужик, он, знаешь ли, не собака — на кости-то кидаться.

Августа тоже усмехнулась, с трудом удерживая ресницами слезы.

— Эх, ты, деревня! — бросила она. — Беги лучше козу свою догоняй.

Я взобрался на кочку повыше. Напрыгавшись по лугу, коза бродила уже у леса. Вовка побледнел. Он даже не выругался, только перевернул на себе кепку козырьком назад и что было мочи погнал за козой.

— Не поймает, — сказал я.

— Поймает, — возразила Августа.

Чего он только не делал, чтобы завлечь козу! Даже на колени перед ней становился, прижимая кепку к груди. Но коза упрямо отбегала. Вовка не выдержал и бросился к ней, но тогда коза заблеяла и со всех ног припустила в лес, где и пропала из виду. Вовка за ней. Августа сказала:

— Должен поймать.

Я промолчал.

Вовка вернулся после захода солнца. Без козы, без кепки и весь исцарапанный. И прямо во дворе был страшно избит вожжами от лошади, съеденной еще в войну. Насилу Гусаров отнял его у хозяйки, Потом он отнял у нее и вожжи, с которыми она побежала в сарай, чтобы там удавиться — о чем нас предупредил петух, вылетевший оттуда в страшной панике.

Из-за всего этого Гусаров ушел к последней электричке. Один. Через лес. Но за него я не боялся, потому что Гусаров настоящий солдат. И даже капитан: четыре звездочки на погонах.

Перед сном мама сказала:

— Придется нам искать другую дачу. Без козы теперь какой смысл?..

На следующий день меня перестало тошнить. Я с аппетитом ел картошку, макая ее в соль. И запивал водой. Мама стала искать другую дачу, но и через три дня ничего подходящего в округе не нашла. Она вернулась злая и усталая.

— Где Августа?

— Не знаю.

— А ну пойдем!

Мы вышли за околицу и увидели, что Августа с Вовкой сидят на кочке. Накинули ватник, а под ним обнялись. Мама закричала и к ним, а они врассыпную. Вовка убежал в лес, а Августу мама догнала и вlepила ей так, что из носу у сестры хлынула кровь.

— Что у вас было, отвечай?!

Августа втянула кровь носом, отчего на лице у нее нечаянно возникла довольно глупая ухмылка, — и получила по правой щеке.

— Немедленно в Ленинград! — Мама схватила сестру за руки и потащила с кладбища. — К гинекологу! И если я узнаю, что ты вот так, за здорово живешь, отдала свою девичью честь — смотри! Собственными руками придушу тебя, растленная!..

Я выбился из сил пылить за ними и отстал.

— Эй, мальй! Погодь...

Меня нагнали три тощие коровы и пастух. Одной руки у пастуха не было, другая протягивала мне рогатый череп.

— Ваша?

— Наша, — узнал я.

— Ну, так бери. Не тяжело? Марии передашь: пусть на людей плохого не думает. Козу ее задрала рысь.

— Рысь?

— Она. Давно их в наших местах не было, рысей. С самой войны, поди. А как товарищ Сталин объявил по репродуктору, что жить нам стало лучше-веселей, обратно, значит, возвратились. Поверили... Ей, может, в хозяйстве сгодится или что. Донесешь ли?

— Донесу, — пообещал я.

— Эй! Офицер этот, что к вам ездит... Отец, что ль?

— А что?

— Да так. Обходительный... Папироской всегда угостит.

— Мой отец, — сказал я, — пал.

— Н-но?

— На поле боя... — Я вздохнул. — Смертью смерть поправ.

— Ясно, — сказал пастух. — А это кто ж, офицер-то?

— Так... — Я пожал плечами. — Гусаров...

— Ясно. Ну, давай, сынок... С Богом!

Значит, она меня не забыла — кошка с желтыми глазами. Значит, услышала меня... Может, мы с тобой еще свидимся? Проводи меня до станции... Придешь?

Я волочил за собой обглоданный череп, и слезы от предстоящей разлуки наворачивались на глаза.

## ЛЕНИНГРАДСКАЯ НОЧЬ

День Сталинской конституции — 5 Декабря — они отметили на Садовой, у однокурсника Гусарова — тоже танкиста, тоже гвардии капитана, но с одним живым глазом; другой был, как настоящий, но стеклянный. Потом за ними заложили на крюк дверь квартиры, тоже коммунальной, где тоже боялись воров.

И они оказались в темноте. Потому что и на этой лестнице лампочек не было. Дворники в Ленинграде уже и не вставляют лампочки: все равно их вывинтят или разобьют.

Пролета видно не было, но он жутко ощущался справа. И отделяли от этой невидимой пропасти только перила, которые зашатались так, что мама отдернула руку.

— Где ты?

— Ау, — пошутил Гусаров. — Тут мы.

Он стоял у стены и держал на руках Александра, который крепко держался за его погон.

— Лучше я тебя за хлястик возьму, — сказала мама.

Хлястик такой был у него на шинели сзади.

— Тоже дело, — одобрил Гусаров. — Вперед?

— Только прошу тебя: осторожней!

Они стали спускаться. Ступеньки были сильно битые. Еще не отремонтированные после Блокады. И перед каждым новым шагом Гусарова вниз дух у Александра перехватывало.

Двумя этажами ниже их встретила неожиданная просьба, произнесенная хриплым чьим-то голосом:

— Куревом не богаты, гражданин?

— Имеется, — ответил Гусаров. Портсигар у него был под шинелью, в правом кармане галифе. Он перехватил ребенка левой рукой, и в тот же миг Александр почувствовал, как за него взялись цепкие чужие руки, а в лицо дохнуло перегаром: “Пикнешь — глаз вырву...” Он молчал. Руки подергали шапку на Александре, но она была туго завязана под подбородком. Два чужих пальца за это дернули Александра за нос, но в этот момент щелкнул, откидывая крышку, портсигар. — Бери, не стесняйся, — сказал невидимке Гусаров. — Пару-тройку бери! После праздника без курева остаться — последнее дело. По себе знаю.

Невидимка ответил:

— Вот уж спасибо, товарищ военный — извиняйте, чина в тем-

ноте не различу. Выручили как! Сразу видно: настоящий вы ленинградец.

После этого невидимка одним рывком сдернул с Александра оба валенка и, продолжая благодарить Гусарова, уступил всем троим путь дальше вниз.

Во дворе мама отпустила хлястик, а он, Александр, отнял от своих глаз руки. Ногам стало холодно, но глаза были целы. Во дворе было светлее — от света из-за обмороженных окон, за которыми еще догуливали праздник.

А на улице, из-за фонарей, стало и совсем хорошо.

Гусаров внес его под своды аркады Гостиного Двора, донес до арки, напротив которой была автобусная остановка и опустил на камень со словами:

— Перекурить надо.

Ледяной камень обжег ноги Александру, который остался теперь в одних хлопчатобумажных чулках, там, под шубой, под шароварами, пристегнутыми к лифу. Александр постоял, переминаясь с ноги на ногу, и взошел — как на котурны — Гусарову на сапоги. Гусаров над ним курил. Мама задремала, прислонясь к стене арки. У мамы с лета медленно, но верно стал расти живот, и сейчас она была толстопузая и некрасивая. Лицо в пятнах, и все время ругается. Особенно на Августу. "Не расставляй ноги, когда садишься!" — кричит. "А ну закрой рот!" То ругает Августу, что та худющая, как скелет, то за то, что она — прожорливая, как Умственно Неполноценная. Александру тоже достается. И даже Гусарову. Поэтому он рад, что мама со своим животом уснула стоя и оставила их с Гусаровым в покое. Александр начинает играть. Со своими спасенными глазами. Щурится на фонари, превращая их в косые лучи, а потом, резко разжимая ресницы, мечет из глаз ослепительные молнии.

Вдруг крик на всю Садовую.

— РЕБЕНОК БОСИКОМ!

— Разве? — удивился Гусаров. — Точно...

— Ты что, обувь его забыл?

— Да вроде обувал.

— Ах, "вроде"? Вот она, водка ваша! Ведь толкала тебя, толкала... Ни одной не пронес! Куда валенки делись?

— Обронил, может.

— Обронил — так надо возвращаться!

— Не надо, — сказал Александр.

– Эт-то почему?

– Глаз вырвет.

Мама с Гусаровым переглянулись.

– Кто?

– Гражданин тот. На лестнице.

– Ах, это он тебя разул?!

– Он...

– А ты молчал? Его разувают, а он как воды в рот! Вот и будешь теперь дома до весны. Киснуть! Надо же, такие валенки! С галошиками под размер. Сколько я за ними охотилась -- и в ДЛТ караулила, и в "Пассаже"! Возьми его на руки.

Гусаров берет. И мама обувает Александра в свою муфту, ругаясь:

– Совсем уже совесть потеряли! Кого? *Ребенка!*..

– За такое, – говорит Гусаров, – лично я бы к стенке.

– Молчал бы уж! Не то, что валенки, ребенка бы отняли – ты б и глазом не моргнул.

– Зачем уж так, Любаша... В конце концов – не велика потеря. Новые купим.

– Ах, *купим?!!* Где? Да ты сам, Леонид, как ребенок! Даром что гвардии капитан! Ты жизни, *жизни* и не нюхал! Привык на всем готовом!

– Это ты, Люба, зря. Это, я бы сказал, непартр... непатр... Не по делу – короче.

– Упился – язык заплетается? Не стыдно, а?

– Ладно там! "заплетается". Чего мы там выпили? Литр на двоих... Говорить не о чем. Ну, будь оно без повода, тогда -- да. Согласен. Но по случаю праздника-то? Можно позволить. Лично я так считаю.

– Тоже мне "праздник".

– Ну, а чем не праздник? Праздник! Конституции День.

– "Конституция" мне... Детей на руках у отцов разувают.

– Против Конституции не говори. Дети – да. За детей лично я бы к стенке. Но Конституция Сталинская наша – лучшая в мире. И мир, он этот факт признает. Вон чего-то тащится. Наш или не наш?

– Отсюда любой наш, – говорит мама. – Только смотри, под колеса его не урони!

– Эй, автобус! – С Александром на руках Гусаров сбегает по

ступенькам аркады к остановке и — два пальца в рот — свистит. — Стой! Йо-твою, это ж СМЕРШ...

Автобус — без окон и с круглой пеленгационной антенной на крыше — неторопливо проезжает мимо. Это не наш. Время наших автобусов давно уже кончилось, и сейчас по Ленинграду ходят только автобусы, ищущие шпионов.

Мама берет Гусарова за хлястик, Александр за погон, и они пешком возвращаются к Пяти Углам.

Ночь. Фонтанка замерзла. На Цепном мосту, неподвижные, свисают цепи.

И ни души.

### СТРАНА АЛЕКСАНДРА

Гвардии капитан Гусаров окончил Бронетанковую академию, стал майором и получил назначение в гарнизон литера такая-то, шестизначный номер такой-то — у самых западных границ. Он убывал сегодня, ночным скорым. Десятиклассница оставалась в Ленинграде, а увозил он с собой в неизвестность свою супругу Любовь, 33-х лет, и шестилетнего Александра, которые сейчас стоят в очереди за китайскими мандаринами у Елисеевского магазина на Невском проспекте.

Они стоят еще снаружи. Хмуро. Ноги стынют. Снег метет.

Прорываясь назад из дверей магазина, счастливички тут же вынимают из тугих кульков китайские мандарины, красные, очищают их, разламывают, отрывают белые перепоночки и суют в рот дольку. С счастливыми лицами. Потому что в мандаринах этих витамин, продлевающий Жизнь.

Очередь их, счастливичков, ругает, чтобы отходили поскорей.

Когда они, Любовь и Александр, достаиваются до самых уже дверей, из магазина выкатывается слух, что все, кончилось!.. Но очередь еще стоит. Не верит, ропщет. Но появляется мужчина в белом халате, привстает на цыпочки и официально уведомляет о том, что мандаринов больше нет.

— А завтра будете давать?

— Быть может.

Но "завтра" их уже не волнует: они сегодня уезжают. Навсегда. Ночным скорым. И они на этом успокаиваются. Очередь расходитя, молчаливая, по снегу, усыпанному красными свежими корками, — кто куда.

А они переходят Невский проспект и входят в сквер. Вокруг скамейки снегом занесло, а посреди — горой — памятник Императрице Екатерине Великой. Кругом, у ног Императрицы, теснятся избранники империи Российской — полководцы, фавориты, поэты. Мужчины ниже все Императрицы, которая над суетной их толпой высоко держит Скипетр и Жезл.

Черен и гладок базальт, и рельеф сглажен снегом.

Они обходят памятник, глядя снизу вверх, а потом, опустив ужаленные снегом лица, спешат домой: смеркается уже. На улице Росси мама говорит:

— Что имеем не храним, потерявши плачем...

Замерзшая Фонтанка уже испачкана горами грязного снега с набережных.

Вот и улица Ломоносова, где в марте прошлого года дедушку так удачно сбило каретой неотложной помощи, когда он напился по случаю смерти Вождя.

Пять Углов. Поворот, подворотня, где уже темно. Двор-колодец. Парадное с битой ступенькой. Лестница — пролет, перила... Седьмой этаж. Они входят с черного хода, то есть — прямо на кухню их коммунальную, где бабушка гасит свою папиросу в серой ракушке и бросается маме в ноги.

— Любовь! — Он откидывает набриоленную голову. — В последний раз: отдай нам Александра! Христом-Богом прошу.

— Зачем вам мальчик, вы же его погубите! — кричит мама, отскакивая. — Вы не сумеете созвучно воспитать!

— Мы воспитаем, — бормочет дед, лоя ее руку. — Мы отдадим его в Мариинку, в балетную студию. Клянусь тебе: великим танцором воспитаем, звездой... или в Нахимовку, на офицера флота... Любовь! В последний раз?

— Нет, нет и нет! Мать — я! И он усыновлен!

Дед, стоя на коленях, обнимает Александра.

— Внучек, прощай! Что бы ни случилось — ты не без роду-племени, запомни. Из Санкт-Петербурга ты.

— Да никакого Петербурга нет, старорежимные вы люди! Не слушай глупостей: есть только *Ленинград!* Не смейте этого, не смейте! — оттаскивает она бабушку, который ползет на коленях к Александру, продолжая часто-часто крестить пустоту перед собой:

— Храни тебя Господь!

— Храни тебя Господь!



— Храни тебя!..

Скорый с Витебского вокзала отходит, когда Александр уже спит.

\* \* \*

Когда он просыпается, Санкт-Петербурга уже нет. И даже Ленинграда.

Пусто в окне.

Снег идет.

— Смотришь? — Гусаров взъерошивает ему голову. — Смотри-смотри. Это — твоя страна.

Страна была вся белая. Поля, леса. Чернело где осыпалось с еловых лап. И небо.

А потом стало смеркаться, и на Александра из стекла вдруг посмотрели его же глаза. В упор.

Радио запело “Землянку”, и мама припала к Гусарову, который ее обнял, чтобы не жестко было от стены. С остановившимися глазами подпевая, они покачиваются на стыках рельс.

*Пой гармоника вьюге назло.  
Запутавшее счастье зови.  
Мне в холодной землянке тепло  
От твоей негасимой любви...*

Вечером, когда стояли пятнадцать минут, папа принес из Орши пиво и лимонад с уже нерусским названием “Журавінны”.

— Из журавлей, что ли? — засмеялась мама.

— А кто его знает? — сказал Гусаров. — Белоруссия! Та же вроде бы Россия, а вот поди... Не разбери-поймешь!

От этого лимонада в полночь у Александра началась рвота.

А потом он потерял сознание, так и не досмотрев свою страну до западных границ.

## УРОК ЧИСТОПИСАНИЯ

В Пяскуве маме предложили взять Александра сразу во Второй класс: читать-писать он уже умел и, как дитя Ленинграда, превосходил своих сверстников по общему развитию.

— Пусть будет, как все, — решила мама. — Не хочу, чтобы ребенок выделялся!

И отдала Александра в Первый.

Где сразу выяснилось, что лучше бы и не умел он писать. Потому что пишет он неправильно. Криво пишет. А надо было — по линейкам. Каллиграфически.

\* \* \*

Над столом мама раскатала и прикрепила Ленина и Сталина, а справа — Политическую карту мира. Уже темно в их комнате, только нежно-зеленым излучением светится стеклянный абажур настольной медной лампы. Гусаров вот уже неделю на осенних маневрах, и мама учит Александра каллиграфии.

Раскрытые Прописи, утвержденные Министерством просвещения, прислонены к столбику лампы. Линеечки горизонтальные, линейки косые. И с идеальной четкостью и плавностью изгибчатых переходов толстых линий в тонкие в линейки эти впечатались три слова:

### *МАМА РОДИНА МОСКВА*

Всматриваясь в Прописи, он, Александр, старается скопировать эту четкость. Тремя пальцами — большим, средним и указательным — сжимает он по-разному жестяное оперение красной деревянной ручки, но перо его уходит за тетрадные линейки, и вместо этой вот *РОДИНЫ* получается черт-те что. Под взглядом мамы с полтетради уже исписал Александр этими загогулинами и продолжает в том же духе, добиваясь четкости, ибо мама пригрозила ему, что он спать не ляжет до тех пор, пока не выйдет у него целая страница вот таких, как в Прописях, — идеальных... Страница!..

Когда и загогулин двух одинаковых подряд не получается. Ни одна его *РОДИНА* не похожа на другую. Ни *МАМА*. Ни *МОСКВА*... И он уже еле-еле ворочает ручкой.

Но вот — внезапно! — начинает выписываться.

— Не горбись! Прямо мне сиди! — толкает в спину мама, прикрикивая так, что рот Александра выходит из повиновения и начинает некрасиво, толстогубо трястись.

Срывается слеза и губит слово.

Втягивая чернила, слеза разбухает кляксой. И уже не слово — страница загублена...

— Ньюни распустил? — раздается грозно над оцепеневшей головой Александра, на которой уши сами поджимаются.

(У них, у ушей, такое обнаружилось свойство — смещаться.)

Звеня стеклом и нервно булькая, мама за его спиной наливает воду из графина. Ставит стакан:

— Пей!

Живот изнутри толкается, протестуя, но, укрощая организм, Александр выпивает — чайный стакан кипяченой воды комнатной температуры. Мертвой.

Мама показывает свои руки. На левом безымянном — золотое кольцо с двумя бриллиантиками и царапающейся дырочкой вместо третьего.

— Делай, как я!

Руки сжимаются в кулаки, кулаки с хрустом выстреливают растопыренными пальцами с облезлым на ногтях маникюром. И снова собираются в кулаки, натягивая кожу до голубых прожилок.

— *Мы писали, мы писали,* — сурово задает мама ритм, и, выбросив свои пальцы, Александр подпрыгивает от боли в суставах.

*...наши пальчики устали.  
Раз, два, три, четыре, пять —  
Будем снова мы писать!*

— Усвоил? Продолжай самостоятельно!..

Он продолжает.

Она влезает на стул и достает со шкафа из присланной из Ленинграда пачки новую тетрадку. С глянцеватыми страницами, какие только в Ленинграде на писчебумажной фабрике умеют делать, а здесь, в Пяскуве, такой культуры нет. Мама раздевает слезой испорченную тетрадь и в обертку из кальки вдевает обложку новой. Разглаживает — ребром ладони. На обложке наклеена вырезанная Александром и Гусаровским карандашом “Стратегический” раскрашенная пятиконечная звезда.

Красивая, как на танке...

А на указательном пальце сделалась уже вмятина с взевшими-ся в кожу чернилами.

— Все потому что у меня палец кривой.

— Вовсе не кривой.

Александр созерцает свой палец. Не то, чтобы кривой, но все-таки ноготь косит.

— У меня что, в детстве рахит был?

— Никакого рахита у тебя не было. — Мать сводит брови. — Плохому танцору, Александр, знаешь?..

Это Гусаров так говорит.

— И яйца мешают?

— Не выражайся, не то, — дает ему мама небольшой подзатыльник, — рот мылом пойдешь мыть.

— Гусарову, так ему можно...

— Гусаров, — говорит мама, — культурой речи в окопах овладевал. Тогда как у тебя — все условия. И ты мне зубы тут не заговаривай! Пиши давай.

Со вздохом Александр потащился тяжелой ручкой в непроливашку золотисто-зеленую, ткнулся пером. И повел по голубеньким тетрадным линейкам, одновременно втягивая голову перед неминуемой на этот раз затрещиной: вместе с чернилами перо ущемило волосок...

— Не беда, — сказала мама. — Вырвем первый лист.

В тетрадке их двенадцать, так что незаметно. Мама вырвала, выдернула последний. Пачкая пальцы, сняла волосок.

— Давай! А то уж полночь близится... А может быть, ты просто не понимаешь, почему я день-деньской бьюсь с тобой за это чертово чистописание, а? Отвечай. Понимаешь, нет?

— Чтобы, как в Прописях...

— Нет, Александр. Не чтобы, как в Прописях. А чтобы ты с первых своих шагов в Большую Жизнь воспитывал в себе Силу Воли. Иначе из тебя ничего не получится. Мужчина без Силы Воли — не мужчина, а тряпка. Хлипкий интеллигент! Твой дед, к примеру... Мог бы стать известным архитектором, уважаемым в Обществе человеком, а стал кем? Пьяницей и мелким игрочишкой. Асадчие меня сегодня приглашали в Дом Офицеров на французский фильм. Я что, пошла? Я осталась. Я откажу себе во всем, во всех Радостях Жизни, лишь бы ты стал Мужчиной и добился *своего*. Ты хочешь стать Мужчиной? Отвечай.

— Ну, — дернул он плечом, — хочу.

— А без "ну"?

— Хочу.

— Тогда давай. Пиши! Тяжело в учении, легко в бою, — повторила Любовь ключевую формулу воспитания русского солдата, взятую из учебника генералиссимуса Суворова "Наука побеждать".

## ГАРНИЗОН У ЗАПАДНЫХ ГРАНИЦ

Папа принес из штаба армии две поллитры и черную весть — в Будапеште сбросили нашего Вождя. Гранитный памятник ему, сработанный на века.

— Где там у тебя мой *тревожный*?

Мама вышла и вернулась, бросив ему к забрызганным грязью сапогам еще с войны трофейный баул с обтертыми на учениях боками свиной кожи.

— Когда ты едешь?

— Приказано быть завтра в шесть ноль-ноль. — Папа потрепал Александра по макушке. — Ничего, сынок! Мы наведем порядок в этом мире.

— А это что?

— Это? — Папа приподнял к глазам сетку с бутылками. — Это мы с Загуляевым решили посидеть. Он тоже уходит завтра. Перед стартом, понимаешь? В порядке укрепления морального потенциала. Ты, надеюсь, ничего против не имеешь?

Командир эскадрильи истребителей Загуляев имел двух девочек. Старшая всегда казалась Александру рассудительной, но сейчас, на кухне, она явно делала не дело: взяла бутылку "Московской", подковыряла ножом станиолевую крышечку, сняла осторожно и стала выбулькивать водку прямо в раковину.

Александр схватил ее за руку.

— Ты что, рехнулась?

— Отстань! — оттолкнул его локоть.

— Им же не хватит!

Но девочка опорожнила бутылку, после чего наполнила ее водопроводной водой, надела крышечку и, взяв нож, аккуратно обжала кругом и погрозила Александру кулаком:

— Наябедничаешь — кровью умоешься.

— Очень надо мне на тебя, дура, ябедничать, — обиделся Александр и вернулся в комнату к взрослым.

Там как раз офицеры хлопнули по первому стакану, и командир эскадрильи истребителей, вырвав локоть из цепких пальцев своей жены, тут же, не закусывая, стал разливать по второму. А папа сидел зажмурившись, прижав к усам кулак и тянул в себя носом, как бы своим же кулаком занюхивая. Открыл глаза и объявил:

– Все, детонатор сработал. Доигрались! Теперь остается только ждать взрыва в Польше. Что ж, дорогой наш Никита Сергеевич... За что боролись, на то и напоролись!

И грохнул кулаком по чужому столу так, что тарелки подпрыгнули.

Загуляев – они сидели за столом плечо в плечо – крепко обнял папу.

– Ты это, Ленька, брось!

– Как, то есть, брось? – освободился папа.

– Брось, говорю, кручиниться. Давай вот.

Они дали.

Прожевав селедку с луком и хлеб, Загуляев сказал:

– Я, ты знаешь, Леонид, во многом не разделяю... Нет, ты стой! Пахан тоже дров немало наломал, так что дружба дружбой, но Никита где-то прав... Да погоди ты! Я ж с тобой согласен! По большому счету.

– Ты согласен?

– Еще бы! Не имели венгры права Пахана мордой в грязь.

– Не имели, – кивнул папа.

– *Наш* он Пахан – несмотря на все дела. Мы с его именем на устах умирали. Так?

– Было дело.

– И мадярам, мать их-х-х... вломим мы хотя бы за память о том, что это его имя хрипели мы, умирая, – а, Леонид?

– Хорошо говоришь. – Папа взял бутылку.

– Хули, терпеть, что ли, будем?

– Не забывайся, Загуляев, – подала голос его жена. – Дети в пределах слышимости.

А мама – заметил Александр – под столом нашла кончиком туфли подошву папиного сапога, который, как обычно, намека не понял и удивленно посмотрел на маму:

– Ты чего?

Все на маму посмотрели, и она вспыхнула, и, опустив глаза в тарелку, сказала зло и сильно:

– Н-ничего!

– Вломить мы им, конечно, вломим, – заговорил папа, игнорируя сложные чувства визави, – но, – и брови свел, – сейчас не Сорок Пятый. Это тогда мы их могли нейтрализовать по Ла-Манш, а сейчас, брат, исторический момент упущен. А ну как НАТО ввяжется? А там и Эйзенхауэр? Тогда что?

— Известно что, — ответил Загуляев... — Война, брат.

— Вот то-то и оно.

И папа козырьком ладонь ко лбу приставил — закручинился.

— Ты это, Ленька, брось, — приобнял его Загуляев. — *Броня крепка, и танки наши быстры...* или не так?

— Быстрее, чем тогда.

— Ну, а со своей стороны могу тебя заверить, что... как там? *В каждом пропеллере дышет...* Вернее, в сопле реактивном. По единой? *За спокойствие наших границ!*

Они выпили, и папа протянул руку:

— Подойди-ка.

— Облик не теряй, Леонид, — сказала ему мама.

Папа нетерпеливо пошевелил пальцами.

— Подойди, говорю.

Так наглядно на памяти Александра папа еще не терял свой облик, поэтому приближался он с опаской. Но папа обнял его, поцеловал в лоб, приятно больно уколол усами, а потом отстранил и, плечи сжимая, предъявил Александра командиру эскадрильи:

— Видишь? Во второй класс уже пошел. Не себя... что *мы*? Нас этому учили — умирать. И если живы мы остались после мясорубки той, кой-чему, значит, в этом деле научились. Но их вот, незапятнанных, — и он тряхнул Александра так, что зубы лягнули, — их — жалко. Иди, сынок, играй. И ничего не бойся, понял? Пока мы живы — я и дядя Слава — ты можешь ничего не бояться.

— Отпусти ребенка, Леонид, — сказала мама.

Папа прижал его к себе, царапая орденовыми планками, и оттолкнул, отворачиваясь, утирая кулаком слезу.

— Кто ж спорит? — согласился Загуляев. — Мне, брат, еще больше жалко: он у тебя один, и то усыновленный, а у меня их кровных две. Если не вернусь, с чем их оставлю в этой жизни?.. О! — хлопнул он себя по лбу. — Я ж газету с таблицей купил! И рванул из-за стола так, что уронил стул.

Жена его вздохнула.

— Совсем поехал мой летун. Знаете, что он сделал? Когда, значит, еще только первые слухи из Венгрии пошли, он снял все деньги со сберкнижки и — на все, ни рубля не оставил! — накупил лотерейных билетов. "Ва-банк, — говорит, — иду".

Поясняя состояние командира эскадрильи истребителей, она

приставила указательный палец к виску и покрутила с насмешливым видом.

— Это ты по-нашему!.. — Папа сделал попытку броситься на встречу Загуляеву, который внес свою кожаную куртку. — Люблю!

— Погоди, друг... Что там у нас в стаканах, нолито ли? Э, да мы, похоже, все добились.

— И слава Богу, — сказала его жена.

— Нет, — сказал Загуляев, — нет, не Богу, а Случаю молись. А ты, Леня, в отчаяние не впадай: в моем доме последняя, она всегда была *предпоследней*... Ангелята? Вы куда попрятались? Тащите папке бутылку! Сейчас вам папка приданое будет выигрывать. Обоим по "Победе", как? Устраивает?

Перемигиваясь в предвкушении шутки, которая должна была насмешить офицеров до колик, ангелята принесли бутылку, на которой красовался черно-зеленый ярлык: "Московская особая". А папа ангелят тем временем раздвинул тарелки, разложил центральную газету с выигрышной таблицей, после чего отвалился вместе со стулом, выдвинул ящик комода и стал доставать одну за другой запечатанные пачки билетов всесоюзной денежно-вещевой лотереи осени Пятьдесят Шестого года. Накидав перед собою пачек, он затолкнул ящик и вернулся, крепко стукнувшись об пол подошвами и передними ножками стула. Обтер ладонями обритую наголо голову, сияющую в свете лампочки, обвел всех отчаянным взглядом — и распечатал бутылку. Сначала папе набулькал. Себе... До краев.

Они подняли стаканы.

— Фарту тебе, Слава! — пожелал папа.

— Не мне, — поправил Загуляев, — девчонкам моим. Старшей "Победу", младшенькой "Москвич". С таким приданым кто от них откажется?

— А их и без приданого возьмут, — сказала его жена. — Как, Александр? Давай, любую на выбор!

Девочки, приснув, убежали, Александр стал медленно наливать кровью стыда, а Загуляев посмотрел на папу.

— Что, друг Леня, может, и вправду, придется нам породниться? Ну, пошел!

Они выпили залпом, и обращенные вовнутрь глаза летчика сделались недоверчивыми.

— Выдохлась, что ли? Крепости не ощутил.



— Мудрено ли? — сказала жена. — После четвертой поллитры.  
— Крепость нормальная, — сказал папа. — Я объясню тебе, в чем дело...

— Ну?

— *Азарт.*

— Азарт, говоришь? Что ж, отрицать не стану. Такой я! — и он с треском распечатал первую пачку.

Поводив указательным пальцем по цифири столбиков таблицы, поднял глаза и весело сказал:

— Промашка вышла! Ничего, “Победа” в следующей.

— Чья? — спросила младшая.

— Не твоя же, — ответила старшая.

— Ах, не моя... *Сказать?*

— Ладно, твоя. Подавись.

— Папа, ты слышал? Сама сказала.

— Ладно вам, ангелята. — Он отбросил вторую пачку, она разлетелась. — Шкуру неубитого медведя делить... Ну-ка, а в этой? — и разорвал полоску на третьей.

“Победы” не было и в ней.

С окоченевшей на лице маской одобрения гусарству друга папа Александра курил папиросу, а мама с тревогой поглядывала на жену летчика, с которой пачка за пачкой сползало безразличие. А летчик садил “Беломор” так яростно, словно поддерживал вокруг себя дымовую завесу.

— Все ведь снял, — сказала его жена. — Все, что с самой Кореи сбережено было. Рубль только один оставил, чтобы счет не закрывать. И что теперь мне делать? Завтра он уйдет, а у меня до конца месяца дотянуть не будет на что.

— Я тебе займу. — Мама обняла ее. — Будем теперь держаться друг дружки.

— Твой-то когда уходит?

Александр внутренне одобрил маму, даже подруге не разгласившей военную тайну:

— А я знаю? Баул его тревожный у порога, а когда ее, тревогу, объявят — мы разве знаем? Мы — люди маленькие. Пепел стряхни, Леонид, — возвысила она голос в сторону папы, но тот не услышал, ибо не только утратил облик, но и оглох.

Мама вынула из его пальцев забыто дымящую папиросу, которую задавила в его же тарелке, полной окурков. Осязание папа тоже потерял. Но самое постыдное было, что он даже не сознавал

всю неуместность омертвевшей на его лице улыбки одобрения летчику, разорившему семью. Рассыпаясь веером, пачки уже наросили целую гору, но никакой “Победы”, которая должна была возникнуть от совпадения номеров на пачке и в газете, еще не возникло. Пальцы летчика медленно задушили окурочек. Продув в дыму тоннель, он проявился и сказал:

— Последняя.

Повел пальцем, после чего смял газету, разорвал и отбросил. Девочки заплакали.

Загуляев завел руку за спинку стула, расстегнул свисавшую кобуру, сдавленно сказал:

— Простите, ангелята! — и извлек “Макарова”.

— Не ломай комедию, — сказала его жена.

— Это не комедия, Зина, — возразил он, сдвигая большим пальцем предохранитель. — Трагедия это.

Папа вздрогнул и очнулся. А очнувшись, осудил:

— Не при детях, Святослав!

Долго и неподвижно смотрел на него летчик, и потом его палец щелчком вернул предохранитель в безопасное положение. Он застегнул, а потом вдруг запрокинул шар своей головы и — р-раз! — ударился лбом о край стола, вскричал, вскочил, сощелкнул шпингалеты, распахнул окно и стал швырять на дождь, во мглу, свои билеты. Пригоршнями! Он выбросил их все, а вслед им и комок газеты, схватил бутылку и, работая кадыком, опустошил до дна. Размахнулся — и туда же, в окно! От выпитой воды водопроводной его оттащило от подоконника, он схватился за скатерть — и в грохоте и звоне грохнулся об пол так, что лампочка мигнула.

Все вскочили, кроме папы, который все так же осуждающе передергивал головой.

Загуляев приподнялся на локте.

— А если не при детях? Имею право?

— Имеет право всякий, — ответил папа. — Но не мы.

— Не мы?

— Присягу помнишь? До последней капли крови *она* не нам принадлежит.

— Кому? — потребовал Загуляев.

С какой-то обреченной гордостью, вкладывая в ответ всю силу, папа повторил:

— Не нам. Осмыслил, Слава?

Смысл возник в глазах командира эскадрильи истребителей.

— Ну, и хуй с ней тогда.

Он отпал, пошумел затылком в осколках, а потом смысл потух, и он закрыл глаза от света лампочки.

— Теперь ты поняла, почему я сервис свой китайский не выставила? — Жена летчика поднялась. — Что ж, будем укладывать наших защитничков...

И стала стаскивать с распростертого тела хромовые сапоги.

Папа за убийством собеседника показал пальцем на Александра.

— Взять, к примеру, камикадзе...

— Пойдем! — поднялась мама. — Пора и честь знать.

— Пойдем, — согласился папа.

Но не смог встать со стула.

— Пусть посидит, — сказала жена Загуляева. — Давай сначала этого.

Вместе с мамой они взялись за тело.

— Чугунный...

— Ничего, — ответила мама. — Я их в сорок первом знаешь сколько перетаскала? А раненые еще хуже. Его тащишь, а он ведь так и норовит... — Они взвалили тело на раскладушку. — Агонизирует, а туда же!

— Мужик, он и есть мужик, — согласилась жена летчика. — Ну, теперь твоего.

Под дождем они тащили папу через двор. Иногда папа забывал переставлять ноги, и они, в сапогах, рыли грязь.

— А главное, — повторял папа, — ну, все сознаю! Война, так война... Не впервой! Верно я говорю?

Следом Александр, укрыв за пазухой, нес его фуражку.

Затемно он разбудил Александра. К нему вернулась способность ходить. И он ушел — поцеловав. Наводить порядок в Венгрии. Когда Александр в восьмом часу утра с ранцем за плечами вышел во двор, земля была вся облеплена лотерейными билетами Загуляева, затоптанными в грязь и мокнущими в лужах.

По длинной Скидельской улице, лязгая гусеницами по булыжнику, урча и воняя, на Запад шли танки. Не видно было, откуда они начинались и где кончались — сплошной рычащий поток. Колонна шла медленно, так что Александр обгонял один танк за другим, и так, пока не перешел дрожащий мост, где свернул налево, оставив рык брони за спиной, и постепенно мир снова

озвучился, и дождь стал слышен -- на кленовых листьях вдоль дороги, на старых каменных плитах и на канализационных крышках, на которых были вычеканены латинские буквы старого польского названия этого городка у наших новых западных границ.

#### КРУГ ЧТЕНИЯ

С книжкой и фонариком он отворял крышку, переступал в огромный, "колониальный" называемый чемодан, — и затворялся.

Он много читал, Александр. Он — глотал. Он был книгоцеем этой рекомендованной и утвержденной где-то Министерством просвещения литературы для младшего и среднего школьного возраста. Читая, он грезил. Книги были наполнены его сверстниками — мальчиками-мучениками, отроками-героями. отождествляясь с ними, читатель Александр кричал во сне: "За Родину! Вперед!.."

Перед тем как заснуть, — а он долго не засыпал, давая основания подозревать себя в глистах и рукоблудии, — Александр совершал все им прочитанные подвиги. Борясь с ненавистным ему царским самодержавием, он в декабре 1905-го расклеивал прокламации. Он выбивал глаза жандармам — из рогатки, камнем, через разбитое чердачное окно. Забрасывал живых кошек на чердаки богатырям — чтоб хоть не съели, так перепортили висящие там окороки и колбасы. И бил сынков, вываливая, чистеньких, в грязи. Стрелял из нагана, оброненного павшим рядом отцом-пролетарием, а после, отстрелявшись, с гордо поднятой головой принимал мученическую смерть под копытами казачьих лошадей: "Умираю, но верю: наше солнце взойдет!.."

Еще больше подвигов совершал он, Александр, во время Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года и, конечно, в вытекающую из нее Гражданскую войну. В одиночку он разрывал петлю на горле молодой советской республики, которую душили разом все Четырнадцать иностранных держав, не считая беляков. Но и доставались ему, одиночке, за это все муки вместе. Его запарывали насмерть плетями и шомполами. Расстреливали. Вешали. Рубили на куски. Топили. Жгли. В глотку Александра, орущую: "Да здравствует Коммунизм!" вливали жидкий

свинец, а потом, головой вперед, заталкивали в паровозную топку, как японцы Сергея Лазо, втолкав предварительно в рот его собственный — шашкой отрубленный — член, как в романе “Чапаев”. Но он, Александр, — воскресал и, разгромив Антанту, сбросив Врангеля в Черное море, а японцев — в Великий или Тихий океан, начинал погибать уже под злодейскими пулями кулацких обрезов, борясь за Коллективизацию, не щадил ни деда, ни отца, прятавших зерно от голодающих Поволжья, и об руку с чекистами Дзержинского уничтожал не только их, но и всю контру сразу — опять-таки умирая от предательского удара в спину лишь для того, чтобы воскреснуть на постаменте алебастровым памятником Павлику Морозову, безмолвно салютующему от имени пионеров-ленинцев самой Вечности. А отсалютовав, он, Александр, вновь перевоплощался — уж белофинны к нам ползли в маскхалатах белых, а там уже — по плану “Барбаросса” — вторгались полчища гитлеровцев. Тут воспаленное воображение Александра, любящего книгу — источник знаний, размножало его на сотни мальчиков, геройствующих на фронтах, в своем тылу, а также вражьем, и так, что — дураку ясно — не будь их, этих мальчиков разрозненных, но как Один принявших смерть с гордо поднятой под петлей головой, Красной Армии никогда бы не разгромить фашистскую гадину в ее собственном логове. Не будь его, Александра!

А кто, скажите на милость, с парашютом заброшенный к немцам в тыл, обливал бензином угол склада с боеприпасами, а потом, с отрезанными девичьими грудями, белокурую головку продевал в мерзлую петлю?

Я.

Кто, зарывшись от немцев в стог сена, не издавал ни звука, когда в плоть его вонзался ищущий вслепую немецкий штык? Кто бросал гранаты из засады, строчил из всех видов трофейного автоматического оружия, минировал железные дороги и столовые немецких летчиков, закрывал грудью амбразуру из пулеметного ДЗОТа, бросался, обвязанный связкой гранат, под “Тигра” и направлял горящий красноезвездный “ястребок” на вражескую автоколонну?

Я, я, я...

“Вперед! За Сталина, за Родину!” — хриплым голосом комбата орал во сне Александр.

На воспаленный лоб ложилась мамина рука.

Рука отдергивалась.

Он полыхал.

39 и 9.

...О блаженство болезни! Не отвлекаясь на прозу мирных буден советского народа, можно бить врага, и погибать, и воскресать с утра до ночи напролет. Он грезил читая, а засыпая бредил, но выздоравливая и выходя во двор подобен был искрящемуся бикфордову шнуру. Спеша навстречу долгожданному взрыву, извилинами мозга бежала искра.

Но где же враг? Где собственность врага?

О победившая моя страна, какая смертная тоска — ведь все твои враги капитулировали. Безоговорочно и окончательно... О серые будни мира... Нет, динамиту мне! Тринитротолуолу. А нет, так на худой конец сойдет и спичечная сера, их, спички, нужно обдирать об острые края стреляных гильз, подобранных на опустевшем стрельбище, и, терпеливо начиная... Но где же, где же этот враг?

Как о друге лучшем, мечталось о нем Александру.

Он хотел быть взятым контуженным в плен. Хотел быть угнанным в нацистскую Германию. В Освенцим, в Бухенвальд. Но она, Германия, была уже разгромленной и даже наполовину братской... Где вы, как Остен рвущиеся высокомоторизованные армии Фюрера, солдаты группы "Центр" и головорезы из дивизии СС "Мертвая голова"? Завывая по-волчьи, дует ветер над заснеженными местами былых баталий, оплакивая мерзлые кости врага над разобранными на дрова березовыми крестами.

Он опоздал родиться, Александр. Он опоздал сразиться. Геройски жизнь свою пролить, до последней капли крови напитать эту землю — за счастье и процветание великой нашей Родины, за эту скуку вот.

Копошились где-то на окраинах сознания шпионы с диверсантами, но это — увы — всего лишь ложка меда в огромной бочке дегтя: мира...

Он бредил войной, как недобитый реваншист из ФРГ с карикатуры в журнале "Крокодил".

Великой Отечественной бредил — через три года после победоносного завершения которой его вытолкнули в этот мир, чтобы так и жил, тоскуя об упущенной возможности геройски пасть. Поет радио, и на глаза невольно наворачиваются слезы горькой обиды, а кулаки сжимаются невольно:

*Орленок, орленок! Взлети выше солнца  
И степи с высот огляди:  
Навеки умолкли веселые хлопцы,  
В живых я остался — один...*

\* \* \*

Его мама снимает за порогом туфли и в чулках подкрадывается к "колониальному" чемодану. Раз — и отворяет крышку:

— Ты что это здесь делаешь?

А он всего-навсего, светя себе фонариком, читает взятую в школьной библиотеке книжку "Никогда не забудем!" — о глумлениях и зверствах немецко-фашистских оккупантов над детьми среднего и младшего школьного возраста.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

новая книга

ГЕННАДИЙ ВАЛЬДБЕРГ. "РОЖДЕНИЕ ШЛЯГЕРА"

Поэзия в изгнании, музыка в изгнании... И вот теперь, впервые, — фантастика, изгнанная советскими властями. В книге Г. Вальдберга собраны две фантастические повести с напряженным детективным сюжетом, рассказывающие о музыке и музыкантах, о джазе и рокке, какими они будут завтра. Эта книга выходит "здесь", а не "там" (хотя удостоилась высокой оценки братьев Стругацких), потому что "там", в "светлом советском завтра", нет места для музыки-поп, как нет его для смелой, увлекательной фантастики.

Заказы и чеки на сумму 10 долларов (или в шекелях по эквиваленту) направляйте по адресу: G. Valdberg, Rachavat Zfat 14/23, Beer-Sheva 84770, Israel.

**СТИХИ**

**Лето 1972 года**

Такого лета не бывало!  
Листою ржавою мело.  
Земля от зноя изнывала,  
И солнце красное цвело.

Закаты маревом клубились,  
Ползла зараза небылиц,  
И ветры душные носились,  
Как пыль за лавой кобылиц.

Как в кольцах сытого удава,  
Лежала родина в пыли,  
И от заставы до заставы  
Рвались и выли кобели.

Степная сушь, как вражья сила,  
Летела с юга. Город чах.  
Жара, как ненависть душила,  
Песком скрипела на зубах.

Горело где-то мелколесье.  
И в унисон бездомным псам  
Давно заезженная песня  
Бросала вызов небесам.

И были женщины доступны,  
Как перед долгою войной,  
И сладок был, как запах трупный,  
Дымок отечества родной.



## Варианты

### 1

Еще на тонком льду канала  
Чернеет снег, а вдоль дворцов  
Плывет нарезанное сало  
Тяжелых белых невских льдов.

И шпили блещут на закате  
И принимают льдин парад,  
Скользящих в медленном накате  
По отраженью колоннад.

Нелепа мстительность лица  
И уж тем более нелепо  
Из-за любви к началу века  
Не замечать его конца.

Смотри, фабричные девицы  
Смеются громко у реки,  
А рядом мнутя вахлаки —  
Весна, весна — пора кадриться!

И город зимние отрепья  
Срывает, вечно молодой,  
И золотым великопьем  
Опять франтит перед Невой.

Оставь задумчивые позы,  
И тон презрительный оставь,  
И не считай, что наша явь  
Достойна лишь унылой прозы.

Учись у старых ловеласов  
Пренебрегать борьбою классов,  
Легко пленяться и пленять  
И на деспотов не пенять.

II

Однажды ночью я шагал  
Через Дворцовую к Сенату.  
Плескалась черная вода  
В своих гранитных казематах.  
И стайки юношей кудлатых,  
Частично даже бородатых,  
Под дребезжанье бедных струн  
Покой смущали сонных лун.

Столица области. Юнцы  
В пылу блаженного безделья  
Сосут стеклянные сосцы  
Невинно-водочных изделий.  
Проблема "дети и отцы".  
Гитары треск, на шее крест,  
Сошлись со всех окрестных мест  
На самодельном на английском  
Свой неосмысленный протест  
Пропеть. А столп александрийский  
На сей плебейский бунт взирал  
И в звездном небе умирал.

III

Уж зыбь вечерняя окутала дворец.  
А небо — цвета млечного опала.  
Вода блестит седая, как свинец,  
И в стружьях льда туманный лик канала.

Холодной сырости пустынных улиц ряд.  
В крылатых сумерках любимого апреля  
Лелею жухлость стен и вычурность оград,  
И медных идолов оскоменную зелень.

Заляпан грязным снегом парапет,  
И льдины дыбясь, корчась, как от боли,  
Как грозный ход отпущенных на волю  
Несут Невы поломанный хребет.

Земля внизу и вровень небеса.  
 По каменистым склонам убегают  
 В туман рассветный юные леса,  
 Простор пьянит и смертного пугает.

Цветет миндаль и свой кипящий цвет  
 Без всякой жалости на камни отряхает.  
 Издалека — как инеем одет.  
 Уже февраль. Весной благоухает.

Иная статья — иная благодать.  
 Но было бы неплохо утром ранним  
 Среди холмов с тобою погулять  
 И обсудить причины мирозданья.  
 Не то, что б не с кем лясы поточить,  
 Но верится с трудом в возможность новой дружбы.  
 Нет, есть читатели, приятели-врачи,  
 На злую выпивку большие лихачи,  
 А то и баба любящая скрасит месяц службы.  
 Все, в общем, в норме. Засуха, террор,  
 Да тают, говорят, валютные резервы.  
 Страна веселая и не для слабонервных.  
 А что у вас там нового с тех пор?  
 Все тот же за окном имперский реквизит  
 Бессмыслицы, снегов и вдохновенья?  
 Все те же кухонные бденья?  
 Слыхали мы — напал какой-то мор  
 На консулов? Что здешних веселит.  
 Однако спор наш старый не решит.  
 Не повлияет даже на решение.

Продолжим, каждый, опыт на себе  
 По мере сил и мере разуменья.  
 В конце концов ведь истина в судьбе  
 А собственная жизнь — лишь довод в рассужденье.

## МАЛЕНЬКАЯ БАРАБАНЩИЦА

(продолжение; начало см. №№ 38 — 40)

### 16.

Эти три недели в Лондоне были нескончаемы как английская осень. И все три недели Чарли трясло от судорожного страха и такого же судорожного нетерпения. Не гони волну, говорила она себе, рано или поздно они за тобой придут. Должны придти. Она ловила себя на том, что зовет — приди, Мишель. Ее тянуло к Иосифу, но звала она Мишеля.

Иосиф был рядом и недостижимо далеко. Он был тенью, появлявшейся в самых неожиданных местах — в очереди на автобусной остановке, в библиотеке за соседним столиком, в прачечной-автомате, куда она приходила постирать блузки. Она проходила мимо него, сгорбленного над газетой в ожидании своего белья, и не подавала виду, что замечает. Он не существовал — если не считать их тайных встреч, без которых она давно бы спятила.

Труппа сняла для репетиций бывший армейский барак вблизи станции метро Виктория. Каждое утро Чарли отправлялась туда, каждый вечер с ожесточением смывала с волос застоявшийся запах дешевого армейского пива. Как-то раз Нед Квили пригласил ее на ланч, но даже из этого ничего путного не вышло. Старина Нед пыхтел и надувался и явно хотел ее о чем-то предупредить, но когда она сказала: "Нед, в чем дело, выкладывай!" — он тут же захлопнул створки, затравленно поморгал и понес невыносимую околесицу. А когда понял, что запутался, от огорчения напился так, что Чарли пришлось помочь ему выписать чек. На улице ей вдруг показалось, что она догоняет собственную тень. Господи, подумала она, так недолго и свихнуться. Но тут чья-то ладонь скользнула по ее руке, и оглянувшись, она увидела Иосифа, который исчезал в дверях соседнего магазина.

По воскресеньям она с отвращением изучала толстые уважаемые газеты и подолгу гуляла, подогревая свой изрядно поостывший антибуржуазный радикализм картинками позабытой лондонской жизни. Очумелые лица покупателей в неоновом чаду супермаркетов, тупое отчаяние в глазах стариков, деревянный оскал полицейских морд, завистливые взгляды черных подростков вслед хромированному полыханью "Роллс-ройсов", набожная ти-

шина банковских святилищ, рекламные ловушки жилищных компаний, алкобольные искушения баров, соблазны лотерей, скука, блевотина. Не город, а гигантская свалка списанных со счета надежд.

Чтобы не создавать проблем, она пару раз переспала с Алом. После бесплодного, засушливого романа с Иосифом ее тело нуждалось в чем-то реальном. Первый раз они встретились в баре, где Ал, по своему обыкновению, вещал в кругу благоговейно внимающих ему прыщавых девиц. И этот паяц был моим наставником? — подумала она, широко открывая ему объятия. Только бы он не учуял Мишеля, моя кожа наверно пропахла им насквозь. Но Ал, как всегда, был слишком занят собственной персоной, чтобы что-нибудь учуять. Они наскоро трахнулись в пустовавшей квартире общего знакомого, но и там она продолжала думать о Мишеле. О его смуглом теле, которое светилось рядом с ней в полутьме. И конечно об Иосифе, который наконец-то принадлежал ей целиком — со своим исполосованным шрамами телом и обожженной воспоминаниями памятью.

В будние дни она тоже иногда полистывала газеты и слушала радио. Но о рыжей англичанке, разыскиваемой в связи с нелегальной поставкой взрывчатки через австрийскую границу, не было ни слова. Как будто ее вообще не было. Как будто это было с кем-то другим, и она в очередной раз присвоила себе героический факт чужой биографии.

В остальном мир мог катиться в тартарары — он ее не интересовал. Интересовала ее — да и то по чисто женской лояльности — судьба гигантской панды из лондонского зоопарка: панда упорно отказывалась спариваться с самцом, и все феминистки Лондона обвиняли в этом, естественно, самца. В зоопарке Чарли встречалась с Иосифом. Очень редко и всегда на бегу. Вопрос, ответ, беглое ободряющее прикосновение, и каждый снова шел своим одиноким путем.

Скоро, говорил он. Скоро.

В этом спектакле, который она играла перед невидимой, но внимательной аудиторией, полагаться приходилось только на тщательно разработанный ритуал. По уикэндам она исправно ездила к своим ученикам в Пекэм, по пятницам обхаживала с Алом его вонючие бабы, а по средам покупала две бутылки темного пива и отправлялась в гости к миссис Даббер, бывшей актрисе, которая жила неподалеку за углом. Как-то раз она позвонила Люси, и обе согласились, что неплохо бы встретиться, но дату так и не назначили.

Отрезанный ломоть, эта миконосская семейка. И все прочие тоже. Чарли вела размеренную жизнь образцовой старой девы — в сухую погоду усердно поливала деревья перед домом и аккуратно вывешивала за окно мешочки с кормом для ласточек. Мешочки означали, что у нее все в порядке. Никто не приходил, Жозе. Нашлепка “За ядерное разоружение” на ветровом стекле машины означала то же самое. И латунная буква “С” на ремне сумки. В сумке лежал наготове белый шарф. Белый флаг бедствия — на случай, если за ней все-таки придут. Если за ней вообще когда-нибудь придут.

Мишель, любимый, смилуйся. Приди, Мишель.

В один из вечеров ей вдруг приспичило навестить свою дуреху мамашу в ее Рокмансворсе. В былые дни одна мысль об унылом ланче с матерью и ее плаксивых жалобах вызвала бы в ней бешенство, а тут она даже заночевала у нее, а наутро, повязавшись темным шарфом (не белым, конечно), подвезла мамашу в церковь. Опустившись рядом с ней на колени и вслушиваясь в звуки органа, она вдруг обнаружила, что плачет. Не так уж она владела собой, оказывается. Это все потому, что мне не хочется возвращаться домой, объяснила она себе.

Когда-то квартира казалась ей самым надежным местом в мире. Этаким архитектурный эквивалент Неда Квили. Она заполучила ее в наследство от знакомой актрисы, которая потеряла работу и смоталась со своим хахалем в Испанию. Квартира помещалась над индийским ресторанчиком, который открывался на рассвете и закрывался поздно вечером, и чтобы попасть наверх, нужно было пройти через весь зал, протиснуться между кухней и туалетом, пересечь маленький дворик и подняться по лестнице под самую крышу. Там-то и находилась эта святая святых — крохотная комната (зато с самой шикарной в мире кроватью), кухня и ванная, и все за умеренную плату, слава богу.

Теперь прежнее чувство безопасности исчезло, и ей было здесь не по себе. словно в ее отсутствие тут хозяйничал кто-то чужой и все переделал по-своему. Как оно и было. В ящике стола, задвинутые подальше от чужого глаза, лежали письма Мишеля — оригиналы тех фотокопий, которые ей показали тогда, в Мюнхене; повсюду она натыкалась на памятки их бурного романа, начиная с той первой нотингамской ночи: спичечный коробок из мотеля, дешевая толстая авторучка, которой она писала ему свое первое письмо, увядшая орхидея между страницами поваренной книги, платье, которое он купил ей в Йорке, и серьги, купленные в Лондоне, — на кой ей серьги, которые она не может носить? Но с этим еще можно

было бы смириться; ей даже довольно прозрачно намекнули, что так оно и будет. Я понимаю, Жозе. Бесило ее, что эта вторая Чарли, вылепленная из пустоты осторожными чужими руками, претендовала стать реальней, чем она, настоящая. На книжной полке глянцево вели обложками брошюры о палестинской революции, плакат на стене изображал израильского премьера в виде раздувшейся жабы на фоне тщедушных арабских беженцев, карта израильской агрессии пестрела ее собственноручными карандашными пометками, и на ее столе громоздилась кипа дурно отпечатанных английских журнальчиков, специализировавшихся на антиизраильской пропаганде. Это все мое, уговаривала она себя, это мое новое увлечение. Когда мне что-то нравится, Жозе, я скупаю все подряд, всю лавку.

Но это была не она. Это были они. И граница между сценарием и реальностью становилась все более сомнительной.

Мишель, о Господи, где же ты, Мишель?

На почту, согласно инструкции, она пошла сразу же после приезда. Она сунула в окошко удостоверение, и ей выбросили открытку со стамбульским штемпелем, на которой была одна-единственная строчка: "Дорогая, до скорой встречи в Афинах, люблю". Подписано "М". Судя по дате, открытка пришла вскоре после ее отъезда на Миконос. Мишель. Его ноги в итальянских туфлях, беспомощно волочась по ступеням. Обвисшее тело, поддерживаемое двумя охранниками. Безбородое лицо фавна, слишком молодого, чтобы сражаться за свободу. Золотой медальон на обнаженной коричневой груди. Я люблю тебя, Иосиф.

С того дня она появлялась на почте ежедневно, а порой и дважды в день, пока не стала там местной достопримечательностью: "Та самая, что всегда уходит с пустыми руками, бедняжка, она так убивается..." Этакая изящная, тщательно отрепетированная перед зеркалом мизансцена. Стоя за марками у соседнего окошка, Иосиф всякий раз удовлетворенно кивал головой.

Она отправила Мишелю три письма — первые письма, которые она написала ему собственноручно. Умоляла его ответить, клялась в вечной любви и заранее прощала ему будущее молчание. Бред сентиментальной дуры. Письма она опускала в указанный ей почтовый ящик. У этой сцены тоже, вероятно, были свои зрители, но Чарли старалась о них не думать. Правда, однажды в окне бара она увидела увлеченную газетой Рахель, и еще раз мимо нее промчались на мотоцикле Рауль с Димитрием. Но оваций она так и не дождалась. Последнее письмо велено было отправить с почты, экспрессом. Наклеив марки, она постояла в нерешительности, а затем

стала лихорадочно писать на оборотной стороне конверта: “Любимый, пожалуйста, о пожалуйста, напиши” — не обращая ни малейшего внимания на Иосифа, который все это время терпеливо ждал в очереди за ее спиной.

На рекогносцировку в Ноттингам они отправились на пятый день ее пребывания в Лондоне. И разумеется, со всеми мыслимыми и немыслимыми предосторожностями. Встреча была назначена у отдаленной и почти всегда безлюдной станции метро, Иосиф подхватил ее на своем “Ровере” и привез с собой парик и полную смену одежды, включая меховую накидку. Ужин, само собой, был заказан поздний и в том же придорожном ресторанчике. И был такой же отвратительный, как тогда. Ничего удивительного, что посреди стейка Чарли смертельно испугалась, что ее опознают, несмотря на парик, а затем стала истерически требовать, чтобы ей тут же сказали, что произошло с ее единственным настоящим возлюбленным. Иначе она не сойдет с места...

После ужина они отправились в мотель. По сценарию, они с Мишелом сдвинули тогда эти монашеские кровати и застелили их впоперек матрацами. На минуту ей показалось, что сейчас это случится вправду. Выйдя из ванной, она увидела, что Иосиф лежит на кровати и внимательно смотрит на нее. Она наклонилась над ним и стала, едва касаясь, целовать — сначала в виски и щеки, потом в губы. Он ответил ей поцелуем, потом приподнялся и осторожно отстранил от себя. Сел на постели и поцеловал еще раз. На прощанье.

“Теперь слушай”, — сказал он, накидывая пальто.

За окном, с шорохом перебирая листья, шуршал вечный ноттингамский дождь. Тогда, с Мишелом, этот дождь держал их в постели две ночи подряд. И еще день между ними.

На следующее утро они совершили ностальгический вояж по местам, где она когда-то гуляла с Мишелом. Ты должна их увидеть своими глазами, пояснил Иосиф. В промежутках он пытался научить ее приемам тайнописи на изнанке пачки от сигарет “Мальборо”. Ее забавляла его невозмутимая серьезность.

Несколько раз они встречались в костюмерной на Стренде, под бдительным оком монументальной крашеной блондинки лет шестидесяти. Старая кляча неизменно встречала Чарли радостным: “Ты на примерку, дорогая?” и тут же вталкивала ее в заднюю комнату, где Иосиф уже ждал ее, как клиент ждет проститутку. Ты стано-



вишься осенним, Жозе, думала она, вновь отмечая изморозь на его висках и красноватые прожилки на впалых щеках.

При каждой встрече она добивалась, как его найти в случае необходимости. "Где ты остановился? Как тебе позвонить?" Через Кэти, говорил он. Дай сигнал. Позвони Кэти. Ниточка их связи тянулась через Кэти в его тайную одинокую нору, куда он никого не допускал. Каждый вечер с шести до восьми Чарли должна была звонить в Вестэнд, — всякий раз из другого автомата, — чтобы доложить как у нее прошел день. Какую еще глупость сказал Ал, какую роль ей предлагают у Неда, как идут репетиции, была ли проба фильма. К счастью, Кэти оказалась женщиной неглупой и к тому же с незаурядным жизненным опытом. Наверное, какая-нибудь пожилая медсестра, думала Чарли. Профессиональная медсестра и, судя по голосу, из Канады. Эта догадка делала Чарли честь. Ибо хотя мисс Бах была американкой, но профессия врача в ее семье действительно была потомственной.

Для своей команды Курц снял дом в Хэмпстеде. Четырехэтажный солидный дом в тихом солидном переулке, с крохотной сторожкой у входа, на которой они сразу повесили аккуратную табличку: "Семинар по проблемам иудаизма и гуманизма. Посторонним вход воспрещен". Дом принадлежал еврейскому интеллектуалу, который по совету своего старого иерусалимского друга Марти на это время решил съездить в Марлоу. Впрочем, незримо он продолжал присутствовать в доме — в виде фотографии Томаса Манна с автографом, висевшей в салоне, огромного Бехштейна в музыкальной комнате и потрескавшихся кожаных кресел в библиотеке.

Четырнадцать человек из команды Курца рассеялись по дому с такой бесшумной кошачьей ловкостью, что дом казался попрежнему безлюдным. Да большинство из них и возвращалось сюда только вечером, после целого дня работы. А то и за полночь. Поднимаясь к себе, они слышали, как Литвак внизу играет Брамса. В остальном участники элитарного семинара папаши Курца вели уединенную и замкнутую жизнь, не появлялись в окрестных пабах и ресторанах и старались избегать излишних контактов с соседями. И конечно, они не забывали время от времени посылать себе письма, регулярно покупать молоко и утренние газеты, а также делать все прочие мелочи, отсутствие которых сразу настораживает наметанный профессиональный взгляд.

Из внешнего мира до них доносились отголоски отдаленного боя, который продолжали вести другие. Росино засекли на мюн-

хенской квартире Януки в сопровождении девушки, в которой опознали небезызвестную Эдду. Такой-то небезыинтересный господин посетил такого-то не менее достойного внимания господина на его квартире в Бейруте. Или в Дамаске. Или в Париже. Трижды в неделю Литвак созывал всю команду на обсуждение новостей. Иногда на эти обсуждения приходил великий Гади Бекер, скромно усаживался в углу и исчезал, как только обсуждение заканчивалось. Они не знали, куда он исчезал и что делал, но к этому уже привыкли. Ведь он был существом иной породы — полевой агент, волк-одиночка. Про себя они так и называли его: “Степной волк” — и с энтузиазмом пересказывали друг другу легенды о его подвигах.

Сообщение, которого они ждали, пришло на восемнадцатый день. Телекс из Женевы поднял команду по тревоге, а еще через несколько часов телеграмма из Парижа развеяла последние сомнения. Час спустя все они уже направлялись на запад, подгоняемые холодным осенним ливнем.

## 17

В афишах их труппа именовалась “Еретики”, и свое турне они начали в Экзетере. Публика здесь подобралась на редкость унылая: слезливые старички-священники и скорбные старушки-прихожанки в лилово-розовых траурных нарядах. Словно только что вернулись с похорон.

Затем труппа перебралась в Плимут, где играла перед молодыми офицерами с военно-морской базы. Мичманы и гардемарины смущенно топтались за кулисами и тоскливо размышляли, прилично ли приглашать бродячих актеров на ужин в офицерскую кантину.

Но даже эти скучные провинциальные дыры могли показаться безумно оживленными в сравнении с гранитными долинами Корнуэлла, куда их привел дальнейший маршрут. В промозглом и мрачном шахтерском городке не было ни одной приличной гостиницы, так что пришлось расселиться по дешевым отельчикам. Чарли досталось место на отшибе, среди привокзальных складов, где ее всю ночь донимал грохот поездов, мчащихся на Лондон. Спектакли давали в наскоро переоборудованном спортзале, на сцену доносился запах хлорки из бассейна и гулкие удары мяча за стеной, а в глазах у зрителей стояло завистливое тоскливое презрение, точно они были уверены, что опустись они до столь жалкого ремесла, то уж конечно сыграли бы куда лучше. А примерная поме-

щалась в раздевалке для спортсменов, где между кабинками поставили столики с зеркалами.

Орхидеи от Мишеля ей принесли именно сюда. За десять минут до начала спектакля.

Сначала она увидела их в зеркале. Веточка орхидей, лежа на согнутой руке Пастуха из местных актеров, точно младенец, запеленутый в хрустящую бумагу, торжественно проплыла сквозь дверь, нерешительно покачалась среди раздевалки и наконец уверенно направилась к ее столику.

“Отныне нарекаю тебя Розалиндой!” — напыщенно провозгласил Пастух и отступил в сторону, демонстрируя свою деликатность.

“Я и так Розалинда”, — хмуро сказала Чарли, внимательно изучая в зеркале линию, которой обвела глаз. — “А дальше что?”

“Это Розалинде”, — глупо хихикнул Пастух, указывая на припиленный к бумаге конверт.

Чарли подняла конверт повыше — для тех, кто сгорал от любопытства. “Мисс Розалинде”. Континентальный почерк, острые, падающие буквы. На вложенной внутрь визитной карточке тем же почерком три слова: “Антон Местербейн, Женева”. И чуть пониже, той же рукой, еще одно: “Справедливость”. Справедливость и точка. Никаких тебе “дорогая, люблю”, никаких “ласточек моей свободы”, ничего. Господину из Женевы нужна была одна лишь справедливость, ничего больше.

Орхидеи мог послать только Мишель.

Она небрежно бросила карточку на столик и вернулась к изучению линии вокруг глаза.

“Ух ты”, — завистливо сказала сидевшая рядом Пастушка, тоже из местных. — “Такие цветы стоят, наверно, кучу денег, да, Чарли?”

“Наверно”, — равнодушно согласилась Чарли.

А, может, это ловушка? Фараоны пронюхали про Югославию? Мишель, возлюбленный мой, что же мне делать?

В коридоре нетерпеливо заорали: “Розалинда, где Розалинда? Чарли, ты еще долго будешь копать?!”

Наверно, она была из рук вон — в антракте режиссер с кривой улыбкой попросил ее “не так нажимать на голос”. Но она и себя-то не слышала, не то что партнеров. Ее глаза непрерывно рыскали по залу в надежде увидеть красный блейзер. Она равнодушно скользнула взглядом по лицам Рахели и Димитрия, но никакого красного блейзера в зале не было.

Это ловушка, думала она с нарастающим страхом. Полицейская ловушка.

Кое-как дотянув до конца, она наскоро переделалась в гримерной, повязалась белым шарфом и торопливо вышла в коридор, где толпились и перекрикивались потные спортсмены. Какой-то

школьник робко попросил у нее автограф. Сгорбленная старушка в плаще поинтересовалась, как она выращивает такие чудные орхидеи. Потом на нее набежала Пастушка и закричала: "Чарли, где же ты, мы все тебя ждем!"

Она с трудом отделалась от нее и почти бегом выскользнула на улицу. Сзади глухо хлопнула дверь, в лицо ударила сырая парусина ветра. Машина завелась только со второй попытки, и уже выворачивая на дорогу, она увидела, что в хвост ей торопливо пристраиваются чьи-то чужие огни.

Холл отельчика был пуст, только Толстый Хэмфри уныло дремал за стойкой. Толстый Хэмфри изображал в этом клоповнике ночного портье.

"Не шесть, а шестнадцать, миленький, — в несчетный раз поправила она его. — Вон там, наверху. И я вижу там записку, дай-ка ее мне, пока не отдал по ошибке кому-то другому".

Записка была от сестры. Трафаретное пожелание успеха на сегодняшнем спектакле. Почему именно на сегодняшнем? В другую минуту она сумела бы расслышать ободряющий шепот Иосифа: "Мы с тобой". Но сейчас она слышала только собственное сердце и приближающиеся мужские шаги за спиной.

"Мисс Чарли?"

Она обернулась. Худой молодежавый человек с темными сочувственными глазами. В темном габардиновом пальто и в темном галстуке под цвет глаз, которые были под цвет пальто. Такой себе сорокалетний габардиновый человечек, которому, видать, с детства отказывали в справедливости. И с маленьким пухлым ртом на бледном лице.

"Я хотел передать вам привет от нашего общего знакомого, мисс Чарли. От Мишеля".

"Какого еще Мишеля?" — холодно поинтересовалась она, но в его бледном лице не прочла ни смущения, ни растерянности. Все в ней застыло в смертельной неподвижности.

"Мишеля из Нотингама, мисс Чарли". — Акцент придавал голосу угрожающие нотки, но сам голос был бархатно-вкрадчивым, словно у него с Чарли был маленький общий секрет, и секрет этот назывался "справедливость". — "Мишель просил передать вам орхидеи и пригласить на ужин вместо него. Пожалуйста. Я его близкий друг. Пожалуйста".

Не доверяй никому, говорил Мишель. Особенно тем, кто придет от моего имени. Этим не доверяй в первую очередь.

"Я представляю интересы Мишеля, мисс Чарли. Заверяю вас, что Мишель имеет право рассчитывать на защиту своих интересов всей полнотой закона".

Орхидеи весили добрую тонну, но все же она каким-то образом ухитрилась переложить их в его руки.

“Вы ошиблись репликой, — устало сказала она. — Я не знаю никакого Мишеля. И мы с вами не встречались прошлым летом в Монте-Карло, не пытайтесь меня в этом уверить. Извините”.

И она повернулась к Толстому Хэмфри, который, как оказалось, давно уже о чем-то ее спрашивал.

“Я говорю, — обиженно повторил он, — в каком часу подать чай, мисс?”

“В девять, миленький, — сказала она, беря ключ. — И ни секундой раньше”.

“Мисс Чарли!” — Габардиновый голос за спиной заставил ее остановиться. — “Мишель будет очень рад узнать, что вы попрежнему носите его браслет...”

“Я сказала — идите прочь. Отцепитесь от меня! Ну?!”

Но ее голосу не хватало убежденности, она сама это слышала.

“Мишель велел заказать для вас лобстера и бутылку белого вина. Белого и холодного, — сказал он. — У меня есть также другие поручения от него. Пожалуйста. Он будет очень недоволен, если вы откажетесь. Он будет оскорблен”.

Хватка у этого типа была мертвая. Теперь в самый раз показать, что она ему поверила. Может, помахать белым шарфом в знак капитуляции?

“Хэмфри! — Она вынула карандаш из его вялых пальцев и на листке бумаги из лежавшей перед ним стопы написала “Кэти”. — Американская леди, понял? Моя подруга. Если она позвонит, скажи, что меня умыкнули шестеро ухажеров. Скажи, что я, может быть, загляну завтра на ланч”.

И она сунула листок в его нагрудный карман. Местербейн, припустив веки, терпеливо следил за ней, как давний любовник, уверенно дожидаящийся своего часа. У двери он вынул из кармана ручной фонарик, и в его свете Чарли увидела зеленый плакатик “рентокара” на ветровом стекле его машины. Но она прошла мимо, прямоком к своему “Фиату”. Он вырулил вперед, показывая ей путь.

Они миновали городок, безлюдный, темный и, казалось, окоченевший под напором ледяного ветра, проехали узкой новой дорогой через дюны и свернули под транспарант с надписью “Западно-восточные бунгало, Лтд”. Пониже в размытых дождем буквах угадывался жизнерадостный призыв: “Добро пожаловать в Корнуэлл!” Справа и слева тянулись неосвещенные домики. Местербейн свернул к одному из них, припарковался и вышел. Чарли по-

ставила свой "Фиат" чуть в стороне, тщательно заперла дверцу и, поеживаясь, ступила на бетон короткой дорожки. Он уже распахнул дверь и чуть отступил в сторону, давая ей пройти, — ни дать, ни взять настырный агент по продаже западно-восточной недвижимости, рекламирующий свой подмокший товар потенциальному клиенту.

В коридоре высокая, спортивного вида блондинка в голубом овероле возилась у газового счетчика, тщетно пытаясь втиснуть монету в его упрямо закрытую щель.

"Антон?! — воскликнула она, поворачиваясь и отбрасывая со лба прядь длинных светлых волос. — И ты привез Чарли? Чудесно! Ты гений! Чарли, ради бога, покажи мне, как управляться с этой дурацкой машиной!"

Она схватила Чарли за плечи и притянула к себе.

"Чарли, ты была просто великолепна в этом сегодняшнем Шекспире! Правда, Антон? Сногшибательна! Давай познакомимся, Чарли. Меня зовут Хельга, понимаешь? Вот как тебя зовут Чарли, так меня зовут Хельга, о-кей?"

Ее серые глаза были подозрительно лишены всякого выражения. Такой себе ничем не замутненный солдатский взгляд, отвергающий надуманную сложность окружающего мира. Я чувствую, следовательно я действую, говорил Мишель.

Ее руки все еще лежали на плечах Чарли и сильные пальцы поглаживали ее шею.

"Скажи, Чарли, трудно выучить столько чужих слов наизусть?"

"Кому как", — сухо ответила Чарли, осторожно высвобождаясь из ее хватки.

"Значит, ты легко учишь чужие слова, да? — Она схватила Чарли за руку. — Идем, покажи мне, как управляться с этим английским чудовищем, которое называется отопление".

Чарли повернула рычаг счетчика, сунула монету в готовно разинувшуюся щель и вернула рычаг на место. Монета провалилась, и в горелке с обиженным воем вспыхнул огонь.

"Невероятно! Чарли! Я совершенно не разбираюсь в технике. Понимаешь, я не признаю собственность, а если я не признаю собственность, зачем мне знать, как она устроена, правда? Антон, переведи, пожалуйста: я верю в зайн, ниht хабен. Ты читала Эриха Фромма, Чарли?"

"Она хочет сказать, что верит в быть, а не обладать", — угрюмо перевел Местербейн, не сводя с них тяжелого взгляда.

"Я обожаю Фромма! — воскликнула Хельга, снова отбрасывая прядь со лба и явно думая о чем-то, не имеющем ни малейшего

отношения к Фромму. — Когда я увлекаюсь философом, я его обожаю”.

“Где Мишель?” — спросила Чарли, поворачиваясь к Местербейну.

“Фрейлейн Хельга не знает, где находится Мишель, — сказал он, как будто она спрашивала Хельгу. — Она не адвокат. Она приехала сюда только ради справедливости. Но заверяю вас, она тоже может рассчитывать на защиту своих интересов всей полнотой закона. Сядьте, пожалуйста. Прошу”.

“Но вы сказали, что у вас есть новости”.

“Когда вы виделись с ним последний раз?” — спросил он, наклоняясь вперед, как перед прыжком.

“В Зальцбурге”.

“Зальцбург это не дата”, — резко перебила Хельга, словно уличая ее во лжи. Чарли повернулась к ней:

“Пять недель назад. Может быть, шесть. Не помню”.

“И с тех пор никто не спрашивал вас о нем? — потребовал Местербейн. — Его друзья? Полиция?”

“Может, у тебя не такая уж хорошая память, а, Чарли?” — снова вмешалась Хельга. Они перебрасывали ее друг другу, как мячик, она не знала, на кого смотреть.

“Кто спрашивал вас о Мишеле, мисс Чарли? Скажите нам. Это очень важно. Немедленно. Прошу вас”.

“В сущности, актриса может ведь и солгать, — подала свою реплику Хельга. — Это ее профессия, не так ли, Антон?”

“Ты права. Вполне возможно, что она нас обманывает”, — с готовностью согласился Местербейн. Они играли с ней, как две сработавшие кошки с глупой мышью. У нее вдруг пересохло во рту.

“Он... умер?” — шепотом спросила она.

“О да, он умер, — быстро и буднично проговорил Местербейн. — Я очень сожалею. Фрейлейн Хельга тоже очень сожалеет. Судя по вашим письмам, вы тоже будете очень сожалеть”.

Когда-то с ней уже случалось такое. В школе, когда директрисса искала виноватого в очередной скверной истории. Виноватой была Чарли, но ей ужасно не хотелось признаваться, и тогда с ней это случилось — само собой, без малейшего усилия с ее стороны. Сверху до пояса она оставалась в полном порядке, а нижнюю половину будто парализовало — ноги стали, как две деревяшки. Она рухнула, как стояла, — плашмя и с таким грохотом, что потолок, наверно, подпрыгнул на балках.

Хельга быстро склонилась над ней, бормоча что-то по-немецки.

Местербейн подошел поближе, наклонился, но не сделал попытки ее поднять. Он хотел разглядеть, как она плачет.

Она лежала, запрокинув голову, и слезы текли не вниз, а вверх по ее лицу. Вполне убедительные слезы. Она захлебывалась рыданиями и отчаянно колотила кулаком по стене. Видимо, он остался удовлетворен этим зрелищем, потому что поднялся, отошел и не стал мешать Хельге перенести ее на диван.

Она продолжала всхлипывать, дрожать в конвульсиях и выкрикивать бессвязные слова. Обманщики, фашистские мерзавцы, убийцы! Сионистские убийцы!

“Она говорит, что это сионисты, — задумчиво сказал Местербейн, поворачиваясь к Хельге. — Почему она говорит, что это сионисты, если на самом деле это был несчастный случай? Полиция заверила нас, что это был несчастный случай. Почему она противоречит полиции? Это очень опасно — противоречить полиции”.

Приподняв Чарли с дивана, Хельга протянула ей чашку кофе. Местербейн все так же задумчиво продолжал сплетать свою сеть:

“Произошел взрыв. На шоссе Зальцбург—Мюнхен. Полиция утверждает, что машина была буквально начинена взрывчаткой. Сотни фунтов взрывчатки. Почему? Почему взрывчатка вдруг детонировала на совершенно гладком шоссе?”

“Твои письма в сохранности”, — шепнула Хельга, отводя от уха Чарли рыжий завиток.

“Это был “Мерседес”, — удивленно произнес Местербейн. — С мюнхенским номером, но полиция говорит, что номер был фальшивый. И документы тоже. Подделка. Каким образом мой клиент оказался в машине, начиненной взрывчаткой, с фальшивыми документами. Мой клиент не был террористом. Он был студентом. Это, конечно, убийство. Так я думаю”.

“Ты знаешь эту машину, Чарли?” — прошептала ей в ухо Хельга, еще нежнее прижимая Чарли к себе. Но перед глазами Чарли было смуглое тело, разорванное на тысячи кусков двумястами фунтами русской взрывчатки. А в ее ушах был голос Иосифа. Лги им, Чарли. Изворачивайся. Отрицай.

“Она что-то сказала”, — уличающе произнес Местербейн.

“Она сказала Мишель”, — ответила за нее Хельга, вытирая слезы с лица Чарли оказавшимся наготове платочком.

“Ага, Мишель! — оживился Местербейн. — Полиция говорит, что с ним погибла девушка. Она была с ним в машине”.

“Голландка, — уточнила Хельга, терпеливо промокая ее слезы. — Настоящая красавица. Блондинка. Видишь, Чарли, ты не была у него единственной, у нашего маленького палестинца”.



“Я никогда на это не претендовала,” — прошептала Чарли.

“Они говорят, что она была террористка, — пожаловался Мес-тербейн. — Они говорят, что она уже несколько раз подкладывала бомбы по его заданию. Они говорят, что она с Мишелем планировали подложить еще одну бомбу и что в их машине будто бы нашли карту Мюнхена с отметкой против израильского торгового центра. На реке Изар. Он не говорил с вами об этой акции, мисс Чарли?”

Вместо ответа Чарли отхлебнула кофе. Ее еще трясло, но чашку она уже могла удержать в руках. Хельга тотчас пришла в бешеный восторг:

“Антон! Она приходит в себя! Наконец-то! Хочешь еще кофе, Чарли? Хочешь есть?”

Чарли отказалась от еды, но позволила отвести себя в туалет и долго стояла там, смывая с лица следы слез и жалея, что ее немецкий слишком скуден, чтобы понять пулеметный диалог, который доносился к ней сквозь тонкий простенок.

Наконец-то одни. Задушевный разговор, девичьи признания.

“Антон — наш ангел-хранитель, — сказала Хельга. — Ты согласна? Чарли, ты должна всегда со мной соглашаться, иначе я обижусь. — Она придвинулась поближе, словно возобновляя разговор, который они еще не начинали. — Видишь ли, насилие — не самоцель. Можно действовать насильственным путем, можно мирным, неважно. Главное — действовать логично, превращать убеждения в действия и действия в убеждения. Ты, наверное, удивишься — у меня прекрасные отношения с родителями. Ты, конечно, иное дело, это видно по твоим письмам... — Она замолчала, пережидая возобновившиеся всхлипывания Чарли. Потом крикнула: — Перестань сейчас же! Ты любила его, твое сожаление логично, но ведь он же умер! Перестань рыдать. Слушай, я тебе расскажу. У меня был очень богатый любовник. Курт. Фашистский тип, очень примитивный. Я использовала его для секса, как Антона. Однажды наши мстители в Боливии ликвидировали немецкого посла, какого-то там графа. Помнишь? Курт был ужасно возмущен: “Свиньи! Террористы! Какая низость!” Я сказала ему: “Курт — это было его имя, Курт, понимаешь? — Курт, — сказала я ему, — чем ты возмущен? В Боливии люди ежедневно умирают с голоду. Стоит ли оплакивать какого-то графа?” Ты согласна со мной, Чарли?”

Чарли слабо пожала плечами.

“Теперь смотри. Мишель мученик, но мертвые не могут сражать-

ся, а мучеников много. Солдат погиб, революция продолжается. Да?”

“Да”, — прошептала Чарли.

Хельга потянулась к своему пухлому саквоюжу, достала плоскую фляжку, отвернула пробку и протянула Чарли.

“За Мишеля! — воскликнула она. — Выпьем за Мишеля. И садись, Чарли. Я хочу, чтобы ты немедленно села. Ты будешь слушать и отвечать, да? Я не приехала сюда дискутировать. Я люблю дискутировать, но не сейчас, понимаешь? Он был увлечен тобой. Это факт. Даже очень увлечен. На столе в его квартире осталось неоконченное письмо к тебе”.

“Где оно? — Чарли протянула руку. — Дай его мне!”

“Оно обрабатывается. В таких операциях все должно быть обработано. Возможно, ты его получишь — потом. Посмотрим. Давай говорить о машине. “Мерседес”, да? Это ты доставила его в Германию?”

“В Австрию”, — пробормотала Чарли.

“Откуда?”

“Через Югославию”.

“Чарли, ты совершенно не умеешь отвечать точно. Откуда?”

“Из Салоников”.

“Вы ехали вдвоем с Мишелем? Ну, конечно, он всегда так делал”.

“Нет”.

“Что — нет? Ты вела сама? Ты хочешь сказать, что всю дорогу вела сама? Не рассказывай сказки! Мишель никогда не доверил бы тебе такое дело. Я не верю ни одному твоему слову. Ты все выдумала”.

“Мне все равно”, — апатично сказала Чарли.

Хельга пришла в ярость: “Конечно, тебе все равно. Ты шпионка поэтому тебе все равно. Ты сама себя разоблачила. Ты втерлась в доверие к Мишелю и все рассказала полиции, чтобы заработать денежки. Ты полицейский агент. Мне все ясно. Я сообщу это нашим людям, и они позаботятся о тебе. Тебя ликвидируют”.

“Отлично, — сказала Чарли. — Прекрасно. Ликвидируй меня, Хельга. Это как раз то, что мне нужно. Пошли этих людей ко мне. Я буду в своем отеле. Комната номер шестнадцать. На втором этаже”.

Хельга подбежала к окну, отдернула занавеску и произнесла, глядя на Чарли: “Антон! Антон, иди сюда немедленно, я разоблачила эту шпионку!” Потом задернула занавеску и снова повернулась к Чарли: “Почему Мишель ничего не рассказал нам о тебе?”

“Наверное, потому, что он меня любил”.

“Не прикидывайся дурой! Он тебя использовал. Где его письма?”

“Он велел мне их уничтожить”.

“Но ты их, конечно, сохранила, сентиментальная идиотка? Ты отдала их полиции!”

И одним рывком вывернула на стол содержимое ее сумки. “Что это за приемник? — набросилась она на японский транзистор с будильником, который поднимал по утрам Чарли на репетицию. — Это шпионское радио. Откуда оно у тебя?”

Чарли отвернулась и, не мигая, уставилась на полыхающий в горелке огонь. Хельга покрутила настройку, попала на какую-то музыку и с досадой отшвырнула приемник в сторону.

“В неотправленном письме он говорит, что ты поцеловала его револьвер. Что это значит?”

“Это значит, что я поцеловала его револьвер. — Чарли поправила себя: — Револьвер его брата”.

“Какого брата?” — взвизгнула Хельга.

“Его старшего брата. Великого борца”.

“Мишель сказал тебе о брате?” — недоверчиво переспросила Хельга.

“Нет, я прочла это в газетах”.

“Когда он тебе это сказал?”

“В Греции. Он сказал, что боготворит своего брата”.

“Факты, только факты. Что еще он тебе о нем сказал?”

“Это военная тайна”, — холодно сказала Чарли, закуривая сигарету.

“Чарли, я приказываю тебе говорить! Ты на примете у полиции, они знают, что это ты провела машину через Югославию, но мы можем тебе помочь. Расскажи мне все. — Она почти кричала. — Он не имел права тебе открываться. Говори сейчас же!”

Чарли смерила ее взглядом.

“Нет”.

На языке у нее теснились десятки возможных ответов, но услышав свое короткое “нет”, она вдруг поняла, что оно нравится ей больше всего.

Заставь их нуждаться в тебе, говорил Иосиф. Чем меньше они от тебя получают, тем больше будут ценить.

Хельга вдруг разом стала абсолютно спокойной.

“Значит, ты довела машину до Австрии? И что потом?”

“Я оставила ее, где он велел. Потом мы отправились в Зальцбург”.

“А в Зальцбурге?”

“Мы остановились в отеле”.

“Название?”

“Не помню. Я не обратила внимания. Такой старый, большой отель. На берегу реки. — Она помолчала и добавила. — Очень красивый”.

“И вы занимались сексом, да? Он знал в этом толк, он кончал по много раз, да?”

“Мы не занимались сексом. Мы гуляли.”

“Значит, вы занимались сексом после прогулки?”

“Он хотел, но я заснула. Я очень устала. А утром я улетела в Лондон”.

“Почему ты не поехала с ним в Мюнхен?”

“Он не хотел. Он сказал, что у него там дела”.

“Он так сказал? Глупости! Какие дела? Ты его предала!”

“Он сказал, что должен взять “Мерседес” и доставить что-то по поручению брата”.

На этот раз Хельга даже не пыталась демонстрировать свое недоверие к чудовищной болтливости Мишеля. Она распахнула дверь и властным жестом приказала Местербейну войти в комнату. Потом повернулась к Чарли — руки на бедрах, в прозрачных глазах — открытая солдатская прямота.

“Ты, как Рим, Чарли, — все дороги ведут к тебе. Ты его тайная любовь, ты ведешь его машину, ты проводишь с ним последнюю ночь. Может, ты знаешь еще, что было в этой машине?”

“Взрывчатка”.

“Не говори ерунду. Какая взрывчатка?”

“Русский пластик. Двести фунтов”.

“Это тебе сказали в полиции. Это их версия”.

“Это мне сказал Мишель”.

Хельга недобро усмехнулась: “О, Чарли! Вот теперь я тебе не верю. Ты все лжешь. — Она повернулась к вошедшему Местербейну. — Антон, полиции все известно. Наша маленькая вдовушка — их агент, я в этом уверена. Собирайся, нам тут нечего делать”.

Местербейн уставился на нее. Хельга уставилась на нее. Они нервничали. Меньше всего они были в чем-то уверены. Но Чарли это не заботило. Она продолжала тупо сидеть, равнодушная ко всему, кроме своего горя. Кроме Мишеля. “О да, он умер, мисс Чарли...”

“Как звали его брата? — вкрадчиво спросила Хельга, снова обнимая ее за плечи. — Ну, говори же. Не исключено, что мы все-таки согласимся тебе помочь. Только сначала скажи, как звали Мишеля”.

“Салим”.

“А его брата?”

“Халил. Мишель боготворил его”.

“А прозвище?”

“Это военная тайна”, — надменно сказала Чарли.

Она решила, что будет ехать, пока не свалится за рулем. Она будет ехать, пока не приедет в Ноттингам, а там она покончит с собой. Хватит, ей надоело. Она выходит из игры.

Машина шла по шоссе, и стрелка спидометра приближалась к восьмидесяти. Орхидеи Мишеля лежали на соседнем сиденье — она забрала их перед отъездом.

“Но, Чарли, это же абсолютно бессмысленно! — воскликнула Хельга. — Ты слишком сентиментальна!”

Провались ты пропадом! Это мои орхидеи.

Теперь она ехала медленней, выбирая боковые дороги и оставаясь у придорожных лавчонок, как ее учили. Было уже около двенадцати, когда она наконец убедилась, что подозрительный мотоциклист от нее отстал. Но и после этого она сделала еще несколько объездов, парочку-другую ненужных поворотов и даже посидела в церкви на окраине Фальмута, прежде чем въехать в город.

Гостиница была попросту бывшей фермой, рядом с которой соорудили плавательный бассейн и площадку для гольфа. Иосиф открыл ей дверь, но она прошла мимо него, даже не кивнув. Убийца. Обманщик. Зверь. Она ни разу еще не видела его таким сосредоточенно мрачным. Темные круги под глазами. Белая рубашка с подвернутыми рукавами. И никаких тебе итальянских туфель, никакого медальона на шее.

“Сегодня ты Иосиф, — сказала она, — Иосиф и никто другой, верно? Уже можно снять красный блейзер — ты прикончил своего двойника, поздравляю”.

Он помолчал, потом ответил с коротким невеселым смешком: “О да, отныне мы можем общаться без посредников”.

Она достала из сумки транзистор и протянула ему. Он взял со стола ее собственный и положил в ее сумку.

“По-моему, я была сегодня на уровне Сары Бернар”, — сказала Чарли, с отвращением развязывая промокший белый шарф.

“Ты была лучше, — все так же невесело пошутил он. — Марти утверждает, что это было лучшее представление со времен возвращения Моисея с горы Синай. А может, и со времен его восхождения”.

“А что считает Иосиф?”

“Это были важные шишки, Чарли. Маленькие важные шишки прямоком из самого центра. Без обмана”.

“Они мне поверили?”

Он сел рядом. Рядом, но не касаясь.

“Поскольку ты жива, приходится считать, что они тебе поверили. Пока”.

“Тогда вперед”, — сказала она и, наклонившись через него, включила магнитофон. Вперед, за дело, без всяких сантиментов, — как свыкшаяся супружеская пара. Магнитофон был из машины Литвака, и он записал каждое слово, произнесенное ею, Хельгой или Местербейном и подхваченное и переданное с помощью хитроумного устройства, вделанного в японский транзистор. Теперь им предстояло сопоставить этот текст с ее собственными наблюдениями. Просеять песок ее впечатлений в поисках золотых крупинок неопровержимых выводов.

## 18.

Молодой человек в новеньком “Ровере”, поджидавший их у дверей израильского посольства, отрекомендовался как Мидоу. “Просто Мидоу, сэр, без всяких там церемоний”. На нем было длинное коричневое пальто и очки в старушечьей оправе. Курц сел рядом с ним. Литвак уныло скрючился на заднем сиденье.

“Прилетели только что, сэр?” — поинтересовался Мидоу, хотя отлично знал, что это не так.

“Вчера вечером”, — ответил Курц, который уже неделю находился в Лондоне.

“Жаль, что не дали знать, сэр, — настаивал Мидоу. — Начальник послал бы вас встретить”.

“Ну, у нас не так уж много багажа, мистер Мидоу”, — радостно заверил Курц, и они согласно посмеялись. Литвак тоже посмеялся, хотя и без всякого воодушевления.

Они миновали Эйлсбюри, проехали боковыми дорогами и наконец остановились перед каменным забором с воротами, перегородженными белым шлагбаумом. Мидоу вышел из машины и топорливо пошел к проходной.

“Прекрасное местечко!” — сказал Курц с фальшивым восторгом.

“Великолепное, — согласился Литвак для микрофона, на случай если в машине был скрытый микрофон. — И люди приятные”.

“Прекрасные люди, — подтвердил Курц. — Профессионалы, что говорить.”.

Мидоу вернулся, шлагбаум поднялся, и они поехали по территории лагеря, то и дело натываясь на часовых.

“Сказочное место, мистер Мидоу, — вежливо сообщил Курц. — Хорошо бы и нам завести такое, только где уж нам...”

Сегодня он выбрал для себя роль робкого провинциала, взволнованного встречей с высоким колониальным начальством.

У входа в здание их ждал другой молодой человек в таком же коричневом пальто, который торопливо повел их вверх по лестнице.

“Лоусон”, — представился он, задыхаясь от спешки, словно они уже безнадежно опоздали, и решительно постучал в запертую дверь. Изнутри рывкнули: “Входите!”

“Мистер Рафаэль, сэр, — объявил Лоусон. — Из Иерусалима. Небольшая задержка в пути, я полагаю”.

Полковник Пиктон посидел, не вставая, ровно столько, чтобы это можно было счесть за нарочитое оскорбление. Потом наклонил голову, будто собираясь кого-то боднуть, и стал медленно подниматься, пока не выпрямился во весь рост.

“И добро пожаловать, мистер Рафаэль”, — зловеще сказал он, скупко отпуская Курцу улыбку, точно улыбки были теперь не в моде.

Тонкие губы рассекали его широкое лицо как шрам, а тяжелый взгляд из-под лба не предвещал ничего хорошего. За его безукоризненными манерами, явно заимствованными из книг, угадывалась вспылчивая солдатская грубость, унаследованная с рождения. Это был профессионал из того легендарного поколения профессионалов, что охотилось за коммунистами в Малайе, за Мау-Мау в Кении, за евреями в Палестине, за арабами в Адене и за ирландцами во всех прочих местах. Такие, как Пиктон, повсюду бывают вторыми и лишь очень изредка — первыми.

“Как поживает Миша Гаврон?” — хмуро спросил он, тяжело вколачивая толстым пальцем хрупкую кнопку телефона.

“Полковник, Миша поживает великолепно!” — с энтузиазмом откликнулся Курц и в свою очередь поинтересовался здоровьем английского шефа. Но Пиктон меньше всего был расположен говорить о своем шефе.

вошли двое — один в сером, другой в твидовом костюме. Серого Пиктон угрюмо представил как своего “главного инспектора”, твидовый отрекомендовался сам: “Капитан Малькольм”. Капитан Малькольм был образцовым подтянутым джентльменом с мягкой, но напористой агрессивностью. Курцу он протянул руку

еще прежде, чем тот решил, что в ней нуждается, но когда дело дошло до Литвака, Малькольм сделал вид, что не расслышал.

“Повтори еще раз, дружище”.

“Левин, — повторил Литвак, как будто делая ему одолжение. — Я, видите ли, работаю под началом мистера Рафаэля”.

“Я когда-то знал одного Рафаэля, — проворчал Пиктон, открывая одно из вытасненных Курцем досье и брезгливо разглядывая его как меню в дурном ресторане. — Мы его назначили мэром. Забыл, где это было. Случайно, не вы?”

Курц печально заверил, что ему не посчастливилось.

“Не вы, значит? — повторил Пиктон, перелистывая страницы. — Все же, знаете, никогда нельзя быть до конца уверенным”.

Даже Литвак, видевший Курца в доброй сотне ролей, дивился перемене в своем шефе. Курц льстиво хихикал, подобострастно улыбался и вообще изображал из себя недалекого простачка.

“Местербин, — прочел главный инспектор. — Так вы это произносите?”

“Местербейн, Джэк”, — поправил Малькольм.

“Отец — консервативный швейцарский джентльмен, господа, — пояснил Курц, — занят исключительно финансовыми делами и не без успеха, мать — из левых радикалов, держит салон в Париже, весьма популярна в тамошних арабских кругах. Сам мистер Местербейн — адвокат, изучал политические науки в Париже, философию в Берлине, год учился в Беркли, семестр в Риме, четыре года в Цюрихе”.

“Интеллектуал”, — отметил Пиктон, словно ставил диагноз: проказа. Курц кивком согласился с определением.

“Мистер Местербейн практикует в Женеве, в основном среди радикальных студентов, эмигрантов из Третьего мира и представитель прогрессивных организаций, нуждающихся в деньгах”.

“Что скажете, Джэк?” — спросил Пиктон.

“Никаких материалов на мистера Местербина, сэр”.

“Что это за блондинка с ним на фотографии?” — спросил Малькольм. Но у Курца был свой план разговора, и он даже ухом не повел.

“В прошлом ноябре, — монотонно бубнил он, — мистер Местербейн участвовал в конференции “Юристы за справедливость” в восточном Берлине, где основным вниманием пользовалась палестинская делегация. Я бы сказал, преувеличенным вниманием, господа, как на мой вкус. Но я понимаю, что тут я несколько... э-э... субъективен. В апреле, по приглашению этой делегации мистер



Местербейн посетил Бейрут, где навестил штаб-квартиры наиболее радикальных тамошних групп. На обратном пути он остановился в Стамбуле, где встречался с определенными подпольными активистами, в задачи которых, среди прочего, входит ликвидация сионизма”.

“Амбициозные ребята, эти турки”, — заметил Пиктон. Поскольку это была шутка начальства, все одобрительно захохотали. Кроме Литвака, который глубоко утопил лицо в ладонях, точно у него невыносимо болели зубы.

“Вы, конечно, информировали швейцарцев?” — как бы невзначай поинтересовался Пиктон.

“Полковник, мы их пока не информировали, — смущенно признался Курц. — Видите ли, многие из клиентов мистера Местербейна проживают в Федеральной республике...”

“Не улавливаю, — упрямо отрезал Пиктон. — Помнится, вы с гуннами давным-давно облобызались и зарыли томагавки в землю”.

Смущенная улыбка, казалось, навечно приросла к лицу Курца, но свет его был образцом уклончивости:

“Вы абсолютно правы, полковник, но, видите ли, в Иерусалиме считают, что было бы неуместным информировать швейцарцев, не подключая к этому Висбаден, а это могло бы вызвать осложнения”.

Пиктон поднял голову и смерил Курца долгим взглядом, будто впервые его увидел. Казалось, он вдруг распознал, с кем имеет дело, — если не самого Курца, то породу людей, к которой тот принадлежал.

“Слышали, что этот тип Алексис снова на главных ролях?” — неожиданно спросил он.

Курц слышал, разумеется. Не разрешит ли полковник продолжить?

“Постойте, — спокойно сказал Пиктон. — Этого красавца я знаю. Он взорвался на мюнхенской автостраде месяц назад. И прихватил с собой свою голландскую пышечку, не так ли?”

Сбросив на минуту маску простачка, Курц без промедления связал обе нити: “Вы совершенно правы, полковник, и по нашим данным, машина со взрывчаткой в ней была доставлена через Югославию в Австрию людьми, с которыми контактировал мистер Местербейн в Стамбуле”.

И не давая никому обдумать этот факт, он широким жестом пригласил присутствующих взглянуть на следующую фотографию. Она была снята его мюнхенской командой и изображала Януку с высо-

кой блондинкой у дверей какого-то дома. Той самой блондинкой, которая так заинтриговала капитана Малькольма.

“Где мы теперь? — спросил Пиктон. — Не похоже на Париж. Другой тип зданий”.

“Мюнхен, — сказал Курц. — А эту леди зовут Астрид Бергер”.

Пиктон снова смерил его тяжелым подозрительным взглядом. Главный инспектор, видимо, счел, что пора и ему включиться в разговор. “Бергер Астрид, она же Эдда, она же Хельга, — прочел он из досье, — родилась в Бремене в 54-м году, дочь состоятельного судовладельца... изучала политические науки и философию в университетах Бремена и Франкфурта, сотрудничает в западногерманских радикальных журналах, много раз посещала Ближний Восток...”

“Еще один интеллеktуал, — оборвал его Пиктон. — Малькольм, посмотрите в картотеке!”

Малькольм выскользнул из комнаты

Воспользовавшись молчанием, Курц перехватил инициативу:

“Взгляните на даты, полковник. Последний визит миссис Бергер в Бейрут состоялся в то же время, когда туда отправился мистер Местербейн. Затем они оба одновременно были в Стамбуле. Они прилетели туда порознь, но ночевали в одном отеле. Взгляните сюда”.

Литвак молча выложил на стол фотокопии бланков гостиничной регистрации на имя Антона Местербейна и Астрид Бергер от 18 апреля. Бланки принадлежали стамбульскому “Хилтону”.

“Никаких данных на Астрид Бергер, сэр”, — негромко доложил Малькольм, снова возникая за плечом Пиктона.

Пиктон исподлобья глянул на Курца. “Вперед, мистер Рафаэль, — хмуро предложил он. — Выкладывайте свои карты”.

Третьей картой Курца, его старшим козырем, как говорил Литвак, была фотография, в которой даже лучшие тель-авивские эксперты не сумели опознать подделку. На ней были сняты Чарли и Бекер, стоящие перед красным “Мерседесом” у своего отеля в Дельфах. Чарли была в греческом наряде и с гитарой. На Бекере был красный блейзер, шелковая рубашка и итальянские туфли от Гуччи. Кроме того на нем была голова Януки.

“Этот снимок, полковник, нам посчастливилось сделать за две недели до того взрыва в Мюнхене, во время которого, как вы справедливо заметили, два террориста взорвали себя своей же взрывчаткой. Рыжая девушка на фотографии — британская гражданка. Ее спутник называл ее “Жанна”. Она в свою очередь называла его Мишель, хотя в паспорте он назывался иначе”.

В комнате, казалось, повеяло ледяной стужей. Главный инспектор искоса посмотрел на Малькольма. Малькольм с трудом изобразил на лице улыбку, которая не имела ничего общего с его настроением. Над всем этим нависало тяжелое, монументальное молчание Пиктона, который словно отказывался согласиться с тем, что ему показывают. Ибо Курц, упомянув о британской гражданке, вступил на пиктоновскую территорию, а люди, ступившие на эту территорию, рисковали многим.

“Вам, значит, повезло? — процедил он, не отрывая взгляда от фотографии. — Такой случайный знакомый с камерой наготове, не так ли? Случайный знакомый делает парочку снимков и на всякий случай посылает их в Иерусалим. Он, видите ли, распознал террориста и подумал, что стоит сделать парочку снимков. Исключительное стечение счастливых случайностей, будь я проклят!”

Улыбка расплзлась по лицу Курца, и к своему изумлению он вдруг увидел на лице Пиктона слабое подобие ответной понимающей улыбки. Но Пиктон тут же снова нахмурился:

“Знаем мы этих случайных знакомых, — буркнул он. — У вашего брата повсюду знакомые, я припоминаю. В высших сферах, и в низших, и...”

На секунду казалось, что верх в нем возьмут давние палестинские воспоминания, но он сдержался и только покачал головой. Курц так и лучился дружелюбием, а Литвак еще глубже втиснул лицо в ладони.

Главный инспектор откашлялся: “Но, сэр, даже если она британская гражданка, это еще ничего не значит. Закон не запрещает англичанкам спать с палестинцами...”

“Не беспокойтесь, у него припрятано еще кое-что, — угрюмо сказал Пиктон. — У него еще многое припрятано”.

Нисколько не обескураженный, Курц позволил себе обратить их внимание на машину. Он, конечно, не эксперт, но знающие люди заверили его, что она точь-в-точь соответствует описанию той, что случайно взорвалась на мюнхенской автостраде — во всяком случае, ее чудом уцелевшей передней части. Кроме того он хотел бы сообщить, что ему удалось выяснить относительно рыжей англичанки — возможно, это заинтересует его любезных хозяев. И он тяжело положил на стол обе руки, как будто показывая, что не прачет от них ничего.

“По нашим данным, — наклонившись над столом и подчеркивая каждое слово, произнес он, — этот “Мерседес” был доставлен из

Греции через Югославию девушкой с британским паспортом. Ее любовник вылетел вперед, в Зальцбург, где снял номер в гостинице "Остеррайхишер Хоф" на имя мосье и мадам Лассер из Франции, хотя присоединившаяся к нему в Зальцбурге девушка говорила только по-английски. Служащие запомнили ее из-за рыжих волос, отсутствия обручального кольца, наличия гитары, а также по той причине, что, покинув гостиницу вместе с мужем, она позже вернулась туда одна и заказала такси в аэропорт. В тот день из Зальцбурга отправлялись три рейса, в том числе один на Лондон. Регистратор этого рейса отчетливо запомнил рыжую девушку, которая предъявила неиспользованный чартерный билет Лондон—Салоники—Лондон. По этому билету нельзя было лететь из Зальцбурга, поэтому ей пришлось купить полный билет в Лондон, за который она уплатила американскими долларами, причем большую часть — двадцатидолларовыми купюрами".

"Избавьте меня от ваших проклятых подробностей! — прорычал Пиктон. — Как ее зовут?"

Но Литвак уже выкладывал на стол фотокопии списка пассажиров.

"К нашему смущению, полковник, в списке не было пассажирки с именем Жанна, — признался Курц. — Самое близкое, что мы смогли обнаружить, это Чармиан. Стюардесса подтвердила, что дама с этим именем имела при себе гитару. По счастливому совпадению стюардесса оказалась большой поклонницей гитарной музыки, поэтому она хорошо запомнила данный факт".

"Еще один случайный знакомый", — буркнул Пиктон и с удивлением посмотрел на неожиданно закашлявшегося Литвака.

Курц между тем уже доставал следующую пачку фотографий. Они изображали Местербейна и Хельгу в аэропорту; Местербейна и Хельгу в зале ожидания; у киоска с орхидеями; Местербейна и Хельгу на трапе самолета.

"Аэропорт де-Голль, Париж, тридцать шесть часов тому назад, — лаконично пояснил он. — Бергер и Местербейн направляются в Экзетер через аэропорт Гатвик, где они заказали машину в компании "Герц". Они вернулись в Париж тем же маршрутом, в том же составе, но минус орхидеи. Бергер летела под именем Марии Бринкхаузен, с восточногерманским паспортом, одним из фальшивой серии, предназначенной для палестинцев".

"Жаль, что вы не сфотографировали их в Гатвике", — зловеще сказал Пиктон.

"Полковник, как вы могли подумать!" — зарделся Курц.

"Как я мог? — с тяжеловесной иронией переспросил Пиктон.

“Но наши шефы договорились, сэр! — набожно воскликнул Курц. — Не охотиться на территории друг друга, сэр. Письменное обязательство”.

“Ах, письменное!” — протянул Пиктон.

Малькольм уже исчез за дверью, не ожидая приказа. Главный инспектор все еще осмысливал информацию. “Но я полагаю, сэр, — промямлил он, — эта девушка никак не может быть из Экзетера, если ее зовут Чармиан. Роз — еще куда ни шло. Но Чармиан, сэр?”

На этот раз Малькольм вернулся с кипой бумаг. Вылазки Чарли в круги воинственных радикалов не прошли бесследно.

“Ну, если это не она, — удовлетворенно сказал Малькольм, сваливая бумаги на стол, — то другой такой нет”.

“Ланч!” — рявкнул Пиктон, напоследок еще раз подарив Курцу недобрый и долгий взгляд, и не оборачиваясь, вышел из комнаты.

Парк был пуст, как школьный двор в дни каникул. Пиктон шагал впереди с уверенностью не очень радушного хозяина, Курц жизнерадостно следовал за ним, а за Курцем в некотором отдалении следовал Литвак с двумя портфелями в руках и в сопровождении эльзасской суки полковника.

“Любит слушать, ваш мистер Левин! — взорвался вдруг Пиктон. — Умеет слушать и все запоминает, не так ли?”

“Ближайший сотрудник, полковник”, — не стал отпираться Курц.

“Оно и видно, — пробурчал Пиктон. — Шеф сказал “наедине”, если не возражаете”.

Курц обернулся и коротко сказал Литваку что-то на иврите.

Странно — стоило им остаться наедине, как между ними сразу же возникло что-то вроде молчаливого взаимопонимания, в котором они, однако, ни за что не согласились бы признаться.

“Ценю ваши усилия, — сказал Пиктон вызывающе. — Лететь в такую даль, чтобы сообщить нам об этом. Мой шеф намерен помочь Гаврону, как я понимаю. Старая лиса”.

“Миша будет рад”, — заверил Курц, не уточняя, к кому относится не очень лестное определение”.

“Операция ваша, разумеется, — помолчав, добавил Пиктон. — Ваши источники, ваши люди. Мой шеф решительно настаивает на этом. Наше дело — молчать в тряпочку и делать, что велют”, — закончил он раздраженно.

“Сотрудничество — великое дело”, — возразил Курц, и ему опять показалось, что Пиктон вот-вот взорвется. Но тот лишь втянул шею в воротник и еще больше набычился.

“Думаю, вы будете поражены, узнав, что все ваши данные подтвердились, — сказал он с тяжеловесным сарказмом. — Бергер и Местербейн совершили прогулку протяженностью четыреста двадцать миль. Не знаю, где они побывали, но не сомневаюсь, что в нужное время вы нас об этом тоже информируете. — Он замолчал, ожидая возражений, но Курц был воплощенное внимание. — Что касается вашей девушки, то вы, очевидно, будете не менее поражены, узнав, что она находится в настоящий момент в турне в Корнуэлле с труппой, которая называется “Еретики”, о чем вы, как я полагаю, тоже не знали, не так ли? Служащий в ее отеле утверждает, что человек, по описанию похожий на Местербейна, увез ее после спектакля и что она вернулась только под утро. Она быстро меняет постели, эта ваша знакомая. — Он снова сделал паузу, которую Курц предпочел игнорировать. — Мой шеф обещает вам всяческую поддержку. Он выражает вам благодарность. Он тронут, мой шеф. У него слабость к вашему брату, к вашей молодой стране, он сам молод и не разделяет гнусных подозрений, которые иногда приходят в мою простую солдатскую голову. — И помолчав, продолжил без всякого выражения. — Я слышал, вы опять бомбили эти палестинские лагеря? Мишина идея, конечно? Миша всегда предпочитал действовать дубиной, а не шпагой. Он из Эцеля, не так ли?”.

“Из Хаганы”, — уточнил Курц.

“А вы откуда?”

“К счастью или нет, полковник, но мы, Рафаэли, слишком поздно прибыли в страну, чтобы воевать против англичан”.

“Не валяйте дурака, — сказал Пиктон. — Знаю я, откуда Миша набирает своих людей. Я знаю Мишу”.

“Он так мне и говорил, полковник”, — подтвердил Курц.

“Ладно, выкладывайте, что вам от нас нужно, — нехотя проговорил Пиктон. — Только не уверяйте меня, будто вы привезли мне любовное письмо от Миши Гаврона, я вам все равно не поверю. Я вообще не очень доверяю вашему брату”.

Курц продемонстрировал восхищение английским юмором полковника.

“Полковник, Миша думает, что арест в данном случае только повредит. Учитывая полное отсутствие доказательств. Кроме того, в ее нынешнем положении она может быть нам полезна. В конечном счете, что она может знать? Не правда ли? Взять, например, ту же мисс Ларсен”.

“Какая еще Ларсен?” — удивился Пиктон.

“Та голландка, которая стала жертвой несчастного случая на автостраде, — терпеливо пояснил Курц. — Она тоже перевозила машины и выполняла другие поручения своих палестинских друзей. Более того, она даже подкладывала для них бомбы. Нам представлялось, что она может дать ценную информацию, но на деле, полковник, она оказалась просто искательницей приключений. Она ничего не знала. Ни адресов, ни имен, ни планов”.

“Откуда вам это известно?” — подозрительно спросил Пиктон.

“Мы немножко побеседовали с ней. Давно. Такой, знаете, не-большой разговор перед тем, как пустить ее обратно в воду. Не мне вам рассказывать”.

“Давно — это значит за пять минут до того, как вы ее взорвали”, — предположил Пиктон, сверля Курца своими желтыми глазами.

“Если бы это было так легко, полковник!” — невозмутимо ответил Курц.

“Я спросил, чего вы хотите, мистер Рафаэль!” — снова повторил Пиктон, отводя взгляд.

“Мы хотели бы спугнуть эту Чармиан, полковник. Может быть, она обратится за помощью к своим людям. Разумеется, мы поделимся с вами всей информацией, которую получим от нее”.

“Она уже обратилась к ним, — возразил Пиктон. — Они встретились с ней в Корнуэлле и привезли ей этот проклятый букет, не так ли?”

“Полковник, наш анализ показывает, что это была пробная встреча. Мы опасаемся, что она может остаться без последствий”.

“Откуда вы все это знаете? — Голос Пиктона приобрел угрожающие нотки. — Я вам скажу, откуда, мистер Рафаэль! Это ваша девушка. Знаю я вас, знаю я вашего карлика Мишу и теперь начинаю узнавать вас самого. Я готов поделиться с вами этими знаниями”.

“Буду признателен, полковник”, — приветливо ободрил его Курц.

“Благодарю. Этот трюк давно известен. Обычно в нем используют дохлое мясо. Находят подходящий труп, наряжают его и оставляют в таком месте, где на него обязательно наткнется противная сторона. “Ого, — скажет она, — что я вижу? Труп с портфелем в руках? А что у него там в портфеле, дай-ка я погляжу. Ух ты, небольшое секретное послание. Это наверно курьер. Поверю-ка я тому, что здесь написано, и попадусь в ловушку”. И попадается. — Сарказм Пиктона бурлил нескрываемым раздражением. — Но для

вашего Миши это слишком просто. Он ведь у нас интеллектуал. Ему подавай живое мясо. Арабское. Голландское. В шикарном новеньком "Мерседесе". На мюнхенской автостраде. С готовой дезинформацией, уже рассованной по всем нужным местам. Не знаю, куда вы ее рассовали, но уж рассовали ее всенепреренно. И теперь они клюнули на вашего живца. Иначе они никогда не привезли бы ей эти идиотские цветы".

Курц развел руками, словно дивясь необузданности его фантазий и отдавая должное их оригинальности. Пиктон тяжело положил ему руку на плечо:

"Скажите своему проклятому Мише, что если он завербовал британскую гражданку без нашего ведома, то я самолично явлюсь в вашу недоделанную страну и вырву ему яйца, понятно?!"

И так же внезапно, как он разъярился, Пиктон вдруг успокоился, и на лице его появилось почти мечтательное выражение:

"Как это он говорил, старый черт? Что-то там про тигра?"

Ощерившись пиратской ухмылкой, Курц напомнил:

"Если хочешь поймать льва, поймай сначала козу".

Мгновенная близость исчезла так же неуловимо, как возникла. Пиктон снова стал сухо формален:

"Мой привет вашему шефу, мистер Рафаэль, мы очень полезно с вами побеседовали. А сейчас извините, я вынужден вас покинуть. Дела".

И он круто повернул назад по дорожке.

На обратном пути в Лондон Курц усадил Литвака рядом с Мидоу, который, пользуясь случаем, все порывался обсудить с ними палестинскую проблему: как же все-таки быть, сэр? не будет ли это несправедливо по отношению к арабам, сэр? Отключившись от этой бесплодной болтовни, Курц позволил себе отдалиться воспоминаниям, которые он весь день гнал от себя.

Он видел перед собой эту старую иерусалимскую тюрьму, недалеко от Русского подворья, поржавевшие старые ворота с табличкой "Вход в музей" и другой, поменьше: "Зал героизма". Вход стоил несколько шекелей, а у ворот стоял старик, который кланялся входящим и стряхивал пыль со своей черной шляпы. В этой тюрьме англичане вешали евреев в мандатные времена — всего дюжину, верно, но двое из повешенных были ближайшими друзьями Курца по Хагане. Курц вполне мог разделить их участь. Англичане ловили его дважды и допрашивали четыре раза, и его застарелые проблемы с зубами, по утверждению дантиста, были связаны с



не совсем вежливым обращением приятного молодого человека из британской службы безопасности, ныне уже покойного. Манерами он немного напоминал Курцу Пиктона.

Приятный все же человек, этот Пиктон, подумал Курц. Слегка грубоватый, конечно; и на руку, видимо, тяжел; и печально, что он так увлекается алкоголем, совершенно не бережет себя человек. Но в общем вполне порядочный. Как большинство людей. И отличный профессионал к тому же. Прекрасный аналитический мозг у этого солдафона. Миша Гаврон всегда говорил, что он многому у него научился.

## 19

В Лондоне ее снова ожидало ожидание. Только на сей раз иного рода. Теперь ты как солдат, потерявший командира, — вживалась она в свою новую роль, — ты как революционер, отторгнутый от революции. Ты потрясена, ты скорбишь и тебе даже не с кем поделиться. Поделиться ей действительно было не с кем — даже Кэти покинула ее. “Придется обходиться без нянечки, — непреклонно заявил Иосиф. — Мы не можем позволить тебе каждый вечер таскаться к телефону”. Он и свои встречи с ней свел до голодного пайка — только по делу, сухо и коротко, сплошные инструкции на случай всякого случая.

“Но чего же мне ждать теперь?” — допытывалась она.

“Жди, — говорил он. — Сейчас они наблюдают за тобой. Они проверяют. Они взвешивают. Они обдумывают”.

Временами на нее накатывала такая злоба, что ей хотелось снова дать ему пощечину. Он успокаивал ее как старый терпеливый семейный доктор: “Но это же абсолютно естественно, Чарли. Ты меня ненавидишь. Я убил Мишеля и при случае мог бы прикончить тебя. Ты не можешь мне доверять, с чего бы?!”

Затем настал день, когда он объявил, что они теперь вообще не будут встречаться, разве что в случае крайней необходимости. Он явно что-то знал, но упорно увиливал от всех ее расспросов. Ты должна вести себя совершенно естественно, Чарли, лишние знания тебе только мешают. И не беспокойся, я буду рядом. Не с тобой, но рядом. И помни — ты обещала.

Я помню, черт бы тебя побрал, Жозе, я помню. Только объясни, что мне делать в одиночестве, в которое ты меня заслал?

Ее единственным собеседником теперь остался мертвый Мишель. Она делила с ним свою квартиру, как делят камеру-одиночку

ку с узником, который жил в ней раньше. По ночам, балдея от бессонницы, она заставляла себя переписывать из его писем в тетрадку длинные, цветистые фразы о революции и Палестине. Мой Мишель, бормотала она, старательно высунув язык, как прилежная ученица, мой Мишель, я напишу о тебе воспоминания, в которых ты будешь выглядеть как арабский Че Гевара. Я назову их "Письма замученного палестинца" и издам за счет революции. На дешевой бумаге и с кучей опечаток. Ведь революционеры не обязаны быть грамотными, не так ли, Мишель?

Последние дни она почти не выходила из дому, разве что изредка звонила Неду Квили, требуя, чтобы он нашел ей работу. "Ради Бога, Нед, мне нужна роль!" На самом деле роль у нее уже была, и не на сцене, а в жизни, и эту роль она твердо решила доиграть до конца, хотя страх не отпускал ее ни на минуту.

И тут, словно писк чаек перед надвигающимся штормом, начали раздаваться тревожные предвестья.

Первое пришло от Неда Квили в виде необычно раннего телефонного звонка. Видно, Марджори велела ему позвонить сразу же, как придет в контору, пока в нем еще не остыло согретое ею мужество отчаяния. Нет, у него нет никаких новостей, просто он хотел бы отменить встречу, которую они назначили на сегодня, он подумал, что сейчас не самое подходящее время для встреч и все такое прочее.

"Нед, что случилось? — изумилась она. — Какое время?"

От неловкости он стал надуваться и пыхтеть:

"Чарли, я не знаю, во что ты там впуталась, но если даже половина того, что рассказывают, правда, то тебе самое время хорошенько подумать! — Все-таки он не мог решиться резануть по живому и наскоро скомкал. — В общем, давай отложим до лучших времен..."

Она тут же перезвонила миссис Эллис:

"Что с Недом? Чего он на меня набросился?"

"О, Чарли, и ты еще спрашиваешь?! — испуганным шепотом произнесла миссис Эллис. — Полиция все утро допрашивала нас о тебе, целых три полицейских, и они строго-настрого запретили нам тебе об этом говорить!"

"Пошли они!" — храбро сказала Чарли и бросила трубку.

Но после визита к парикмахерше ее храбрости поубавилось.

"Опять ты крутишь с женатым мужиком, милочка! — упрекнула ее Биби, втирая ей в волосы шампунь. — Ты плохая девочка!"

"Три фараона, — шепнула она. — Вчера". И когда Чарли выходи-

ла, бросила ей вдогонку: “Ты не приходи пока, ладно? Я не люблю полицию”.

Я тоже, Биби, клянусь, я тоже. “Если власти узнают о тебе, противник зашевелится”, — предупреждал Иосиф. Но он не предупреждал, что это будет так скоро. И так страшно.

Следующим был веселый мужичок в длинном кожаном пальто и квадратных очках, который улыбнулся ей, когда она пробиравалась к своему месту в кино, куда нырнула в надежде отдышаться и собраться с мыслями. По дурусти она решила, что где-то с ним виделась и ответила улыбкой.

“Хэлло, как поживаешь? — шепнул он, устраиваясь рядом. — Чармиан, верно? Помнишь, как мы с тобой выдали в прошлом году? Угощайся”, — и подсунул ей кулек с попкорном.

Даже в полумраке все в нем не сходилось: развязная улыбка не соответствовала обтянутому кожей черепу, квадратные очки — крысиным глазкам, попкорн — лакированным туфлям и кожаное пальто — погоде. Он свалился с луны с единственной целью оказаться с ней по соседству.

“Мне позвать служителя или сам отстанешь?” — негромко спросила она.

Он еще что-то бормотал, но она уже пробиравалась к выходу, переступая через чьи-то ноги.

Ей потребовалось немалое мужество, чтобы вернуться домой, да и то она всю дорогу в автобусе молила Бога, чтобы ее сбила машина или свалил еще один обморок. Ресторанчик был полон, как обычно в эти вечерние часы. У себя в комнате она первым делом бросилась искать паспорт и письмо Мишеля. Все было на месте. “Твой паспорт теперь опасен, — предостерегал ее Иосиф. — Храни его как зеницу ока”.

“Синди”, — подумала она. Синди убирала в ресторанчике и временами одалживала у Чарли ее гитару, чтобы скоротать вечера. “Синди, — торопясь и перечеркивая слова, нацарапала она. — Это тебе подарок ко дню рождения, играй, сколько сил хватит, только не бросай — у тебя есть способности. Тут еще мой музыкальный ящичек, но я, идиотка, забыла ключ у матери, передам в следующий раз, целую, Чарли”.

Паспорт и письма она положила в ящичек под кипу нот, закрыла его и снесла вместе с гитарой вниз, в ресторанчик. “Это для Синди”, — сказала она хозяйке, и та понимающе хихикнула, пряча подарок под прилавок.

Она вернулась к себе, задернула занавес и стала переодеваться. Сегодня был черед ее учеников из Пекэма, и никакие фараоны и все

мертвые возлюбленные вместе не отговорят ее от репетиции. Она вернулась к одиннадцати — тротуар перед домом был пуст, Синди забрала свой подарок. Повинуясь внезапному импульсу, она позвонила Алу. Долгие скучные гудки. Этот тип снова трахается где-нибудь на стороне. Она сделала еще пару звонков, на всякий случай, стараясь не задумываться, почему гудки в телефоне звучат как-то странно. Впрочем, может, это у нее в ушах. Перед тем, как лечь, она осторожно выглянула в окно. Два ангела-хранителя маячили на тротуаре перед ресторанчиком.

Разбудил ее звонок Ала. Он захлебывался в пьяной истерике:

“Приходи немедленно, сука! Не трепись, а приходи немедленно, слышишь? Убью!”

Она уже знала, что случилось. Она знала, что в ее жизни не осталось теперь ни одного уголка, где бы ни притаилась опасность.

Ал ждал ее у Вилли, и не один, а в окружении всей своры своих поклонников, которых, видимо, пригласил для моральной поддержки. И как всегда, не давал никому раскрыть рта.

“Можешь говорить, что хочешь, — завопил он, едва она вошла, — но это война! Фараоны объявили нам войну, да-да-да, тотальную войну, я тебе говорю!”

Ей пришлось заорать, чтобы он заткнулся и объяснил, что случилось.

“Случилось? Контрреволюция выдала первый залп, вот что случилось, и мишенью был твой покорный слуга!”

“Ты можешь объяснить толком?” — поинтересовалась Чарли, но Ал был невменяем, и ей стоило больших трудов выдавить из него что-нибудь вразумительное. Трое фараонов навалились на него, когда он выходил из паба. Трое! Гориллы! Он, конечно, уложил бы одного, даже двух, но с тремя не справился бы и сам Джо Луис, к тому же они навалились на него неожиданно. Но он сопротивлялся героически, о да, будьте уверены, им пришлось повозиться, пока они засунули его в машину, он им чуть яйца не повырывал.

“И о ком они хотели узнать, как ты думаешь? — завопил он, тыча в нее грязным пальцем. — О ком, если не о тебе! О тебе, и обо мне, и о твоих вонючих палестинцах. Нет ли у тебя знакомых палестинцев. А если я не скажу, они вырвут у меня ногти и запрячут на десять лет в Синг-Синг как анархиста! Я тебе говорю — они объявили нам войну, и мы сегодня на передовой!”

Они его избивали — посмотри, как распухло ухо, посмотри на этот шрам на руке, они продержали его сутки в своей клетке, они допрашивали его шесть часов подряд, но он держался как лев, о да,

и он дал им понять, с кем они имеют дело, и они в конце концов отпустили его.

Подходя к дому, она уже издали увидела полицейскую машину на углу и сержанта, стоящего в дверях рестораника, рядом с встревоженной хозяйкой.

“Вот оно, — подумала она спокойно. — Давно пора. Они решили играть в открытую”.

В глазах у сержанта так и читалось, что он ненавидит свою работу, полицию, весь мир, а особенно индийские рестораники и красивых женщин. “Закрыто! — рявкнул он навстречу Чарли. — Поищи другое место!”

“Кто-нибудь умер?” — поинтересовалась она.

“Ограбление со взломом! А теперь валяй отсюда!”

Она нырнула в дверь и с треском захлопнула ее за собой — он даже не успел среагировать. Рестораник был пуст. Она взлетела по лестнице и остановилась перед своей дверью. Из квартиры доносились мужские голоса. Внизу что-то орал сержант. “Ключ”, — подумала она, открыла сумочку, увидела белый шарф и набросила его на голову. Смена грима между сценами. Потом позвонила — два быстрых, уверенных звонка — и крикнула в щель почтового ящика: “Час, открой, это я, Сэнди!”

Голоса замерли, она услышала шаги и шепот: “Быстрее!” Дверь распахнулась, она увидела невысокого, седого человека, а за ним, в глубине — перевернутую вверх дном квартиру: выдвинутые ящики письменного стола, сорванные со стен плакаты, валяющиеся на полу письма матери и стоящую над ними, направленную на них фотокамеру. Она увидела второго мужчину в старушечьих очках, копошащегося в ворохе ее белья, и поняла, что сержант ее не обманул — ограбление со взломом было налицо.

“Я ищу свою сестру, Чармиан, — сказала она. — Кто вы такие?”

“Ее здесь нет, — ответил седой с явственным ирландским акцентом и закричал, — сержант, уберите эту даму отсюда и допросите!”

Дверь захлопнулась, оставив ее на площадке, куда все еще доносились снизу возмущенные крики сержанта. Она на цыпочках прошла через дворик, выскользнула через калитку, пробежала переулком и вышла на улицу, где жила миссис Даббер. Никто не гнался за ней, никакая машина с визгом не тормозила за ее спиной, она благополучно вышла на главную улицу, задумчиво натянула на руку кожаную перчатку, как было условлено для такого случая с Иосифом, и помахала проезжавшему такси. “Фиг вам!” — злобно подумала она о полицейских. Лишь много, много позже она сообразила, что ушла от них как-то подозрительно легко.

Расплатившись с такси, она пересела на автобус, потом немного прошла пешком и спустилась в метро. Она действовала как автомат. Главное — это естественность, учил Иосиф, один неверный шаг, и ты сорвешь весь спектакль. Он был прав.

Я скрываюсь от полицейских, уговаривала она себя. — Они гонятся за мной. Хельга, что мне делать?

Чарли, ты не должна звонить по этому номеру ни в коем случае. Только в самых крайних обстоятельствах, понимаешь? Иначе мы очень рассердимся.

Я понимаю, Хельга.

Это очень опасно. Фараоны мигом тебя засекут, Чарли. И не звони дважды с одного и того же телефона, слышишь?

Я слышу, Хельга.

Она вышла на улицу и увидела человека, пристально изучавшего темную, неосвещенную витрину, и другого, на углу, возле припаркованной машины с поднятой антенной. Теперь ее охватил настоящий страх. Хельга, спаси меня, вытащи меня отсюда, Хельга! Она села в подошедший автобус, проехала пару остановок, вышла, села в другой, снова вышла, улица была пуста, она остановила такси и велела водителю ехать в Пекэм.

Зал, где она репетировала со своими учениками, находился на задах какой-то церквушки, в приземистом, амбарного вида помещении, в глубине темной аллеи. Сторож бывал здесь только три раза в неделю. Вот и сейчас окна зала были не освещены, но она на всякий случай позвонила. Никто не ответил, и она с облегчением открыла дверь своим ключом, закрыла ее за собой и зажгла спичку. Лестница с железным поручнем вела на крохотную галерею под крышей, где стоял старый, продавленный диван и шаткий пластмассовый столик с телефоном на нем и автомобильной лампой, которую кто-то из учеников принес со свалки. Она села на диван и вслепую стала набирать номер. Целых пятнадцать цифр, и в первый раз, когда она его набрала, трубка только завывала ей в ответ. На второй раз она ошиблась одной цифрой, и на нее заорала какая-то итальянка, а на третий у нее соскользнул палец с диска. Только на четвертой попытке она услышала в трубке задумчивое молчание, за которым последовали веселые попискивания континентального сигнала. И затем, вечность спустя, — резкий голос Хельги.

“Это Жанна, — тихо сказала Чарли. — Помнишь?”

Снова задумчивое, печальное молчание.

“Где ты, Жанна?”

“Не твое дело...”

“У тебя неприятности, Жанна?”

“Нет, мне, видишь ли, просто захотелось поблагодарить тебя за то, что ты наслала на меня фараонов”.

И тут она ощутила, что на нее снова снисходит тот великолепный, слепой, яростный гнев, который в последний раз овладел ею, когда Иосиф показал ей ее маленького возлюбленного перед тем, как посадить его на крючок.

.....

“Где ты?” — снова спросила Хельга, когда она обессиленно замолчала, выкричав в трубку все известные ей ругательства и проклятия.

“Ладно, оставь”, — устало сказала Чарли.

“Где ты будешь ближайšie сорок восемь часов?”

“Оставь”.

“Позвони мне еще раз”.

“Я не могу”.

Снова бесконечное молчание. “Где письма?”

“В безопасности”.

Еще одна долгая пауза. “Возьми карандаш и бумагу”.

“Я обойдусь”.

“Возьми карандаш и бумагу. Ты возбуждена и можешь перепутать. Пиши”.

Никакого адреса, никакого телефонного номера, только название улицы, точное время и указания, каким путем идти. “Не перепутай. Если не сможешь прийти, позвони по номеру, что на карточке Антона, и попроси Петру. Захвати письма. Слышишь меня? Петра и письма. Если ты не принесешь писем, мы очень рассердимся”.

Чарли осторожно положила трубку, как будто она весила тонну. И в наступившей тишине услышала снизу, из темноты, чьи-то негромкие одобрителные аплодисменты. Она перегнулась через балкон и увидела Иосифа, одиноко сидевшего в центре пустого зала.

Он принес с собой еду и бутылку вина, термос кофе и пару одеял из комнатки сторожа. Он аккуратно расставил все это на шатком столике, уверенно, как будто бывал здесь не раз, достал из-под отлива тарелки, наощупь включил кипятыльник в розетку и спустился вниз наложить цепочку на дверь. Он двигался неторопливо и спокойно, и она вдруг поняла, что сейчас он действует не по сценарию. И цепочку он наложил, чтобы отгородиться с ней от всего остального мира. Тусклый свет электрической печки лежал на его лице, и ей вдруг вспомнилось, как он объяснил ей в Греции, что подсветка памятников — это варварство, они должны быть освещены солнцем, а не прожекторами. Он накинул на нее одеяло и обнял одной

рукой. Она уместилась в этом спасительном объятии целиком, всем своим худеньким телом, дрожавшим от пережитого страха.

“Я похудела”, — пристыженно шепнула она. Он молча прижал ее к себе, словно впитывая в себя ее дрожь, она провела рукой по его небритому лицу и обрадовалась, что он небрит, потому что сегодня ей не хотелось, чтобы он рассчитывал что-нибудь наперед. И хотя это не была их первая ночь вместе, ей вдруг показалось, что все, что было прежде, эти бесконечные мотели в Англии, в Греции, в Зальцбурге и Бог знает где еще, весь их спектакль вдвоем был не более, чем прелюдией к тому, что должно было наступить сегодня.

Он обнял ее второй рукой и поцеловал, и она пошла навстречу его рукам, навстречу его мудрым и всезнающим пальцам. Эти пальцы гладили ее лицо, ее шею, ее груди, и она застывала под ними в обессиливающем сознании: сейчас он целует меня, сейчас он меня раздевает, он лежит в моих руках, мы раздеты; мы снова на пляже, мы два оскверненных храма, освещенные снизу обжигающим солнцем. Он улыбнулся и, приподнявшись, отодвинул плитку. Его тело в ее свете было прекрасно, его обожженное войной тело было прекрасно там, где его обжигал электрический свет. Он снова прижался к ней и начал сначала, как если бы она забыла, лаская и глядя ее тело, но вновь и вновь возвращаясь к ее лицу, потому что им нужно было увериться, что они это они, что это не сценарий, а жизнь. Она признала его задолго до того, как он взял ее на сбившихся одеялах, признала этого своего несравненного любовника, свою далекую звезду, сияющую над всей ее вонючей страной. Даже вслепую она признала бы его тело, и умирая она узнала бы его по печальной торжествующей улыбке, в которой растворялись ее недоверие и страх.

Когда она проснулась, он сидел рядом, глядя на нее. Все вещи были уже аккуратно упакованы.

“Это будет мальчик”, — сказал он, улыбнувшись.

“Двойня, — улыбнулась она в ответ и притянула его голову к своей груди. — Молчи, не надо. Я не хочу никаких объяснений, извинений, обманов. Если это часть спектакля, не говори мне об этом. Который час?”

“Полночь”.

“Самое время в постель”.

“Марти хочет поговорить с тобой”, — сказал он.

Но что-то в его голосе говорило, что Марти был тут ни при чем. Это все был он, Иосиф.



Это была его берлога — она поняла это сразу, как только вошла. Маленькая прямоугольная комната с буфетом вдоль одной стены и двумя телефонами на нем. На другой стене висела карта Лондона, еще одну стену занимала узкая кровать, а у четвертой стоял стол со старинной лампой на нем. Марти не встал ей навстречу, только повернул свою тяжелую голову, приветствовал ее самой теплой и дружелюбной из набора своих улыбок и раскрыл отцовские объятия. Блудная дочь вернулась в отеческие пенаты. Она села напротив них — Марти на кровати, Иосиф на полу, по-арабски поджав под себя ноги.

“Хочешь послушать себя? — Марти показал на магнитофон. Она затрясла головой. — Ты была сногшибательна, Чарли. Первый класс”.

“Он тебе льстит”, — хмуро предупредил Иосиф, не принимая игру шефа.

“Чарли, ты можешь выйти из игры, если хочешь, — недовольно глянув на Иосифа, сказал Курц. — Иосиф настаивает, чтобы я сказал тебе об этом внятно и недвусмысленно. Да, Иосиф? Она может выйти из игры с большим почетом и с кучей денег. Все, как мы обещали”.

“Я ей уже говорил”, — пробормотал Иосиф.

Улыбка Курца стала еще дружелюбней, потому что теперь она маскировала его раздражение. “Разумеется, ты ей уже сказал, мой Иосиф, а теперь это говорю я. Чарли, ты расшевелила большое осиное гнездо, которое мы давно разыскивали. Теперь мы знаем имена, связи и еще многое, многое другое. Ты можешь считать себя свободной. Небольшой карантинчик, парочку месяцев, возьми с собой дружка, отдохни где-нибудь. Если будут проблемы, скажи нам, мы их устраним”.

“Он тебя не обманывает, — так же хмуро объяснил Иосиф. — И не торопись сказать, что ты не хочешь. Подумай”.

Теперь уже раздражение было не только в улыбке Марти, но и в его голосе. “Разумеется, я не обманываю. Меньше всего я расположен сейчас шутить”, — сказал он, пытаюсь обратить все это в шутку. И властным жестом прервал Иосифа, который начал было что-то говорить. — Чарли, с этого момента обстановка несколько меняется, я бы сказал. Во всяком случае, так нам кажется”.

“Он хочет сказать, — перевел Иосиф, — что до сих пор ты была на нашей территории. Мы были рядом с тобой, мы могли помочь, если возникала нужда. Но теперь все иначе. Тебе придется стать одной из них. Недели, может быть месяцы тебе придется быть вдали от нас...”

“Это не значит, что мы оставим тебя в беде, — торопливо вмешался Марти, все так же широко улыбаясь и не глядя на Иосифа. — Ты можешь на нас рассчитывать”.

“Хорошо, я могу на вас рассчитывать, — сказала Чарли, — а на что рассчитываете вы? Что вам нужно?”

“Чарли, мы уже получили от тебя все, что нам нужно”, — галантно ответил Марти. Чересчур галантно, чтобы скрыть свою заинтересованность.

“Нам нужен человек”, — отрывисто сказал Иосиф, и Марти медленно повернулся к нему. Но в лице Иосифа была последняя прямота и предельная откровенность.

“Да, нам нужен человек, — снова поворачиваясь к ней, согласился Марти. — Если ты хочешь идти до конца, тебе нужно это знать”.

“Халил?” — спросила она.

“Ты права, Халил, — подтвердил Марти. — Халил возглавляет всю их европейскую сеть. Нам нужен Халил”.

“Он опасен”, — предупредил Иосиф.

“Он никому не доверяет, — в тон ему подхватил Марти. — Не ночует два раза в одном месте. Отрезал себя от людей. Свел свои нужды к минимуму, не нуждается ни в ком. Первокласный профессионал”.

Его улыбка была само добродушие, но Чарли знала, что он всерьез рассержен.

Она ощущала какое-то странное, необычайное спокойствие внутри. Иосиф спал с ней, чтобы ее удержать, а не подтолкнуть. Он мучился ее страхом и терзался ее сомнениями. Но с той же ясностью она понимала, что остановиться сейчас означало остановиться навсегда: отсроченная любовь не возрождается, она вырождается. Она становится тем болотом, в котором она жила с прежними своими любовниками, до того, как в ее жизни появился Иосиф. Чем больше он хотел ее остановить, тем больше она хотела идти дальше. Они были соратниками. Они были любовниками. Их обвенчала одна судьба.

“Как я опознаю его?” — спросила она, глядя на Курца. Он ответил с коротким невеселым смешком:

“Увы, Чарли, Халил не удосужился нам позировать”.

И не обращая внимания на Иосифа, который сгорбился у темного окна, полез в свой вытертый черный портфель и достал оттуда что-то, напоминавшее толстую, дешевую авторучку, срезанную на одном конце. Из другого, словно усики лобстера, торчали два тонких красных проводка.

“Эта штука называется детонатором, Чарли, — сказал он, осторожно тыча толстым пальцем в авторучку. — Тут вот у него затычка, а в эту затычку, как видишь, входят вот эти провода. Короткие провода, ему достаточно коротких. А остаток провода он скручивает вот так”. И достав из портфеля плоскогубцы, он ловко срезал каждый провод по отдельности, оставив хвосты сантиметров по двадцать длиной, а затем неувлимым уверенным движением свернул их в аккуратную куколку, перетянутую проволочным пояском.

“Эта куколка и есть его почерк, — объяснил он. — В этих делах у каждого со временем вырабатывается свой почерк. Это почерк Халила, Чарли”.

Она подержала куколку в руке и позволила ему забрать ее назад.

Потом все было привычно-деловито. Иосиф дал ей адрес для ночлега. На улице ее поджидало такси. Уже рассветало, и первые ласточки начинали свои беззаботные трели.

## 20

Она вышла раньше, чем велела Хельга. Инструкция казалась ей сомнительной, весь план казался ей сомнительным. Послушай, Хельга, но ведь телефон может быть занят, когда ты позвонишь? Это все-таки Англия, а не твоя сверхаккуратная Германия. Но Хельга была не расположена спорить. Делай, как сказано, обо всем остальном я позабочусь сама.

“Ты должна дойти до конца улицы, потом повернуть и пройти обратно”, — сказала она. Улица в это воскресное утро была абсолютно пустынная, но она послушно прошла ее до конца, искоса глянув на телефонную будку — вот уж неподходящее место для межконтинентального разговора с международными террористами! По часам оставалось еще двенадцать минут, и она немного постояла на углу, прежде чем повернуться и неторопливо, словно гуляя, пойти назад.

В будке кто-то был! Сквозь стеклянную дверь она могла разглядеть кожаное пальто с меховым воротником и расслышать пулеметные очереди страстного итальянского монолога, изредка прерываемого секундными раздраженными паузами. Она нервно облизнула губы и оглянулась. Ни души — ни злобной полицейской машины, ни красного “Мерседеса”. Только маленький автофургон напротив будки ощерился на нее своим темным нутром. Дверь со стороны водителя была распахнута. Она вдруг почувствовала себя раздетой. Хельга сказала: “Пять минут девятого”. Человек в будке замолчал, и она услышала брнчание монет, которые он перебирал

в кармане, потом он постучал по стеклу, чтобы привлечь ее внимание. В приоткрытую дверь высунулась рука с монетой в пятьдесят пенсов, — разменять. Ладно, Хельга, тебе придется потерпеть, зло-радно подумала Чарли и полезла в сумочку за мелочью. Господи, никогда не думала, что пальцы могут так вспотеть от страха. Она уже готовилась высыпать свои монетки в его благодарно подставленную итальянскую ладонь, когда увидела, что в этой ладони зажат небольшой блестящий револьвер и что револьвер этот направлен точно в то место, где кончались ее ребра и начинался живот — отличное местечко для маленькой блестящей пули. Револьвер был небольшим, но почему-то выглядел как пушка. Вблизи все они кажутся больше, утешила себя Чарли, медленно поднимая руки. Видимо, кто-то слушал их на другом конце провода, потому что когда итальянец заговорил, он продолжал держать трубку поближе ко рту.

“Сейчас ты медленно пойдешь впереди меня к машине, Чарли, — объяснил он на вполне пристойном английском, — и старайся держаться не очень далеко и справа от меня, а руки сложи за спиной, чтобы я их видел, понимаешь? Если ты закричишь или дашь кому-нибудь сигнал, я прострелю тебя вот здесь, слева. Если появится полиция, будет то же самое”.

Потом он сказал в трубку что-то по-итальянски, повесил ее и вышел из будки, широко улыбаясь ей настоящей итальянской улыбкой. И голос у него был безошибочно итальянский — глубокий и музыкальный. Таким голосом только на рынке перекрикиваться с торговками или с женщинами на балконах.

“Пошли, — сказал он, сунув руку с револьвером в карман пальто. — Только не очень быстро, о-кей? Беззаботно и медленно, как будто мы гуляем”.

Секундой раньше ей до смерти хотелось в уборную, но теперь почему-то это прошло, зато нестерпимо зачесалась шея и в правом ухе завылло, словно там в темноте заблудился одинокий комар.

“Теперь ты сядешь на место пассажира и положишь руки перед собой, — лениво посоветовал он. — Девушка сзади тоже вооружена и стреляет очень быстро. Быстрее меня”.

Чарли протиснулась в дверь фургона, села и положила руки перед собой как послушная ученица.

“Расслабься, Чарли, — радостно сказала Хельга из глубины фургона. — Опусть плечи, а то ты выглядишь как старуха. И улыбнись. Вот так. Продолжай улыбаться. Сегодня все должны улыбаться. Кто не улыбается, тот будет убит”.

“Начни с меня”, — предложила Чарли.

Итальянец устроился рядом, на водительском месте, и повернулся к ней. "Положи руки на колени, я сейчас все устрою". Он перебросил ее сумочку Хельге, быстро перехватил Чарли ремнем машины, ловко пощупав при этом ее грудь, и напялил на нее большие темные очки. Со страху она чуть не ослепла. Может, они именно этого и хотели?

"Если ты их снимешь, — сказал итальянец, — она выстрелит тебе в затылок. Можешь быть уверена".

"Это уж точно!" — жизнерадостно подтвердила Хельга. Старая, добрая Хельга в своем репертуаре.

Она насчитала три остановки перед светофором и триста ударов собственного пульса, прежде чем они окончательно остановились. Итальянец помог ей выйти из машины и сунул ей в руку палку, с помощью которой она неуверенно сделала шесть шагов и поднялась по четырем ступенькам. Они ввели ее в комнату и усадили на чем-то кожаном без спинки. Она услышала, как они высыпают на стол содержимое ее сумочки, — звякнули ключи и монеты и глухо стукнула пачка писем Мишеля, которую она забрала накануне у Синди по приказу Хельги. И еще здесь пахло мужским лосьоном, еще более приторным, чем лосьон Мишеля.

Наверно занавеси на окнах были толстые и плотно задернуты, потому что на краях оправы растекались жидкие электрические отблески.

"Я хочу позвонить товарищу Местербейну, — сказала Чарли. — Я нуждаюсь в защите закона".

"О, Чарли! — хихикнула Хельга. — Ты просто неподражаема".

"Тебе идет револьвер, Хельга, — снова заговорила Чарли в наступившем молчании. — Ты должна одеваться только в револьвер и ничего больше".

На этот раз она различила в ее смехе нотки с трудом скрываемого удовольствия — как будто она показывала Чарли кому-то, кого уважала и слегка побаивалась. В крохотной щели между оправой и собственной щекой она увидела кончик черного лакированного ботинка. Этот мужчина тоже носил дорогую итальянскую обувь. Потом ботинок исчез, и она ощутила волну тепла, когда он прошел совсем рядом с ней. Сейчас она была летучей мышью, панически рассылавшей во все стороны неслышимые писки, в судорожной надежде уловить их смутные отраженные эхо. Господи, я сейчас свалюсь, у меня головокружение. Что он там делает, у стола? Ага, вот он пощелкал тумблером — дудки, на этот раз ее приемник был без обмана, больше никаких фокусов, сказал Иосиф, никаких подмен, а теперь он листает ее дневник, пыхтя сигарой. Сейчас он начнет со

мной игру в слова на букву "М": где ты видела "М"? где ты встрети-лась с "М"? где вы любились с "М"? Нет, он молчит. Она услышала, как он усаживается на диван — толстый человек в дорогих ботинках ручной выделки, напомаженный дорогим лосьоном, пых-тя дорогой сигарой, с облегчением усаживается на дешевый скри-пучий диван. Она услышала щелчок резиновой ленты. Письма. Мы будем очень сердиться, если ты не принесешь письма. Синди, счита-й, что ты мне уже уплатила за все уроки музыки.

"Вы скажете нам правду, и мы поощрим вас", — мягко сказал мужской голос. Голос Мишеля! Его акцент, его модуляции, его глубокий тембр откуда-то из самой гортани.

"Расскажите нам все, что вы сказали им, что вы сделали для них, сколько они вам уплатили, о-кей? Мы вас отпустим".

"Не шевели головой!" — прикрикнула сзади Хельга.

"Мы не думаем, что вы его предали, о-кей? Вас запугали, верно? Мы понимаем. Мы тоже люди. Расскажите нам все, и мы вас отпус-тим".

Он тяжело вздохнул, словно жизнь была для него обузой.

"Может быть, вы увлеклись каким-нибудь полицейским, а? Вы пошли на это ради него. Мы понимаем".

"Ты понимаешь, что тебе говорят? — раздраженно спросила Хельга. — Отвечай, иначе мы тебя накажем!"

Теперь-то уж точно следовало молчать.

"Когда вы стали на них работать? После Нотингама? Впрочем, это неважно. Вы пошли к ним. Вас запугали, и вы пошли. Этот сумасшедший араб хочет меня завербовать, спасите меня, верно? Мы можем дать вам информацию для них, вам нечего бояться. Мы порядочные люди. Рассудительные. Говорите".

Она ощущала бесконечный покой, она была в безопасности, она снова была свернувшимся в калачик зародышем, она могла начать все сначала или тихо умереть, она спала сном младенца или глубо-кой старухи. Собственное молчание затягивало ее в бездонный во-дovorот, это было молчание абсолютной свободы. Несколько раз она порывалась что-то сказать, но ее голос был так далек, что не было смысла призывать его обратно. Хельга произнесла что-то по-немецки, и она без всякого перевода поняла, что Хельга в пол-ной растерянности. Толстый мужчина что-то ей ответил, и в его го-лосе Чарли расслышала только озабоченность, но не враждебность. Словно они обсуждали какую-то бюрократическую зацепку. Потом толстый спросил:

"Где вы ночевали после того, как позвонили Хельге?"

"У любовника".

“А сегодня?”

“То же самое”.

“Это был другой любовник?”

“Да, но они оба из полиции”.

Не будь на ней очков, Хельга могла бы ее ударить. Это чувствовалось по тому, как истерически она заорала. Толстяк стал спрашивать снова. Она позволяла ему вытягивать из себя ответы фразой за фразой: номер комнаты в нотингамском мотеле? название отеля в Салониках? что ели? когда прибыли? какое вино заказали в номер? И постепенно, прислушиваясь к своим усталым ответам, она поняла, что победила. Выиграла этот раунд. Убедила их, — несмотря на то, что они так и не разрешили ей снять очки, когда снова усадили в машину и повезли далеко-далеко.

## 21

В Бейруте они приземлились в дождь. Самолет пробил кражистую тучу, которая вспыхнула багровым отблеском в свете его огней, и пошел на посадку. Дверь открылась, и она опознала Восток, как будто вернулась домой после долгой разлуки. Было семь вечера, но с таким же успехом могло быть три утра, потому что этот мир был не из тех, что ложится спать по часам. Или вообще. Вокруг стоял невообразимый шум, как на финальном заезде в скачках, и вооруженных людей было столько, что впору начать очередную маленькую ближневосточную войну. Прижимая сумочку к груди, она стала пробираться к окошку, чувствуя, как ее лицо расплывается в улыбке. Ее фальшивый немецкий паспорт, который пять часов назад в лондонском аэропорту мог означать выбор между жизнью и смертью, здесь не означал ничего.

“Мисс Пальме? Ваш паспорт! Пасс! Быстрой, пожалуйста!”.

В паспорте она была записана как “Пальме”. Маленький, веселый араб с небритой щетиной и курчавыми волосами подхватил ее под руку. Его пиджак был распахнут и из-за пояса выглядывал большой сверкающий револьвер. “Меня зовут Данни, мисс Пальме. Пожалуйста. Идемте”.

Она дала ему паспорт, и он нырнул в толпу, широко расставив руки, чтобы оставить ей проход. Минуту спустя он появился снова, гордо размахивая какой-то белой бумажкой. Рядом с ним стоял рослый мужчина в форме.

“Друзья, — с патриотическим восторгом сказал Данни. — Все друзья палестинцев”.

Если у Чарли и были сомнения, она не стала их высказывать.

Рослый мужчина внимательно осмотрел сначала ее, потом паспорт, потом белую бумажку.

“Добро пожаловать”, — сказал он, коротко поклонившись.

Они были уже у дверей, когда в зале что-то произошло, толпа хлынула к центру, замелькали кулаки и револьверы стали угрожающе покачиваться у самых лиц. Когда они шли к машине, группа солдат в зеленых беретах торопилась им навстречу, на ходу снимая с плеча автоматы.

“Сирийцы”, — пояснил Данни с философским спокойствием, словно хотел сказать, что в каждой стране есть свои сирийцы.

Их ждал старенький “Пежо” и двое подростков с автоматами, которых по ошибке выпустили из детского сада. Трудно было поверить, что автоматы не игрушечные.

“Вы говорите по-испански? — спросил один из них с мучительной вежливостью. — Нет? Тогда мне придется извиниться за мой английский”.

“Но у тебя замечательный английский”, — сказала Чарли.

“Это не так”, — укоризненно заметил он и погрузился в оскорбленное молчание на всю остальную часть пути.

Они миновали баррикаду из мешков с песком, и часовой лениво помахал им автоматом, пропуская.

“Тоже сириец?” — спросила она.

“Ливанец”, — небрежно бросил Данни.

Улица напоминала не то поле недавнего боя, не то участок, расчищаемый под строительство. Трупы обугленных деревьев обозначали то, что когда-то было аллеей, цепкий плющ вился по развалинам, сожженные машины лежали на обочинах, продырявленные пулями и осколками. Изрешеченный дом высился на фоне темнеющего неба как гигантский кусок голландского сыра. Ломоть луны то исчезал за стенами, то выныривал в очередной пробоине. Потом впереди появилось мутное пятно дрожащего света, и они увидели на самой середине дороги костер и сидящих вокруг него на корточках людей в белых куфиях. Высокий красивый старик поднялся и подошел к машине, за ним поднялись еще четверо и неторопливо подняли свои автоматы на уровень ветрового стекла. Ни одному из них не было пятнадцати, с восторженным ужасом поняла Чарли.

“Наши люди, — с горделивым уважением сказал Данни, когда машина снова двинулась. — Палестинские коммандос. Это наша часть города”.

Ты увидишь, что их легко полюбить, предупредил ее Иосиф.

Чарли провела с мальчиками четыре дня и четыре ночи и полю-



била их всех вместе и каждого в отдельности. Они оберегали ее как сокровище и каждую ночь перевозили куда-то дальше и дальше. Они называли ее “мисс Пальме” и наверно думали, что ее действительно так зовут. Они спали снаружи, у порога ее комнаты, охраняя ее, и пока один отдыхал, другие курили, пили чай из маленьких чашек и негромко разговаривали, коротая ночь за картами.

Ночи были бесконечными, и ни одна минута не повторяла другую. Сами звуки, казалось, враждовали друг с другом, то растворяясь вдалеке, то приближаясь, складываясь вместе и яростно накапывая друг на друга — внезапный всхлип музыки, жуткий скрип тормозов, вой сирен и глубокое молчание леса, прорезаемое цикадным стрекотом автоматных очередей.

По вечерам она сидела с мальчиками у костра и слушала их рассказы о сионистских зверствах и бравых подвигах палестинских борцов. Она вспоминала мягкий голос Иосифа, его скупую улыбку и любила их всех — Иосифа и этих мальчиков. Однажды Данни рассказал историю своего отца, который отчаялся дожидаться освобождения родины от сионистов и в один прекрасный день упаковал свой нехитрый скарб и пошел через границу требовать, чтобы сионисты вернули ему его дом и землю. Данни с братом подросли в самый раз, чтобы увидеть, как его сгорбленная маленькая фигурка исчезает в глубине долины и как потом она исчезает совсем в пушистом облаке минного взрыва. Когда он кончил рассказывать, мальчики стали спрашивать ее о нравах западных женщин, сурово и неодобрительно качая головами, пока она отвечала.

На пятый день ее разбудил мягкий стук в дверь.

“Идемте, пожалуйста, — сказал Данни. — Вас хочет видеть наш капитан”.

Было три часа утра, и небо было еще совсем темным.

“Не рассчитывай, что страх тебе подскажет, — предупреждал ее Иосиф. — Ты не всегда будешь бояться. Но с капитаном Тайе ты должна быть предельно начеку. Капитан Тайе очень умный человек”.

В полутьме комнаты, куда ее провели через пустой и темный двор, Чарли различила кривобокую, искривленную фигурку с копной прямых черных волос над изрытым шрамами лицом. Он приподнялся ей навстречу, тяжело опираясь на палку и волоча негнущиеся искривленные ноги. Кривая улыбка расколола его лицо пополам.

“Мисс Чарли, меня зовут капитан Тайе. Приветствую вас от имени революции”.

Он протянул ей руку, и на миг ей показалось, что он вот-вот упадет. Но он тут же выпрямился и, ковыляя, направился в глубь комнаты. Видно, комната была специально снята на этот случай, потому что он ничего не мог в ней найти, даже пепельницу. Она села на указанное ей место на кожаном диване, молчаливо наблюдая, как он неловко накрывает на стол, то и дело оценивая ее внимательным взглядом. Стаканы, взгляд в ее сторону, улыбка; бутылка водки, снова взгляд и снова улыбка; бутылка шотландского виски и еще один взгляд. Мальчики уселись в двух углах комнаты, положив автоматы на колени. На столе лежала груда конвертов, и даже не приглядываясь, она поняла, что это ее письма к Мишелю.

Он остановился у окна, вырисовываясь на фоне бледнеющего неба, — настороженная улыбчивая тень, опирающаяся на палку.

“Мальчики полюбили вас, — мягко сказал он. Его голос был еще глубже и красивее в полутьме. — А вы их?”

“Тоже”.

“Они говорят, что вы все еще любите своего мертвого палестинца. Это верно?”

“Да”.

Он ткнул палкой в окно.

“В прежние дни мы взяли бы вас с собой. Через границу. Засада. Возмездие. Возвращение. Праздник. Хельга говорит, что вы хотите сражаться. Вы хотите сражаться?”

“Да”.

“Против сионистов? Или вообще? — Он глотнул из стакана. — К нам приходят отбросы, которые готовы взорвать весь мир. Вы из таких?”

“Нет”.

“Это подонки. Хельга, Местербейн — все это накипь. Верно?”

“Я их почти не знаю”, — уклончиво сказала она.

“Вы тоже накипь?”

“Нет”.

“Нет, вы не из таких, — согласился он, продолжая присматриваться к ней. — Нет, я не думаю. Но возможно вы такой станете. Вы убивали когда-нибудь?”

“Нет”.

“Вам посчастливилось. У вас есть своя страна. Парламент, законы, полиция. Где вы живете?”

“В Лондоне”.

“Где именно?”

Мучительно ковыляя, он подтащил к столу стул с высокой спинкой, потом второй, сел и со вздохом пристроил свою ногу. Потом

достал из кармана мятую сигарету и закурил. Теперь она видела его лучше. Он не был стар, капитан Тайе, но в его шрамах была ранняя мудрость боли. Он напомнил ей Иосифа, и она ощутила теплую волну сочувствия.

“Если вы хотите изменить мир, забудьте об этом, — негромко посоветовал он. — Вы, англичане, уже сделали это. Оставайтесь дома. Играйте свои роли. Совершенствуйтесь на досуге. Это безопасней”.

“Не для меня”, — сказала она.

“О нет, вы еще можете вернуться. — Он снова отхлебнул из стакана. — Можете покаяться. Исправиться. Проведете год в исправительной тюрьме. Год в тюрьме полезен каждому. Зачем сражаться за наше дело?”

“Ради него”, — твердо сказала Чарли.

Он сердито махнул рукой, словно отметая ее дешевую романтику.

“Что вам в нем? Он умер. Мы все здесь скоро умрем. Что вам в нем?”.

“Он для меня все. Он был моим учителем”.

“Он научил вас делать бомбы? Стрелять? Убивать? — Он посмотрел на свою сигарету, еще раз глубоко затянулся, сморщился от отвращения, смял окурочек в пепельнице и тут же закурил другую. — Чему он мог вас научить? Взрослую женщину? Он был щенок. Он не мог вас ничему научить. Он был ничтожество”.

“Он был для меня всем”, — с деревянным упрямством повторила она и ощутила, что он вдруг потерял интерес к разговору. Теперь он напряженно к чему-то прислушивался. Потом что-то быстро проговорил по-арабски. Один из мальчиков вскочил и выбежал наружу.

“Он научил вас ненавидеть?” — спросил Тайе, словно ничего не произошло.

“Он говорил, что ненависть — это для сионистов. Чтобы сражаться, нужна любовь, говорил он. Антисемитизм это выдумка христиан, говорил он”.

Только теперь она услышала то, что Тайе услышал задолго до этого: ворчливое напряженное гудение машины, поднимающейся в гору. Он чуток, как слепые, подумала она, это потому, что он искалечен.

“Вам нравится Америка?” — внезапно спросил он.

“Нет”.

“Были там когда-нибудь?”

“Нет”.

“Откуда вы знаете, что она вам не нравится, если вы там не были?”

Но и этот вопрос был риторический, словно он обсуждал его сам с собой. Машина уже въехала во двор, она услышала приглушенные голоса и комнату прорезал луч автомобильной фары.

“Не двигайтесь!” — предупредил он.

В комнату вошли еще два мальчика, один с пластиковым мешком, другой с автоматом и почтительно остановились в ожидании приказа. Письма лежали на столе в торжественном беспорядке, ненужные, пустые.

“За вами нет хвоста и вы можете отправляться на юг, — задумчиво сказал Тайе. — Выпейте свою водку, и мальчики вас заберут. Возможно, я вам поверю, возможно — нет. Возможно, это вообще не имеет значения. До свиданья”.

На этот раз ее ждала машина скорой помощи, разрисованная по бокам зелеными полумесяцами и вся покрытая красноватой пылью. Подросток в темных очках сидел за рулем, и Чарли взобралась на сиденье рядом с ним. Двое мальчиков с автоматами пристроились на сиденьях в глубине машины. Занимался радостный рассвет, и когда они начали спускаться, слева из-за холма выплыл багровый шар солнца. Он сказал — на юг. Куда и зачем? Но она чувствовала, что вопросы были бы неуместны, и внутренний голос подсказывал ей от них воздержаться.

Первая проверка документов была на въезде в город; потом было еще четыре, и когда они остановились в последний раз, она увидела, как двое взрослых поднимают в такси обвисшее тело мертвого мальчика, а женщины стоят вокруг, заходясь в истощном вопле и колотя кулаками по крыше машины. Потом была только дорога и искаженные остовы машин на обочинах, изрешеченные пробоинами дома и дети, играющие в футбол в придорожной пыли. Последний раз их остановили сирийцы, и пока они проверяли у водителя документы, Чарли услышала треск мотоцикла, выглянула в окошко и увидела запыленную “Хонду” с Димитрием в седле. На нем была форма палестинца, и под одним из погонов — небрежно воткнутая веточка вереска, неожиданная и веселая, как привет далеких друзей, как еле слышимый шепот: “Мы с тобой”. Потому что вереск был сигналом, о котором она условилась с Иосифом и который она высматривала все эти четыре дня.

Опять несколько дней с мальчиками из детского сада капитана Тайе. В этом полуразрушенном доме на окраинах Сидона ее охра-

няли Карим и Ясир. Карим был толстенький и забавный. Он устранивал целые представления со своим автоматом, взваливая его на себя, словно ужасную тяжесть, и при этом пыхтя и отдуваясь. Ему было девятнадцать, из них шесть лет он воевал. После войны он хотел стать инженером.

“Когда мы освободим Палестину, я буду учиться в Иерусалиме. А пока, — он ронял руку и делал большие глаза, словно в ужасе от открывающихся перспектив, — пока в Ленинграде. Или в Дейтройте”.

Да, у него были брат и сестра, но брат погиб в лагере Рашидие, а сестра — при бомбардировке Набатие. Он говорил об этом просто, как о чем-то незначительном в сравнении с общей трагедией.

Ясир вообще не говорил по-английски, только бросал на нее яростные взгляды и отворачивался — чаще всего в сторону моря, как будто оттуда вот-вот появятся сионисты. Ясир большой коммунист, объяснил ей Карим, он хочет уничтожить колониализм во всем мире. Его семья погибла в Таль аль-Заатаре. От жажды.

От чего? — удивилась Чарли.

От жажды, повторил Карим. Тридцать тысяч палестинцев находились там в осаде целых семнадцать месяцев, под непрерывным огнем.

Чьим огнем? — спросила Чарли. — Сионистов.

Ее невежество восхитило Карима. “Катаиб, — сказал он, как нечто само собой разумеющееся. — Фашистская маронитская милиция, которой помогали сирийцы и наверняка сионисты”. Тысячи погибли в Таль аль-Заатаре, сказал Карим. А потом маронитские фашисты вошли в лагерь и добились уцелевших. Врачей и медсестер тоже, потому что им все равно уже некого было лечить.

“Мы здесь скоро все умрем, — помолчав, сказал Карим, вторя печальному утверждению капитана Тайе. — Все до единого”.

Старая тюрьма располагалась в центре города. Это для невинных — загадочно сказал капитан Тайе. Они отбывают здесь пожизненное заключение.

“Я сказал, что вы американская журналистка, — вежливо объяснил Тайе, ковыляя рядом с ней. — Постарайтесь поменьше улыбаться, иначе они подумают, что вы смеетесь над их несчастьями”.

Двери камер были широко распахнуты, и всюду, куда она могла заглянуть, были беженцы — старики, женщины, дети. Обтянутые кожей скелеты, неподвижно лежащие на подстилках. Даже дети двигались медленно и осторожно. Поперек камер были натянуты

бельевые веревки, и это придавало им деревенский вид. Пахло кофе, мочей и стиркой.

Они поднялись по мраморной лестнице и вошли в просторную комнату — наверно, бывшую кафитину. В центре стоял операционный стол, и женщина в черном, наклонившись над ним, промывала глаза лежащему на нем ребенку. Матери терпеливо сидели вдоль стены, их дети, ждавшие очереди, спали или куксились у них на коленях. Женщина подняла голову, посмотрела сначала на Тайе, потом на Чарли, произнесла что-то по-арабски и передала ребенка его матери. Потом она подошла к рукомойнику и стала тщательно отмывать руки, не отрывая взгляда от Чарли.

“Пойдемте”, — сказал Тайе.

Они сидели в маленькой пустой комнатке — только пластиковые цветы на столе и фотография Швейцарии, в самый раз для этой юдоли страданий. Тайе бережно уложил свою больную ногу на палку. Пот стекал по его изрытому лицу. Женщина сидела по другую сторону, нахмуренная и суровая. Черный монашеский наряд, тяжелый прямой взгляд, короткая стрижка. Она была красива. Два мальчика, как обычно, стерегли открытую дверь.

“Вы узнаете ее? — спросил Тайе, с отвращением разминая свой первый окуроч. — Присмотритесь”.

Присматриваться не было нужды. “Фатме”, — сказала Чарли.

“Она вернулась в Сидон, чтобы быть со своим народом. Она не понимает по-английски, но она знает, кто вы. Она читала ваши письма к Мишелю и его письма к вам”.

Он вытащил из кармана следующую сигарету и закурил снова.

“Она в трауре, но это наша общая доля. Не будьте с ней слишком сентиментальны. Она уже потеряла трех братьев и сестру, она знает, что такое смерть”.

Фатме заговорила — ровным, спокойным голосом. Когда она кончила, Тайе перевел:

Она благодарит вас за утешение, которое вы дали ее брату Салиму, боровшемуся с сионизмом. И за то, что вы присоединились к этой борьбе. Она говорит, что теперь вы сестры. Она спрашивает, готовы ли вы умереть, чтобы не быть рабом империалистов. Она очень радикальна. Скажите ей “да”.

“Да”.

“Она хочет узнать, что рассказывал Мишель о своей семье и Палестине. Постарайтесь не приукрашивать. У нее хороший нюх”.

Он сполз со стула и начал ковылять по комнате, то переводя, то сам подбрасывая осторожные вопросы.

Это рассказывала не Чарли — это рассказывала ее простреленная память. О том, как умерла их мать, как Фатме заменила им ее — Мишелю и всем его братьям.

“Что он сказал о братьях, — нетерпеливо перебил Тайе. — Повторите ей это”.

“Он сказал, что старшие братья были ему примером. Что в Иордании, когда он был еще слишком мал, чтобы воевать, братья часто уходили по ночам, и тогда Фатме приходила к нему в постель и шепотом рассказывала, что они ушли воевать с сионистами...”

Тайе прервал ее. Фатме спрашивает, чем занимались братья. Что они изучали. Как они погибли. Теперь ее вопросы утратили ностальгический оттенок, это больше походило на деловитый допрос.

Мишель не рассказывал ей все, оправдывалась Чарли. Фаваз был адвокатом, вернее — собирался стать. У него была девушка в Аммане, тоже из Палестины, из одной с ними деревни. Сионисты убили его на пороге ее дома, когда он на рассвете выходил оттуда. Фатме говорила...

“Что говорила Фатме?” — сурово спросил Тайе.

“Фатме говорила, что иорданцы выдали ее адрес сионистам”.

Фатме что-то произнесла, почти сердито.

“В одном из писем Мишель упомянул, что перенес пытку вместе с братом. Объясни это. О каком брате он писал?”

“Он писал о Халиле”, — сказала Чарли.

“Расскажите подробнее”, — приказал Тайе.

“Это было в Иордании”.

“Где? Как? Расскажите все в точности”.

“Это было вечером. Иорданцы прибыли на джипах. Они схватили Халила и Мишеля, и они приказали Мишелю принести шесть веток, по метру длиной. Они приказали ему держать ноги Халила, пока били его этими ветками по пяткам. А потом Халил должен был держать ноги Мишеля. Пятки распухли, они не могли идти, но иорданцы заставили их бежать. Они стреляли им вдогонку”.

“Ну и?” — спросил Тайе.

“Что “ну”?”

“Причем здесь Фатме?”

“Она ухаживала за ними. Днем и ночью. Она их ободряла. Читала им великих арабских поэтов. Помогала им замышлять новые операции против сионистов. Ты должна учиться у нее мужеству, сказал он”.

“И даже написал, идиот!” — буркнул Тайе, раздраженно закуривая очередную сигарету.

Фатме повернулась к нему и что-то спросила.

“Она спрашивает, что означала фраза в его письме: план, который мы выработали на могиле отца? Какой план?”.

Чарли начала было описывать, как погиб их отец, но Тайе сердито прервал ее:

“Мы знаем, как он погиб. Он умер от отчаяния. Расскажите нам о похоронах”.

“Он просил, чтобы его похоронили в Хевроне. Но сионисты не пропустили их через мост Алленби. Поэтому Мишель и Фатме и еще двое друзей похоронили его на высоком холме, откуда он мог видеть свою землю, отнятую у него сионистами”.

“А что делал в это время Халил?”

“Халила не было. Он давно уже был далеко. Но в эту ночь он внезапно вернулся. Он помог им засыпать могилу. А потом сказал Мишелю, что нужно идти сражаться”.

“Идти и сражаться?”

“Он сказал, что пришло время уничтожить евреев. Что отныне нет разницы между евреями и Израилем. Он сказал, что все евреи — это опора для сионистов, и они никогда не успокоятся, пока не истребят палестинцев. Отныне единственный шанс палестинского народа — заставить мир услышать себя. Напоминать о себе снова и снова. Почему должны погибать только невинные палестинские дети? Палестинский народ не будет ждать еще две тысячи лет, как ждали евреи”.

“В чем же состоял план?” — невозмутимо добивался Тайе.

“Мишель должен был отправиться в Европу. Халил все организовал. Он должен был отправиться туда, как боец”.

Фатме что-то сказала. Одну фразу, отрывистую и короткую.

“Она говорит, что ее маленький братец имел слишком большой рот. Бог поступил правильно, что закрыл этот рот навсегда”, — морщась от сигаретного дыма, сказал Тайе и сделал знак мальчишески. Фатме поднялась и пристально, даже с любопытством посмотрела на Чарли. Потом поцеловала ее в щеку и быстро вышла из комнаты. Направляясь к двери, Чарли думала, что если бы не Тайе, она осталась бы тут навсегда и помогала бы Фатме ухаживать за детьми весь остаток своей жизни.

Сначала она подумала, что Тайе привез ее в деревню, но по мере того, как они углублялись в узкие улочки, становилось понятно, что это место рассчитано на десятки тысяч, а не на сотни людей. У одного из белых домиков их приветствовал седой высокий чело-



век в отутюженной форме и начищенных до блеска черных ботинках.

“Это наш главный человек здесь, — сказал Тайе. — Он знает, что вы англичанка, и больше ничего. Он не будет расспрашивать”.

В просторной комнате им подали сладкий чай и бисквиты. Высокая худая девушка со скорбными кругами под глазами молча расставила стаканы и тарелки и села в углу. Глядя на Чарли и обращаясь к ней “товарищ Лейла” (как представил ее Тайе), главный гневно сказал, что служил в палестинской полиции во времена мандата. Наш народ закалился в страданиях, сказал он. Страдания нашего народа невыразимы, товарищ Лейпа. За последние двенадцать лет наш лагерь бомбили семьсот раз. Мы можем расходиться в политических взглядах, товарищ Лейла, но перед лицом сионистского врага эти различия несущественны, могу тебя заверить. Сионисты бомбят всех, независимо от их политических взглядов. Он рад приветствовать еще одного борца.

“За справедливость”, — сказал он вместо “спокойной ночи”.

“За справедливость”, — ответила Чарли.

Тайе задумчиво глядел ей вслед, когда она выходила в сопровождении высокой скорбной девушки.

Ее зовут Салма, объяснила девушка с печальной улыбкой, и она приходится дочерью седому человеку в форме.

“Что ты делаешь здесь, Салма?” — спросила Чарли. Вопрос удивил ее. Она здесь живет, это и есть ее дело.

“Откуда у тебя такой английский?”.

Из Америки. Она изучала биохимию в университете в Миннесоте.

“Там сирийцы, — сказала Салма, показывая на восток, — а там, — ее рука протянулась к югу и опустилась в жесте отчаяния, — там наши, и оттуда придут сионисты, чтобы всех нас убить”.

Между домами Чарли заметила армейские грузовики под маскировочными сетями. Из-за деревьев поблескивали стволы орудий. Семья Салмы была из Хайфы. Мать погибла в бомбежке, брат банкир, преуспевает в Кувейте. Нет, у нее нет бойфренда. Мужчины находят ее слишком высокой. И слишком ученой, смущенно улыбнулась она.

Теперь Чарли понимала ее непреходящую грусть. Салма побывала в большом мире и видела, как мало этот мир думает о палестинцах. Яснее, чем ее отец, с ясностью Тайе, она знала, как недостижимо далеки холмы ее родины.

Большая демонстрация состоялась на третий день ее пребывания в лагере. Шествие началось на стадионе, уже залитом утренним зно-

ем, и стало медленно продвигаться по лагерю, извиваясь по улицам, заполненным людьми. Впереди несли картонную модель мечети Омара, которая символизировала Иерусалим, за ней шли дети погибших мучеников с оливковыми ветвями в руках. И тут в небе появились самолеты, и с окрестных холмов зачистили, захлебываясь, зенитки.

Первая бомба взорвалась на соседнем холме, и Чарли увидела черную луковицу разрыва почти одновременно с тем, как пришел грохот и плотная волна воздуха прошла над их головами. Салма с ненавистью посмотрела в небо.

“Когда они хотят попасть, они попадают, — прокричала она сквозь вой моторов, грохот бомб и трещотку зениток. — Сегодня они с нами играют. Это ты принесла нам удачу”.

Чарли почувствовала дурноту.

Вторая бомба упала дальше — все равно где, лишь бы не в этих битком забитых улочках, где детишки терпеливо стояли в своих шеренгах, словно крохотные обреченные часовые, ожидающие, пока их поглотит лава. И тут оркестр заиграл громче, и шествие снова возобновилось, еще красочнее, чем прежде.

Но люди тут же стали расступаться, освобождая проход для машины скорой помощи, которая помчала куда-то к холмам, завывая сиреной и подмигивая пляшущими вспышками сигнала. Толпа снова сомкнулась вокруг огромного портрета Арафата, в задних рядах нарастало пение, потом уже пели все, и даже Чарли, не зная слов, отчаянно и страстно что-то мычала.

“Завтра за тобой приедут, — наклонившись, сказала ей Салма. — Тебя перевозят в другое место”.

“Я не поеду”, — ответила Чарли, прижимая к груди какого-то вытасченного из толпы мальчугана с огромными круглыми глазами.

Подонки, подумала она. Вонючие сионистские ублюдки. Если меня здесь не будет, вы убьете их всех, фашисты проклятые.

## 22

Чарли была не единственной, кто страдал от бездействия, пока перед ним развертывалось пестрое полотно жизни. С того момента, как она пересекла границу, Курц, Литвак и Бекер тоже вынуждены были обуздать свое нетерпение и приноровить свой темп к действиям противной стороны.

Курц вернулся на улицу Дизраэли, к постылому письменному столу, и превратился в того самого чиновника, отталкивающий

образ которого он так выразительно обрисовал когда-то Алексису. Он метался из одного секретного оффиса в другой, выпрашивая денег, ресурсов, подкреплений и отражая каверзные атаки тайных врагов, которых у него было больше, чем у самаритян. И конечно главным из них был Гаврон.

“Приятно отдохнули? — прокаркал он, когда Курц впервые появился в его кабинете после возвращения из Лондона. — И по ресторанам, конечно, походили, то-то, я смотрю, у нас брюшко появилось...”

После чего они начали орать друг на друга и стучать кулаками по столу, как супружеская чета, сводящая многолетние счета. Где же твои успехи? — ехидно допытывался Гаврон. Где великое возмездие? Что это я слышал насчет некоего Алексиса, с которым я категорически запретил иметь дело?

“И ты еще удивляешься, что я потерял к тебе доверие?”

В наказание он обязал Курца присутствовать на заседании армейских чинов, которые, как все армейские чины во всем мире, способны были говорить только о фронтальных наступлениях, фланговых ударах по позициям противника и парашютных десантах в тылу. Курц с трудом вымолил у них самую крохотную отсрочку.

“Зачем она тебе, Марти, — допытывались у него друзья, беря его за пуговицу в коридоре. — Ну хоть намекни, чтобы мы знали, что это на пользу делу”.

Но он отмалчивался, и это не прибавляло ему сторонников.

Затем была еще проблема слежения за Чарли на вражеской территории. Тамошними агентами и постами подслушивания распорядился отдел, во главе которого стоял сефард из Алеппо, ненавидевший весь мир вообще и Курца в особенности. “По такому следу я далеко уйду! — ответил он на просьбу Курца, высказанную самым униженным образом. — По такому следу я дойду до Алеппо! Мои люди нужны мне самому!” Курцу стоило немалых усилий и всех его связей, чтобы добиться минимального сотрудничества. Миша Гаврон, который был в курсе всех его шагов, предпочитал не вмешиваться. Если он так верит в успех, пусть попотеет, говаривал Миша в кругу ближайших подхалимов. Трудности его только подстегнут.

Опасаясь покидать Иерусалим даже на сутки, Курц отрядил Литвака в европейское турне — руководить наблюдением и готовиться к заключительной фазе операции. Во всяком случае,

как они надеялись, — заключительной. Слежка за Хельгой, Местербейном и Росино требовала целой команды и немалой изобретательности, но Литвак держался молодцом и даже успел слетать по просьбе Курца во Франкфурт, для тайной встречи с дорогим доктором Алексисом — частично, чтобы заручиться его поддержкой, частично же, чтобы “пощупать” милейшего доктора на предмет его возможных сомнений. Эта встреча едва не кончилась ссорой, потому что оба они одинаково терпеть не могли друг друга, а к тому же Алексис действительно оказался в весьма возбужденном состоянии.

“Решение принято, — патетически объявил он Литваку срывающимся от истерики голосом, в котором то и дело прорезался фальцет. — И я от него не отступлюсь — вы же меня знаете. Немедленно после нашей встречи я обо всем докладываю министру. Порядочный человек не может поступить иначе! Извините!”

Литвак не извинил ему ничего.

“Поймите меня правильно — евреи тут абсолютно ни при чем — но определенные инциденты — взрыв машины — необходимые меры — шантаж — я вынужден принять во внимание — начинаешь понимать, почему евреев всегда и всюду не любили...”

И он снова попросил прощения. С тем же результатом.

“Ваш приятель Шульман — не спорю, способный человек — даже убедительный — но абсолютно неразборчив в средствах — его методы повторяют то, что обычно приписывают нам, немцам...”

Побелев от ярости, Литвак еле слышно процедил в ответ:

“Почему бы вам не сказать ему об этом самому?” Что Алексис и сделал — тут же, из аэропорта, пока Литвак терпеливо стоял рядом с дублирующей трубкой у уха.

“Вы правы, дорогой Поль, валяйте, — жизнерадостно подбодрил Курц, когда Алексис выложил. — И кстати, не забудьте рассказать министру о том вашем небольшом швейцарском счете. Но если даже вы забудете, ваш моральный пример меня самого вдохновит рассказать ему это”.

После чего Курц положил трубку и велел не отвечать на звонки доктора Алексиса в течение сорока восьми часов. Курц знал, что агенты тоже люди и могут сорваться. Дав Алексису остыть, он выбрал свободный денек и слетал во Франкфурт, где нашел милейшего доктора в более спокойном состоянии после отрез-

вляющего напоминания о швейцарском счете и еще более — после недавнего появления его, Алексиса, портрета в популярной вечерней газете. Волевые решительные черты собственного лица и его неизменный тонкий юмор — да, это примирило его с собой, с миром и с господином Шульманом. В этом размягченном состоянии Алексис даже дал Курцу подарок для замученных иерусалимских дешифровщиков, который он до сих пор придерживал у себя. Этим подарком была открытка, пришедшая на один из многочисленных адресов Астрид Бергер. Простая почтовая открытка, незнакомый почерк, штампель седьмого отделения связи города Парижа, перехваченная и скопированная немецким почтовым ведомством по приказу из Кельна. Английский текст гласил: “Дядюшка Фрей идет на операцию в следующем месяце, как запланировано. Но это даже удобно, потому что ты сможешь использовать жилище В. Увидимся там, целую, К.”

Три дня спустя сеть притащила еще одну открытку, написанную той же рукой и на тот же адрес, но на сей раз отправленную из Стокгольма. И текст был теперь покороче: “Апендектомия Фрея в комнате 251 двадцать четвертого в восемнадцать часов”. И подпись “М”, что навело экспертов на мысль, что промежуточное письмо за подписью “Л” было упущено. Его так и не нашли, но зато девушки Литвака проследили за другим письмом, которая сама мисс Бергер отправила ни кому иному, как мистеру Местербейну в Женеву. Девушки сторожили мисс Бергер у квартиры одного из ее многочисленных любовников, и увидели, как она опустила конверт в ящик. Они тут же опустили туда свой собственный конверт, и когда почтальон пришел вынимать почту, рассказали ему историю с любовью и слезами, ревностью и подозрениями, так что в конце концов он разрешил им забрать их конверт, после чего открыл ящик и дал им унести в клюве письмо мисс Бергер. Они вскрыли его на пару, сняли копию, аккуратно запечатали снова и опустили в тот же ящик еще до сбора следующей почты.

Их наградой было восемь страниц сексуального бреда, нацарапанного школьным почерком и посвященного способностям Местербейна. Описания его потенции перемежались яростными инвективами в адрес сионистов и восхвалениями сальвадорских партизан. Но был там еще постскриптум, всего одна фраза, ради которой, наверно, было написано все это письмо, и эта фраза, тщательно и жирно подчеркнутая автором, в переводе с фран-

цузского означала: "Внимание! Скоро мы зададим жару этим 'Бургерам!'"

В этом месте даже лучшие из дешифровщиков Курца подняли руки. Почему Бургерам, а не бюргерам? Почему с заглавной буквы? Что означал апостроф перед словом? Дешифровщики готовы были сдаться, но их спасла бесхитростная Рахель, которая на досуге, оказывается, увлекалась решением кроссвордов и вот теперь предположила, примитивно и с потолка, что "Дядюшка Фрей" — это первая половина слова, а "Бургеры" — вторая, так что получается "Фрейбургеры", а это уже понятно, так можно назвать жителей Фрейбурга, которым "зададут жару" в шесть часов вечера двадцать четвертого числа. А что означает комната 251? "Ну, что же, это еще надо будет выяснить", — беззаботно сказала она недоверчивым экспертам и умчалась по своим делам.

Возможно, им пришлось бы выяснять это до бесконечности, если бы в один из следующих дней случай, как это бывает всегда, сам не вывел правду наружу. Их третий подопечный, итальянский красавчик Росино, вылетел из Вены в Базель, где снял напрокат мотоцикл и через сорок минут уже въезжал на нем в бывшую столицу западнонемецкой земли Баден, город Фрейбург-им-Бресгау, славящийся своим средневековым собором и не менее старинным университетом. Там, после обильного ланча, Росино направился напрямик в университет и вежливо поинтересовался, продолжается ли еще запись на курс гуманитарных наук для широкой публики. А заодно, но уже более осторожно, выяснил, где на университетском плане находится комната номер 251.

Это был свет в конце туннеля. Рахель была права; Курц был прав; Бог был справедлив, и Миша Гаврон тоже. Кое-кого трудности действительно только подхлестывают.

Только Гади Бекер не разделял с ними их общий восторг. Великий Гади взял отпуск — и исчез. Говорили, что его видели в Хевроне, на арабском базаре, но никто не верил, что легендарный Гади, человек, который сражался на Голанах за сирийскими линиями, станет мирно беседовать с торговцами в этой вонючей арабской дыре, да еще попивать с ними кофе, нет, этому решительно никто не верил. Уже скорее верны были слухи, что он живет в пограничном кибуце, около ливанской границы, где у него были давние друзья, или бродит по Метуле, возле "добробо забора", изредка поглядывая на ливанскую сторону. И уж совсем

неправдоподобен был рассказ, будто его видели на высоком холме, у самой границы, где он стоял, наполовину освещенный ослепительным заходящим солнцем, наполовину погруженный в черную тень — высокая неподвижная фигура, словно окликающая всю долину Литани: “Я здесь!”

Но зато достоверно было, что потом он объявился в музее Катастрофы Яд-Вашем, где долго и напряженно всматривался в фотографии погибших детей, которые могли бы сейчас быть его ровесниками. И услышав об этом, Курц отозвал его из отпуска и немедленно нагрузил его делами. Подготовь мне все материалы по Фрейбургу, Гади, прочеши библиотеку, архивы, найди наших людей там, сделай копии с плана города, всех его районов и особенно университета, поторапливайся, Гади, мне это нужно вчера, понял?

Хороший агент всегда немного чокнутый, успокаивал Курц своих людей, которые уже начинали беспокоиться за Гади. Если он не совсем идиот, он всегда слишком много думает.

Про себя же Курц тоже тревожился. Он не знал, сколько еще продержится его ненаглядное сокровище.

Это был конец пути и худшее место из виденных ею доселе, гнусная английская частная школа, скрещенная с публичным домом, революционный семинар в пустыне, помноженный на военный склад. Короче, это была полуразвалившаяся крепость в холмах, в пяти часах ходу от израильской границы, с каменными лестницами, проломленной взрывом стеной и забаррикадированным мешками с песком входом, над которым торчал унылый флагшток, куда не вывешивали никаких флагов. Крепость была для начальства и для допросов, а также для трех перерывов в день на еду, а также для идейных споров, во время которых западные немцы нападали на восточных, кубинцы нападали на всех, а какой-то чокнутый американец по имени Абдул однажды зачитал реферат о немедленном установлении мира во всем мире, занимавший двадцать страниц машинописи.

Другим популярным местом для встреч было стрельбище, где мишенями служили грубо намалеванные фигуры американских десантников, в которых дыры от пробоев затыкали свернутыми бумажками. Для ночлега были приспособлены три длинных барака — один для женщин, другой для мужчин, а третий — для так называемой библиотеки, где по словам шведки по имени Фатима меньше всего занимались чтением книг. Фатима уже побывала на

таких курсах в Йемене, Ливии и Киеве, она была настоящей профессионалкой, но на экзаменах всякий раз начинала трястись и в результате ее отправляли на очередную переподготовку.

Их охраняли арабы совершенно новой для Чарли породы — молчаливые ковбои, развлекавшиеся насмешками над пришельцами с Запада и бешеной гонкой на джипах вокруг крепости. По вечерам они приглашали девиц покататься на джипах, и те возвращались задумчивые, под большим впечатлением. Но другие девицы предпочитали более безопасные постели западных инструкторов, что приводило арабов в особенное исступление.

По утрам истощный грохот военного марша поднимал их на очередное политзанятие, во время которого кто-нибудь из инструкторов провозглашал очередную инвективу в адрес очередного врага человечества — израильских сионистов, египетских предателей, европейских империалистов и снова израильских сионистов. Один раз этим врагом оказался незнакомый Чарли христианский экспансионизм, но наверно это было связано с проходившим тогда Рождеством.

В группе были немцы, кубинцы и много других; немцы, как правило, держались своей компании и делали вид, что женщины их не интересуют; кубинцы задирали всех подряд; арабы были шумнее всех и чуть что хватались за автоматы, так что однажды даже прострелили одного молодого ирландца — к великому удовольствию Абдула, который всюду расхаживал с записной книжкой, утверждая, что собирает материал для великого революционного романа. А звездой группы была свихнувшаяся на революционных лозунгах чешка по имени Буби, которая в первый же день на стрельбищах аккуратно продырявила свою шляпу сначала из Калашникова, потом из тяжелого сорокапятимиллиметрового пистолета и под конец послала обрывки высоко в воздух русской противотанковой гранатой.

В тот день они принесли присягу на верность Антиимпериалистической Революции, после чего их отправили зубрить правила поведения в лагере, вывешенные на стене библиотеки. Десять заповедей Революции ужасно походили на обычные десять заповедей: не употреблять наркотики, не расхаживать голышом, не вести частных разговоров, не совокупляться, не онанировать и так далее. Покуда Чарли размышляла, которую из заповедей нарушить первой, репродуктор над ее головой уныло вещал: "Мы все товарищи по борьбе. Кто мы? Мы те безымянные борцы, которые поднялись



из лагерей Ливана и прогневших городов Запада, чтобы зажечь факел свободы для восьмисот миллионов умирающих с голоду во всем мире!”

Кто я, спрашивала она себя по ночам. Я товарищ Лейла, солдат мировой революции. Я скорбящая вдова, пришедшая сюда, чтобы отомстить за своего возлюбленного.

Она была скорбящей вдовой по вечерам, она была неистовой фурией с разметавшимися по плечам длинными рыжими волосами во время тренировок, она была суровой и замкнутой одиночкой, молчаливо прислушивающейся к чужим спорам во время дискуссий, она была со всеми и ни с кем, и постепенно даже арабы перестали ее приглашать покататься в джипе, женщины простили ей ее подозрительную красоту, те из окружающих, что послабее, стали искать у нее поддержки, а те, что покрепче, признали в ней ровню.

В своей клетушке в бараке она чаще всего ночевала одна, потому что жившие с ней девушки из Алжира пользовались большой популярностью среди инструкторов и почти все ночи проводили в крепости. Однажды вечером галантный кубинец Фидель заявился к ней в клетушку предложить свою революционную страсть к ее услугам, но она тут же выпроводила его, ограничившись братским, хотя и не менее революционным поцелуем.

Следующим претендентом оказался Абдул-американец, который ввалился поздно ночью, расселся на ее постели и предложил ей сигарету.

“Отвались, — отрезала она. — Выметайся”.

“Уже отваливаю, — немедленно согласился он и еще свободнее развалился в углу постели, закуривая сигарету. — Как тебя зовут по-настоящему, Лейла?”

“Смит”.

“Смит — это хорошо, — с той же готовностью согласился он. — Я слышал, что ты под личной опекой мистера Тайе, Смит. У тебя неплохой вкус. Может, перепихнемся?”

Она подошла к двери и распахнула ее настежь, но он остался сидеть, насмешливо подмигнув ей сквозь сигаретный дымок.

“Не хочешь? — переспросил он. — Жаль. Эти немецкие фрейлейн неповоротливы как цирковые слонихи. Мы могли бы показать им класс, а, Смит?”

Он повернул к ней лицо, и она с ужасом увидела слезы в его

бесцветных глазах. Его длинное унылое лицо исказилось в детской гримасе.

“Тайе подозревает, что мои нервы сдают. И знаешь, Смит, он прав. Я боюсь. Я уже не понимаю, каким образом убийство детей приближает мир во всем мире. Тайе говорит, что я могу уйти, если хочу. “Иди”, говорит он и показывает на пустыню. Настоящий джентльмен, этот Тайе”.

Он взял в руки ее ладонь и грустно уставился на нее.

“Меня зовут Халоран. Артур Джи Халоран. Если окажешься когда-нибудь в американском посольстве, Смит, шепни им там, что Артур Халоран из Бостона, некогда воевавший во Вьетнаме, не прочь вернуться на матушку-родину и уплатить обществу все свои долги, ладно? Я буду тебе чертовски благодарен, старина! В конце концов, мы, англосаксы, должны держаться друг за друга, не так ли?”

Ей хотелось уснуть. С кем угодно, только бы уснуть. Не помнить, не видеть больше эту одинокую клетушку. Не просыпаться посреди пустыни. Не слышать больше утренних идеологических молитв. Превозмогая себя, она с трудом поднялась с постели и вытолкнула его дряблое, покорное тело за дверь.

Не доверяй никому, кроме себя, предупреждал Иосиф. В этой игре может быть только один уцелевший, и это должна быть ты.

Через открытое окно Чарли слышала глухой стрекот автоматов на стрельбище, где упражнялась Буби. Тайе расположился на диване, уложив рядом свою больную ногу. Он казался чем-то озабочен и чаще обычного плющил окурки в пепельнице.

“Абдул-американец, — повторила она. — Его зовут Халоран. Он предатель. Он просил меня известить о нем американцев”.

Тяжелый темный взгляд Тайе обшарил ее лицо.

“И поэтому вы хотели меня видеть?”

“Да”.

“Халоран приходил к вам три ночи назад, — заметил он, отводя глаза. — Почему вы не пришли раньше?”

“Я боялась, что вы его накажете”.

“Вы боялись? — Он задумчиво пожевал губами. — Боялись. Почему вы боялись за Халорана? Целых три дня. Может быть, вы втайне симпатизируете ему?”

“Вы знаете, что это не так”.

“Может быть, он поэтому был с вами так откровенен? Да, я думаю, что это именно так”.

“Неправда!”

“Вы спали с ним?”

“Нет!”

“Почему же вы его защищаете? Почему вы защищаете предателя, если готовитесь убивать во имя революции?”

“У меня нет опыта. Мне стало его жаль. Но потом я вспомнила свой долг”.

Разговор, казалось, утомлял Тайе. Он закурил новую сигарету.

“Садитесь, — устало сказал он. — Садитесь. Если бы вы были на моем месте, что вы сделали бы с Халораном?”

“Не знаю. Нейтрализовала бы. Ликвидировала”.

“Зачем убивать человека, который все равно уже мертв? — глядя мимо нее, спросил Тайе, словно обращаясь к самому себе. — Не лучше ли его использовать?”

“Но ведь он предатель!”

И снова Тайе ее не слушал, поглощенный какой-то своей мыслью.

“Халоран наш человек, — нетерпеливо объяснил он. — Наша гиена. Он вынюхивает для нас падаль. Слабых, сомневающихся, потенциальных изменников. Зачем лишаться такого полезного человека?”

Он вздохнул, переместил больную ногу и раздавил в пепельнице очередную сигарету.

“Кто такой Иосиф? — неожиданно спросил он слегка раздраженным голосом. — Иосиф. Кто это, прошу вас?”

Гнев медленно поднимался к ее лицу. Когда вам надоест во мне сомневаться? Всякий раз, как она делает очередной шаг к Мишелю, ее останавливают для очередного допроса! К чертовой матери ваши допросы и вашу революцию, я ухожу, с меня довольно!

“Я не знаю никакого Иосифа”.

“Не торопитесь. Подумайте. Еще до Афин. Одна из ваших приятельниц слышала, как вы восторженно говорили об Иосифе, который присоединился к вашей группе. Он сказал, что вы были им увлечены”.

Она взяла все барьеры, все повороты. Она вышла на финишную прямую.

“Ах, этот Иосиф?! — Сделай вид, что ты что-то припоминаешь, Чарли. А теперь изобрази отвращение, вот так. — Ну, конечно, тот грязный маленький еврей, который привязался к нам на Миконосе!”

“Не говорите так о евреях. Мы не антисемиты, мы только лишь антисионисты”.

“Это я уже слышала”, — огрызнулась она.

“Вы утверждаете, что я лгу, Чарли?” — заинтересованно спросил Тайе.

“Я не знаю, был ли он сионистом, но уж втирушей он был, это точно. Хитрым втирушей, себе на уме. Вроде моего отца”.

“Ваш отец был еврей?”

“Нет. Но он был вор”.

Видно было, как Тайе переворачивает в уме ее ответ так и этак, сопоставляя ее слова с выражением ее лица и всей ее фигурой, словно заново перебирая все свои сомнения. Когда он заговорил снова, его лицо оставалось непроницаемо мрачным.

“В ту ночь, когда вы ночевали с Мишелем в Салониках — помните? — из-за чего вы ссорились?”

“Мы не ссорились”.

“Но дежурная по коридору слышала, как вы кричали друг на друга”.

“Она лжет. Мы не кричали. Мишель не хотел меня отпускать. Он боялся за меня”.

“А вы?”

Вся история была у нее уже наготове — они обсуждали ее с Иосифом.

“Я швырнула ему обратно его браслет”.

Тайе кивнул: “И это объясняет приписку в вашем письме: я рада, что ты вернул мне браслет. Вы правы — не было никакой ссоры. Конечно. Простите мне мой нехитрый арабский трюк. — И он еще раз испытующе обшарил глазами ее лицо, будто пытаясь разгадать какую-то мучившую его загадку. Потом выпятил губы, словно собираясь отдать приказ. — У нас есть для вас задание. Соберите свои вещи. Немедленно. Ваша подготовка закончена”.

Из всех безумных событий этого сумасшедшего дома в пустыне прощание было самым безумным. Оно было хуже, чем конец сезона, труднее, чем расставание с миконосской семейкой в Пирее. Фидель и Буби стискивали ее в своих объятиях, и их слезы сме-

шивались с ее горячими слезами. А одна из алжирских девиц подарила ей на память деревянную фигурку младенца Христа. Судорожно сжимая подарок в руке, она продолжала оглядываться даже тогда, когда крепость давно уже исчезла из виду за очередным поворотом дороги.

(окончание следует.)

**ВАДИМ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ**

## **САМОУПРАВЛЕНИЕ**

(Предисловие Иржи Пеликана)

«В пестром спектре направлений и взглядов советского инакомыслия Вадим Белоцерковский представляет собой исключительное явление: в центре его внимания стоят идеи самоуправления, "инженерно-рабочий класс", — пишет И. Пеликан в предисловии. Этим идеям в сопоставлении со взглядами «Солидарности» и Пражской весны посвящена книга. Анализируется также опыт реально существующих на Западе самоуправляющихся, рабочим принадлежащих предприятий. Ну и конечно, думам о судьбе России (и самоуправления в России) посвящены многие страницы книги.

По поводу идей книги (по первой еще редакции) академик Сахаров сказал (1976 г.): «Это некий конкретный аспект здоровой конвергенции... Она (эта книга) очень хорошая и интересная».

Германия, 1985. 170 стр.

**26.00 ДМ**

**ДРУГИЕ КНИГИ АВТОРА, имеющиеся на нашем складе:**

**Из портативного ГУЛага российской эмиграции.** Сборник публицистических статей: Польский опыт и советское диссидентство. Рабочие волнения в СССР в нач. 60-х годов. Русский позиционный национализм — откуда он? Почему советские рабочие пассивнее польских? Революция и эволюция. Важнейшие вопросы национального вопроса в СССР: Феномен Солженицына. Готовят ли американцы атомный удар по русскому народу? И другие.

Германия, 1983. 180 стр.

**21.50 ДМ**

**Свобода, совесть и собственность.** Анализ политической и экономической системы СССР, социальной структуры советского общества, конструктивные идеи его гуманизации.

Германия, 1978. 180 стр.

**16.00 ДМ**

**СССР — демократические альтернативы.** Сборник статей, посвященный гл. обр. новым идеям и концепциям демократического развития Сов. Союза. Авторы: В. Белоцерковский (составитель), Л. Плющ, М. Михайлов, Ян Эрбельфельд, А. Левитин-Краснов, А. Янов, Е. Эткинд, Е. Кушев, К. Вищневская, Г. Андреев.

Германия, 1976. 335 стр.

**20.00 ДМ**

**ПЕРЕСЫЛКА ЗА СЧЕТ ЗАКАЗЧИКА**

Вышел из печати наш новый сводный большой каталог 1985/86. Объем 380 стр. Высылается бесплатно по первому требованию заказчика.



**A. Neimanis · Buchvertrieb** Gm  
b H

Bauerstr. 28 · 8000 München 40 · Germany

## ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Как мы уже сообщали, журнал "22" и один из его ведущих авторов, Майя Каганская, были награждены премиями фонда Р. Н. Эттингер за 1984 год (по 1500 долларов каждая). На церемонии вручения премий были произнесены речи, часть которых мы воспроизводим ниже.

*Из выступления профессора Эмиля Любошица, председателя фонда им. Р. Н. Эттингер:*

Я с радостью и волнением открываю этот вечер: сегодня рождается новая традиция, еще одно культурное явление в жизни Израиля — ежегодная литературная премия им. Розы Николаевны Эттингер для израильских русскоязычных литераторов.

Мы собрались здесь, чтобы приветствовать первых лауреатов этой премии — редакцию журнала "22" и г-жу Майю Каганскую. Но прежде всего мне хочется посвятить несколько слов замечательному человеку, без которого сегодняшнее событие не могло бы иметь место и с именем которого связана эта премия.

Роза Николаевна Эттингер, благославенна ее память, была человеком поразительной душевной щедрости, благороднейшей и бескорыстнейшей личностью, настоящим аристократом духа, страстно привязанным к своей стране, к еврейской культурной традиции. Она родилась в Санкт-Петербурге в 1894 году и получила прекрасное образование: уже в юности в совершенстве владела английским и французскими языками, окончила Высшие женские курсы и в 1916 году получила звание доктора психологии Петроградского университета. В конце 1920 года вместе с остатками семьи она бежала из России, много скиталась по разным странам, а в 1935 году бежала из Германии в Палестину и с тех пор, с перерывами, жила в Иерусалиме.

Юность Розы Николаевны озарила замечательная дружба с еврейским общественным деятелем С. Ан-ским, автором знаменитой пьесы "Диббук"; увы, мало кому известны роль Розы Николаевны в создании этой пьесы и ее посвящение ей. В дальнейшем жизнь дружески связывала Р. Н. Эттингер с такими выдающимися еврейскими философами и гуманитариями, как Мартин Бубер, Шмуэль Хьюго Бергман, Эрнст Симон, Шломо Пинес и Хаим Ширман, оказавшими значительное влияние на ее мировоззрение.

Смыслом жизни ее последних лет стала судьба русской алии. Участие Розы Николаевны определило жизненный путь многих из нас в Израиле. Особую заботу проявляла она о культурном слое алии, справедливо полагая, что эта группа — писатели, артисты, музыканты, художники, ученые — нуждаются в особом внимании. В 1975 году она учредила из своих средств специальный благотворительный фонд для помощи репатриантам из России и завещала все свое состояние этому фонду, получившему после ее смерти в декабре 1979 года имя его основателя. Сотни репатриантов воспользовались разнообразными видами помощи фонда. И вот теперь, в связи с 90-летием со дня рождения Р. Н. Эттингер, правление фонда учредило ежегодную литературную премию ее имени для израильских писателей, пишущих по-русски.

Сегодня, на этом вечере, где мы вручаем первые премии фонда им. Р. Н. Эттингер, забытым историческим анекдотом звучит давнее высказывание Корнея Чуковского о непродуктивности русско-еврейской литературы, некогда вызвавшее бурную полемику, в которой пророчески выступали Ан-ский, Жаботинский, Дубнов. Присуждение премии Майе Каганской — признание ее яркого таланта и того важного места, которое она занимает на "олимпе" русско-еврейской литературы. Журнал "22" награжден за активную редакционно-издательскую деятельность. Пройдя трудный путь, этот журнал стал значительным культурным явлением в жизни интеллигенции из СССР в Израиле и одним из лучших "толстых" русскоязычных журналов на Западе вообще, в чем я вижу, в первую очередь, заслугу главного редактора Рафаила Нудельмана.

Но мне хочется отметить также прямую преемственность, которая существует между этим журналом и тем московским самиздатским журналом "Еврей в СССР", который сыграл столь важную роль в развитии нашего еврейского самосознания. И потому я считаю уместным вспомнить здесь и сегодня самоотверженный труд основателей журнала "Еврей в СССР" — А. и Н. Воронелей и В. Яхота, а также его последующих редакторов и издателей — И. Рубина, Р. Нудельмана, М. Азбеля, Э. Сотникову, В. Лазариса, В. Браиловского и И. Губермана.

И наконец я считаю своим приятным долгом поблагодарить профессоров Иерусалимского университета В. Левина, Ш. Пинеса и И. Сермана, которые совместно с членами правления приняли участие в работе жюри по присуждению премий за 1984 год.

Есть два способа выступать на такого рода встречах. Один описан у Ильфа и Петрова — выходит скучный человек и говорит: "Позвольте омрачить праздник..." Второй вариант намечен у поэта: "Давайте говорить друг другу комплименты..." Так вот, я поднялась на трибуну именно для того, чтобы сказать целый ряд комплиментов и именно друг другу.

У меня первый раз в израильской жизни приятное отчетливое ощущение, что происходит то, чего я давно хотела. Наконец я вижу перед собой общество, общину, "свои" лица. Я думаю, что фонд Р. Н. Эттингер сделал важное дело — дал нам возможность посмотреть друг на друга как на общество и ощутить вкус общинной жизни, который мы позабыли. Поэтому я думаю, что правление фонда заслуживает благодарности не меньше, чем награжденные — поздравлений. С этого я хотела бы начать.

Теперь — о награжденных, которые мне чрезвычайно близки. Награждены автор, одиночка, и журнал, коллектив. Причем автор — по убеждению антиколлективный человек, способный только к сугубо и остро индивидуальному переживанию, и журнал, который сумел выжить только потому, что был группой, опирался на общие усилия. Я хочу сказать, что и журнал, и автор награждены, в сущности, за стойкость, за способность к выживанию, которое далось им, я бы сказала, нелегко. И еще я хочу сказать, что возможность выстоять такому независимому и свободному изданию, как "22", и такому независимому и свободному автору, как Майя Каганская, могла представиться только на этой земле, на которой многие чудеса оказываются возможными, в том числе вот и чудо независимого литературного существования. Независимого — увы! — даже от денег...

Майя Каганская впервые стала печататься в Израиле. Сразу определились ее особенности: любимый жанр — эссе; острота аналитической мысли; яркость стилистики; способность увлечь читателя, вызывая самые крайние чувства — любовь или ненависть. Сегодня ее работы — это уже неотъемлемая часть русскоязычной словесности наших дней, с которой нельзя не считаться. Майя Каганская вступила на израильскую землю без ностальгического груза. Погружение в реальность свободного мира она восприняла как захватывающее интеллектуальное приключение. Русская культура и русский опыт помогли ей в выборе точек исследования и дали точность понимания. Ее последняя большая работа, совместно с литературоведом Зеевом Бар-Селла, "Мастер Гамбс и Маргарита" — блестящее и глубокое проникновение в творческий мир Булгакова и Ильфа-Петрова, в ту культурную



и идеологическую реальность, которая породила и связала их великие романы 30-х годов. Сегодняшняя премия — знак признания яркого таланта Майи Каганской и выражение веры в ее большое призвание.

Журнал "22" выпустил уже сорок номеров. И особенностью каждого из них мне видится наличие сквозной темы, пронизывающей прозу и отзывающейся в публицистике. Этой своей внутренней стройностью журнал обязан главному редактору, отличающемуся редким чувством журнальной композиции. Тем не менее, несмотря на яркую индивидуальность Рафаила Нудельмана, "22" — почти единственный из известных мне журналов, где сохраняется воистину действующая и действенная редколлегия, способная, при надобности, даже "развалить" уже готовый номер. Такая роль редколлегии более всего соответствует и убеждениям главного редактора, предпочитающего хор голосов и мнений своему единоличному тенору. Вот почему я сказала и готова повторить: награда журнала — это награда всего коллектива: главного редактора, редколлегии и авторов. Пожелаем же им долголетия в том же составе.

*Из выступления писателя Михаила Хейфеца:*

...Что мне особенно дорого в этом журнале? Прежде всего то, что этот журнал ориентирован на "нас". Я понимаю, конечно, что многие писатели в мире пишут лучше, чем русскоязычные писатели в Израиле. И наверно, чтобы завоевать читательскую популярность и увеличить тираж, было бы и выгоднее, и проще брать самых модных писателей и так угождать публике.

Но журнал выбрал более сложный путь. Он печатает прежде всего авторов, которые работают и вырастают в Израиле. Он напечатал Юлию Винер, Михаила Шепелева, Давида Таксера, Михаила Федотова, Бориса Полякова, Кирилла Тынтарева — и это только в последних номерах. И даже для тех, кто — как, например, Светлана Шенбрунн — начинал в других местах, этот журнал стал в Израиле и их трибуной тоже. Эти авторы могут существовать, работать и расти в стране, как авторы, потому что в этой стране у них есть трибуна, есть место, откуда они могут обратиться к читателям, есть "свой" журнал.

И вот, просматривая номера этого журнала, я вижу, как постепенно складывается целая школа прозаиков, публицистов, критиков, целая школа израильской литературы на русском языке. И это буквально за несколько лет. Мы в Израиле привыкли к всевозможным чудесам, и это нам кажется нормальным. А

ведь вообще-то тот факт, что появилась целая литературная школа — со своим лицом, своим стилем, своим общим — при всей плюралистичности взглядов — мировоззрением, — это действительно чудо. И в создании его — главная заслуга журнала "22".

*Из выступления поэта Юрия Колкера:*

Позвольте и мне приветствовать сегодняшних лауреатов. Я сравнительно недавно живу в Израиле и знаком с чествуемыми не в полной мере. Но, быть может, небезынтересными окажутся и несколько наблюдений, сделанных со стороны и издалека.

Журнал "22" бесспорно стал культурным событием в России. К моменту его появления свободная русская пресса уже не была там событием дня. Названия "Континент" и "Время и мы" уже прозвучали и нашли отклик в верхнем слое читающей публики. Редкие номера этих, почти "толстых" журналов ходили по рукам, обсуждались и волновали воображение. "22" дополнил этот ряд, легко вписавшись в контекст новой культуры, чему способствовали и почетная известность его основателей, и общая серьезность тона, взятого редакцией. Помню однако, что название, юношески заносчивое и отдающее авангардизмом, вызвало у меня поначалу некоторую настороженность. Но уравновешенный подзаголовок, где столь уместно реабилитировалось натерпевшееся слово "интеллигенция", а больше всего — сами публикации журнала быстро рассеяли это минутное недоверие. Я увидел, что журнал осуществляется профессиональными литераторами, что его страницы доступны представителям различных школ и направлений и что большинству авторов помимо литературной одаренности присущи широта и свобода в изображении и истолковании мира.

В том же духе восприняли журнал и другие читатели — евреи и неевреи. В мае 1984 года, за месяц до моего выезда, ленинградский историк литературы и правозащитник Иван Федорович Мартынов, известный своими разоблачениями русско-советского антисемитизма, в разговоре со мной назвал "22" лучшим русскоязычным журналом современности. Даже если усомниться в справедливости и непредвзятости такого суждения, самая его возможность в устах русского литературоведа говорит о многом...

Существование литературного журнала на русском языке в Израиле явилось выражением того факта, что эта маленькая ближневосточная страна сделалась одним из полюсов русскоязычной культуры. Сюда присылают тексты из России, Европы и Америки. Столь же широка и география обсуждаемых проблем. "Журнал еврей-

ской интеллигенции из СССР в Израиле" (таков подзаголовок "22") только выигрывает, публикуя Сергея Довлатова, Василия Аксенова, Иосифа Бродского, Дмитрия Бобышева и Юрия Кублановского. Выбери редакция иной путь, и даже кворум наших блестящих соотечественников, пишущих по-русски и являющихся основными авторами журнала, не избавил бы "22" от налета провинциальности. Очень хорошо, что этого не происходит. Изоляционизм был бы насильем над большинством из нас. Следование ему — тупиком.

Столь же бесплоден, на мой взгляд, и остро дискутируемый вопрос о том, — русскую или еврейскую культуру мы представляем. Он собственно не корректен, не имеет ответа в предложенных терминах, из которых самым неподходящим является местоимение "мы". Осознав необычайность своего положения, приняв как данность, что язык, на котором он следует велению своей совести, — русский, израильский писатель вправе не заботиться об остальном...

*Из выступления Александра Воронеля:*

Я рад, что жюри проявило почти музыкальную точность, выбрав именно такое сочетание коллективного и индивидуального, такую пару лауреатов. Очень многие еврей-интеллигенты в России на протяжении нескольких лет, в конце 60-х — начале 70-х годов, находились в несколько женственной позе — перед зеркалом. В культурной позе, которая нашла впоследствии столь совершенное индивидуальное воплощение в эссеистике Майи Каганской. Напряженное всматривание в зеркало русской жизни позволяло еврею примерить на себя различные культурные и жизненные роли, предлагаемые действительностью, чтобы принять, в конце концов, судьбоносное решение быть самим собой. Эта трудная работа, начатая нами еще в самиздатском сборнике "Евреи в СССР", где главным разделом был раздел "Кто я?" была успешно продолжена в условиях свободы нашим журналом "22". И возможно вследствие такого скрытого феминизма основной задачи в ней преуспело так много женщин: Майя Каганская, Нина Воронель, Нелли Гутина, Наталья Рубинштейн. И этот самиздат, и наш журнал следует рассматривать, конечно, только как часть того грандиозного события, которое со всеми нами произошло и в результате которого мы оказались в Израиле, так что, быть может, основная часть усилий, так сказать — жизненный контекст этих публикаций остается вне нашего внимания сегодня.

Еврей-интеллигент, пятьдесят предыдущих лет с напряжением

враставший в быт и культуру современной России, потерявший все фамильные признаки, кроме, может быть, отметки в паспорте (а некоторые утеряли и это), выталкиваемый из России стечением обстоятельств, за несколько лет прошел удивительный обратный путь “из русских в евреи” и оставил культурную летопись этого процесса. Поразительная особенность этой метаморфозы состояла в том, что она почти не потребовала собственно еврейского культурного влияния (не считая самой Библии, конечно), а совершилась почти целиком на материале русской культуры. Вот почему я говорил о зеркале. Разглядывая себя в темном зеркале прошлого в обрамлении русского культурного контекста (см., например, “Эссе о времени” Майи Каганской), сегодняшний израильтянин может увидеть глубинные корни своего нонконформизма. Вглядываясь в себя в упомянутом обрамлении, мы надеемся также разглядеть свое культурное будущее. Громадѣе богатство, которое досталось нам по случайности рождения, должно быть сохранено, исчислено и пущено в рост. Уже сейчас, вглядываясь в наше литературное зеркало, мы видим себя иначе, чем это было в России. Неузнаваемо изменился фон. Но, быть может, не меньше изменений происходит внутри нас. Мы не знаем, к чему это нас приведет. Мы не твердо знаем, для чего эта работа нужна. Но ведь мы еще меньше знаем, для чего существуют люди на земле и зачем среди людей существуют евреи. Однако меня не оставляет уверенность, что это очень нужно и важно. И нашему поколению, и последующим.

Каждому дан свой талант, и главная задача человека — не зарыть свой талант в землю. Вдвойне счастлив тот, кому удалось помочь своему ближнему не зарыть в землю и его талант. И не позавидовать. Я хочу сказать несколько слов о том, кто взял на себя неблагодарную задачу все наши недооформленные стремления, разрозненные чувства и пророческие предвидения объединить в рациональную, удобочитаемую форму и довести до стадии готового изделия, — о нашем главном редакторе Рафаиле Нудельмане. Быть может, хоть к сороковому нашему номеру читатель уже отметил тот ювелирный внутренний порядок, который царит внутри каждой книжки журнала. Ту музыкальную перекличку тем, красок, стилей и мыслей, которая превращает каждый номер в отдельное произведение искусства — в книгу. Те контрасты и совпадения, которые определяют индивидуальность и напряженность каждого номера. Наш журнал — плод коллективной работы, но он несет отпечаток индивидуального почерка, личного стиля. В журнале печатаются десятки авторов самых разных направлений, но между ними образуются неожиданные

параллели и контрасты, заставляющие задуматься о том, на что ни один из них, отдельно взятый, не натолкнул бы читателя. Всем этим журнал обязан своему главному редактору, который обдумывает и строит каждый его номер, как свою собственную книгу. Я хотел бы надеяться, что этот самоотверженный труд не пропал даром, ибо это тоже одна из граней общего дела.

*Из выступления Нелли Гутиной:*

Я — как раз тот, кто “разрешите омрачить праздник...” Я настроена настолько пессимистически, что не могу делать хорошей мины при плохой игре. По-моему, дела обстоят очень плохо. Я хочу пожаловаться и попросить сочувствия. Мне кажется, что эти премии — гуманный жест гуманных людей по отношению к группе, которая оказалась в трудной культурной и творческой ситуации. Ситуация эта действительно трудная.

Мы оторваны — я думаю, тотально и окончательно — от русской культуры, и я не думаю, что авторы, которые живут в Израиле уже десять, двенадцать и более лет, смогут еще долго делать вид, что они входят в русскую культуру. Лично у меня нет ни таких иллюзий, ни таких претензий. В то же время эта группа людей — и авторы, и русско-еврейская интеллигенция в Израиле в целом — не вошли в израильскую культуру. Таким образом, они оказались меж двух миров, оторвавшиеся от одного и не присоединившиеся к другому. Такого не случалось с прежними группами репатриантов, в этом отношении наша группа уникальна.

Оказавшись в этой ситуации, мы издаем журналы и пишем книги разве что друг для друга. Мы любим друг друга, и нам грозит реальное культурное кровосмешение, плоды которого не могут быть полноценны при любых, самых прекрасных стилистических усилиях. Нам угрожает скорое вырождение, если каким-то образом не поступит свежая культурная кровь... Может быть, сегодняшние награды — лучший повод задуматься не только над нашим прошлым, но и над нашим будущим?

*Рафаил Нудельман:*

Я затрудняюсь выразить, как я тронут этой церемонией и фактом награждения нашего журнала. Я принимаю этот диплом с благодарностью от имени моих друзей по редакции и всех авторов, без которых этот журнал был бы не “22”, а быть может “11” или даже, скорее, “2,5”.

Некоторое время назад один пылкий сионист, проживающий в Женеве и оттуда страстно интересующийся всем, что происходит на исторической родине, особенно в плане борьбы с антисемитизмом, столь досаждающим ему в галуте, выступил в русском эмигрантском издании, пророча нашему журналу скорую и, по его мнению, заслуженную кончину.

Судя по нынешней церемонии, слухи о нашей смерти были действительно сильно преувеличены.

Тем не менее вопрос, поставленный этим специалистом по русско-еврейской литературе, остается. В сущности, это извечный еврейский вопрос двадцатого века: зачем? Зачем быть евреем, если можно стать новым американцем, новым зеландцем, а на худой конец — новым каледонцем? Зачем жить в Израиле, если можно куда удобнее жить в Женеве, на Брайтон-бич или на худой конец в Кривоколенном переулке? Зачем, если ты уже еврей и к тому же живешь в Израиле, еще и выпускать вдобавок русскоязычный журнал? Как говорил Бялик, в такую жару подниматься в гору и еще говорить при этом на иврите — это уже слишком.

Я понимаю сантименты Розы Николаевны Эттингер и людей ее поколения, создавших фонды для поощрения русскоязычной литературы в Израиле. Это естественные сантименты людей, которые прошли трудности абсорбции, не сравнимые с нашими, и поняли, как важно помочь следующему поколению своих соотечественников. Но вопрос “зачем” все равно остается. Зачем помогать творить культуру на языке галута, на языке враждебной империи, на “не нашем” языке?

К счастью (или к несчастью) нашему мы прибыли в страну, когда великие битвы вокруг языка уже отгремели. Наследие предков, возрожденное Элизером бен Иегудой, победило на всем необозримом пространстве от Храмовой горы до центральной автобусной станции в Тель-Авиве. Идиш оттеснен в журнал Авраама Суцкевера, ладино стал курьезом, немецкий, болгарский, польский, румынский, испанский языки влачат семейное бытование, в лучшем случае достигая уровня разговоров в местной лавочке, а от русского остался лишь великий, могучий и свободный мат и любимая кибуцная песня “Полюшко-поле”. Выжили только два языка — арабский и английский, и это естественно, ибо арабский — это язык врага, а язык врага нужно знать, английский же — это язык наших друзей, и его тоже нужно

знать, чтобы понимать передачи израильского телевидения и время от времени обращаться на нем к друзьям за очередной финансовой помощью.

Итак, мы прибыли в страну в тот исторический момент, когда ивритский Давид, победив галутного Голиафа и занявшись сочинением псалмов, стал терпимее и снисходительнее и позволяет новоприбывшим думать, говорить и даже писать на их бывшем языке. Мы воспользовались снисходительностью израильской языковой таможни (где вы, Брест и Чоп?!), чтобы провезти в своих облезлых галутных чемоданах всяких Мандельштамов, Бахтиных, Высоцких и — о ужас! — даже Достоевских с Розановыми, которые, как известно, были всегда лишь заурядными антисемитами в отличие от Агнона. (Впрочем, кто не был антисемитом в тот или иной период своей жизни? Это как болезнь, просто у некоторых она хроническая.)

Мы воспользовались ситуацией, но это по-прежнему не снимает вопроса "зачем?"

Зачем мы издаем журнал на русском языке вместо того, чтобы слиться в экстазе с господами Гилем и Камяновым, которые давно призывают нас отречься от старого мира и отряхнуть его прах у порога ближайшей синагоги? Зачем мы трудимся вместо того, чтобы последовать призыву отшельника с берегов Женевского озера, сложить руки и тихо пойти на дно?

На это я мог бы ответить словами женщины из известного анекдота, защищавшей обряд обрезания: ну, во-первых, это красиво...

То есть, в первых строках моего письма я мог бы сказать, что оправдание культуры есть сама культура. Если она есть. Недавно мне довелось столкнуться с совершенно уникальной разновидностью ностальгии — по чужому прошлому. Молодой человек лет двадцати, сын известного нашего автора, которому в заморских даях дали Даля, с мечтательной грустью сказал мне — а вот в двадцатых годах в Париже, в эмиграции, вот это была культура!..

Господа, нас мало, но мы в тельняшках! Берусь утверждать, что наша Майя Каганская язвительностью своего пера не уступает мадам Гиппиус, наш Зеев Бар-Селла не менее эрудирован, чем господин Мережковский (и куда менее скучен), наша еврейская идея в исполнении Александра Воронеля звучит не менее увлекательно, чем русская в исполнении Николая Бердяева, а что касается их темных аллей, то у нас найдутся на них не менее темные

харьковские подворотни. Нас мало, но среди нас есть эссеисты и критики, поэты и прозаики, публицисты и драматурги, литературоведы и философы и даже несколько авторов малых форм в лице Галкина, Малкина, Чалкина и Залкинда. Залкиндов, по моему, даже несколько, в том числе один Залкиндер. Поэтому я с негодованием отмечаю ностальгию молодого сына уважаемого отца. У них премия Даля, а у нас премия Ценципера, у них Воля России, зато у нас Наша Страна, за ними Земля и Воля, а за нами Народ и Земля, у них были Современные Записки, верно, но ведь у нас есть "22"...

Но я не числом сражаться хотел, а смыслом. И это возвращает нас к вопросу "зачем?" Зачем целых 22? Нельзя ли было, как я уже сказал, ограничиться скромными двумя с половиной?

Ну, во-первых, как я уже отметил, это красиво. А во-вторых, это гигиенично. Ибо культура, господа, — я имею в виду подлинную культуру — это также и гигиена. Гигиена духа. Ведь культура это прежде всего иерархия, а иерархия — это отсекование всего, что не культура и что лишь засоряет ее. Культура и возникает-то в противостоянии и противопоставлении себя неупорядоченному догутенберговскому хаосу, в котором автор Исповеди монахини кое-кем почитается вторым Жан-Жаком Руссо, а летописец горских евреев соперничает в умах с Иосифом Флавием.

Повторяю, культура это иерархия, и журнал пророк ее. Недавно мы спорили об этом с Александром Воронелем, перечисляя, кто из наших авторов стал автором благодаря тому, что стал нашим, и кто бы им не стал ни за что, как упомянутый летописец. Я далек от мысли, что Майя Каганская не получила бы сегодня премию Р. Н. Эттингер, не будь на свете журнала "22", но я в то же время убежден, что ни один журнал, кроме вышеупомянутого, не решился бы опубликовать ее изыскания об иудейских корнях мандельштамовского виноградника, с которого началась ее шумная слава. Не говоря уже о седьмой повести Белкина, которой она поставила себя в ряд с Пушкиным, Набоковым, Ходасевичем и Зощенко сразу. Мы явили миру вредную, как потом объяснила Ривка Рабинович из незабвенной газеты Наша Страна, повесть Юрия Милославского (хотя позже он, как это часто бывает с капризными и избалованными талантливыми деями, покинул отчий кров и вженился в другую семью). Мы подняли с постели хладно скучавшего Якова Цигельмана и заставили его дописать Похороны Моше Дорфера, и эта похоронная тема так его увлекла, что он не смог



остановиться, пока не завершил ее Убийством на бульваре Бен-Маймон. Мы раскачали Зеева Бар-Селлу так, что он зрелым структуралистским яблоком упал на наши страницы. Нелли Гутина принесла нам первую после долгого творческого перерыва статью, и что мы сделали с Гутиной? Мы сделали ее одним из самых популярных авторов по ту и эту сторону океана. Кто, кроме нас, мог бы открыть публициста в физике Марке Азбеле, переводчика в инженера Валерии Кукуе и прозаика в переводчице Юлии Винер? Я мог бы назвать открытых нами человечеству Исаака Гиндиса, Бориса Полякова, Кирилла Тынтарева, Александра Донде, Ефима Фиштейна и еще великое множество имен, образовавших ту отборную команду, которая сделала нам имя — в обмен за то, что мы сделали имя им.

Кого же мы отбирали, как мы строили эту иерархию культуры, по какому признаку? Кто он, типичный автор "22", создающий, так сказать, лицо журнала? Недавно я читал статью Юрия Колкера, выпустившего в Ленинграде самиздатский литературный сборник, и там Колкер пытался набросать типический портрет автора этого сборника. Оказалось, что этот автор: а) еврей, — что совсем неудивительно в климате советской культуры, б) крещеный еврей, что, пожалуй, тоже неудивительно, учитывая особенности ленинградского климата и в) антисемит, что вообще неудивительно, ибо, как сказал Жаботинский, если отец ассимилятор, то сын крещеный, а внук обязательно антисемит, мы же живем в эпоху акселерации, и одному поколению приходится решать сразу все исторические задачи галута.

Но я хотел сказать не о тех, а о наших авторах. Или о лице журнала. Или, еще проще, о лице культуры. Две особенности замечаю я в них. Одна необходима, хотя и недостаточна для культурного строительства, и это — высокая нравственная брезгливость. Брезгливость к рабскому состоянию, к духовной измене и физическому дезертирству, к пошлости, бездарности и демагогии. И как обратная сторона — высокое уважение к мысли, к слову, к свободе, в том числе к свободе мысли и слова, даже если эти мысль и слово чужие. Что не исключает, впрочем, столь же высокого, порой прямо-таки титанического уважения к своей мысли и слову, ибо, как хорошо, а главное честно сказал еще один наш автор Эдуард Кузнецов, моя правда лучше, потому что она моя.

Вторая особенность, для культурного строительства, пожалуй, достаточная хотя и не всегда необходимая, — это возвышенная

любовь к игре. К той замечательной и глубокомысленной игре, которую увековечил Герман Гессе. Культура выросла из игры, как это показано сначала Пантагрюэлем, а уже затем Бахтиным, и если она развивается, то не по требованию партии, правительства или соборно-производственных отношений, а по духу свободной игры, тому самому, который реет, где восхощет. Впрочем, стоит заметить, что чаще всего это хотя и игра, но с самыми серьезными последствиями — как для общества, так и для автора. Вот сегодня Майя Каганская получает премию, но спросите у Майи Каганской, что она получала предыдущие восемь лет своих игр в Израиле. В лучшем случае, извините, гонорары...

Так вот, наш типический автор играет на страницах нашего журнала свою глубоко личную игру. Он доказывает, как Богуславский, что Иудейская война была спором с Римом за мировое господство, или, как Воронель, что израильтяне — это новые афиняне и спартанцы разом, воины с книгой, которую именно им суждено сохранить для человечества после третьей мировой войны; или, как Рубин, заявляет, что евреи вообще марсиане, а то утверждает, как Бар-Селла, что все марсиане во главе с Аэлитой — антисемиты. Он низвергает Бердяева и Тростникова, как Вайскопф, или, на худой конец, Виктора Перельмана, как Наталья Рубинштейн. Он предполагает, как Хейфец, что допрос Бегина в ГУЛаге повернул мировую историю в пользу евреев, или призывает, как Гутина, убедить палестинцев повернуть по меньшей мере историю Ближнего Востока — в пользу все тех же евреев. Он позволяет себе, как Нина Воронель, высмеять восхитившую всех левых картину Красные, или, как Рафаил Нудельман, говоря о другой картине, сравнить Израиль с родным одесским двором и неканонически изобразить не менее родного пророка Исаяю, за что его немедленно зовут к ответу смертельно серьезные люди из журнала КиноР, бывшего Сион, в девичестве Блокнот агитатора.

Увы, нас то и дело зовут к ответу. Нас последовательно обвиняли в антисемитизме, юдофилии, антисионизме, сионистском провинциализме, русопадстве и русофобии, сотрудничестве с ООП, левизне, правизне и вообще идеологической хромоте и близорукости, в поощрении неширы и неуважении к евреям галута, а также в неуважении к самим себе и к еврейскому наследию, включая посягновения на Илишаева, Бутмана и другие еврейские святыни. Не говоря уже о все тех же Мандельштамах, Достоевских и высокомерно-непонятном названии журнала. Что касается послед-

него, то я не понимаю, что тут непонятного, если каждый автор, как я уже сказал, ведет на нашем поле свою игру, как у старика Хоттабыча с его двадцатью двумя мячами на одном поле, и потому лучше обратиться к этому вздорному старику, у которого можно заодно выяснить, не еврей ли он тоже. Что же до прочих обвинений, то я мог бы, как это делают все мужчины, пожаловаться, что жена меня не понимает. Нас действительно не понимают, хотя, к счастью, не наши жены. Нас не понимают, принимая нас смертельно серьезно, тогда как мы всего лишь играем в игру. В высокую игру, или, если хотите, в высокую болезнь, которая называется культура.

Из сказанного понятно, почему основной жанр нашего журнала — это игровой и личностный жанр эссе, о чем, в свою очередь, тоже написано эссе. И понятно, почему ведущий стилиевой признак наших авторов — это ирония, за что их предали анафеме господин Сопровский вкупе с Дмитриевым. Однако в первоисточнике сказано, что человечество должно, смеясь, расставаться со своим прошлым, и мы, робко относя себя тоже к человечеству, следуем этому завету. Наше прошлое было смертельно серьезно, шаг вправо, шаг влево считался идеологическим побегом, нас окружала колючая проволока неприкасаемых истин, и мы, смеясь, расстаемся с ними. И настаиваем на своем праве, более того — долге пионеров-первопроходцев проверять в мысленном эксперименте, разыгрывать и подвергать творческому сомнению любые новые догмы, которые нам предлагают, будь то в литературе, политике или в жизни.

Как видите, наша игра — не самоцель. И тут настало время произнести слово, которое в последнее время считается едва ли не неприличным в русско-еврейских кругах. Слово это — сионизм. Дело в том, что все мы сионисты. Но как сказал другой первоисточник, мы сионисты особого склада. Мы, может, последние оставшиеся на земле сионисты-идеалисты, законсервированные сибирские мамонты от сионизма. В наше вынужденное отсутствие Сохнут успел уже перемигнуться с Хиасом, что пульса нет и потому в период развернутого сионистского строительства деньги решают все. Но нас не спросили! Между тем мы по наивности еще продолжаем думать, что хотя деньги это хорошо, и если слава приходит одна, то пусть приходят деньги, но такие слова, как еврейский народ и еврейское государство, имеют за собой не только материальный смысл. Как сказал третий первоисточник, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Нам нужно. Мы смеем

думать, что диалог еврейства с Богом, к которому, как сказал Гершензон, другие народы только прислушиваются заинтересованными свидетелями, — этот диалог продолжается и после Освенцима. И что в этом диалоге, а точнее извечном коллективном монологе, обращенном в будущее, есть, должно быть место и для еще двадцати двух наших голосов. Каждая индивидуальная авторская игра, о которой я говорил, есть в действительности такой монолог, спор с судьбой, очередная схватка Иакова в его одинокой ночи, напряженное отстаивание именно такого будущего и такого Израиля, идеал которого мы провезли в своих облезлых галутных чемоданах через снисходительно-демократичный израильский таможенный контроль. Я могу выразить этот идеал — весьма приблизительно, конечно, — сказав, что в нем Израиль видится как один большой журнал "22", а лозунг сионизма звучит так: от каждого на его языке и каждому — по его агаде. "Им тирце..." Или еще лаконичнее, в духе какого-то там Ляя: сионизм — это мы.

Сделать сказку былью и Израиль таким, как мечталось, — это, согласитесь, хотя и скромная, но благородная задача. Каждый решает ее, как может. Один лечит, другой пишет, третий играет на бирже. Хор этих голосов вздымается к небу, и еще неясно, чей будет услышан, так что надежда есть. Среди них есть и наш голос, людей, для которых из всех искусств, включая телевидение, важнейшим является литература, и поскольку она на русском языке, нам остается уповать, что Господь наш хоть и един, но многоязычен, и на наш журнал тоже подписывается. Я даже думаю, что он подписывается также на Круг, Алеф, Возрождение, Менору и даже на Кинор и Нашу страну, несмотря на ворчание своего министра финансов: зачем этим русским евреям столько журналов? лучше объединились бы и провели своего человека в Кнессет...

На это я мог бы ответить словами четвертого великого первоисточника — если курица есть, значит, кто-то должен ее скушать. Но я лучше отвечу словами Рабиновича, которого спросили: — Что такое, месье Рабинович, ваша дочь родила незамужем? — Нет, а что? — ответил Рабинович. — Но мы видели ее кормить грудью ребенка, — сказали ему на изысканном русско-еврейском языке. — Подумаешь, — сказал Рабинович, — если у девушки есть время и есть молоко, почему ей не покормить ребенка?

У нас есть время и молоко. Точнее, времени у нас нет, но время, которого у нас нет, это желание, которое у нас точно есть.

Ибо, как вы понимаете, есть время собирать камни за пазухой, и есть время разбрасывать по стране журналы.

Нам повезло, что мы приехали в такое время, когда израильское общество и культура еще достаточно молоды, чтобы можно было разбрасывать по стране газеты, журналы и даже отдельные выдающиеся книги на чуждом сионизму языке. Но не будем преуменьшать и наши собственные заслуги. Прежние волны репатриантов прибывали в еще менее зрелое общество, но они пошли иным путем. Я не буду сравнивать нас с польской, румынской или даже арабской алией. Не буду говорить об американской, за спиной которой стоит объединенная мощь Далласа, Корабля любви и всех прочих кораблей шестого флота. Но есть алия, во многом сходная с нашей, — немецкая.

За ее спиной тоже стояла имперская культура, а в ее сердце была изжога культурных разочарований. Однако эта алия не создала того обилия изданий, которое создали мы, она не породила термина “немецкоязычная культура в Израиле” и уж тем более не присудила ни одной литературной премии. Она растворилась в Израиле, и единственным свидетельством ее этнического прошлого осталось слово “йеки” и музей в Нагарии.

Конечно, скажете вы, времена были другие. Но мне кажется, главное состояло в том, что они были беженцами, а мы выбрали Израиль свободно. И выбрали его не просто как убежище от антисемитизма (хотя и это было), но и как историю в пути. Разве только Амосу Озу и Сами Михаэли позволено творить эту историю и ее культуру? У нас такие же права. Согласно Закону о Возвращении — даже с поправкой на Галаху.

Но одна проблема остается — и останется — для нас неразрешимой, и если о ней не сказать, мы разойдемся отсюда, как с того дружеского вечера, в программе которого было: первое — тосты со взаимными приветствиями и выпивка, второе — тосты со взаимными приветствиями и выпивка и третье — опять тосты со взаимными приветствиями и выпивка. Проблема эта — язык. Язык наш — дом наш. Но мы напоминаем двудомные растения: наша устная Тора — Израиль, наша письменная Тора — русский язык. О, если бы на иврите существовали ассоциации, позволяющие понять словосочетания, вроде Мастер Гамбс и Маргарита или Трепет забот иудейских, наши авторы, я уверен, получали бы не только премии имени Ценципера и Эттингера. Увы...

Я не знаю, как решить это противоречие. Немецкая алия, о которой я говорил, решила его ассимиляцией в иврите. В результате она умерла, как немецкая, но дала израильской культуре Бубера и Шолема. Я не хочу сказать, что наш язык убивает наших потенциальных Буберов и Шоломов, но даже то, что у нас есть, остается израильскому обществу почти неизвестным, и это — наша объективная трагедия. Помню, кто-то говорил о Ломоносове — что толку, если он даже открыл закон сохранения, если наука об этом не узнала и это не повлияло на ее развитие? Частично это, конечно, вина израильского общества, которое туго на все уши, кроме ивритского и американского. Но частично это наша проблема. Мы сделали первый шаг к ее решению, создав журнал, в котором собрались лучшие, талантливейшие авторы нашей русско-сионистской эпохи, — журнал, который дал им родной кров, свободную трибуну и теплое признание читающих масс. И это было нашим частичным ответом на извечный вопрос “зачем?” Теперь нам нужно сделать второй шаг, завершить ответ и явиться израильскому миру. Если гора не идет к Магомету, то Магомет, как известно, идет к горе. Мы ходили к горе. Мы открыли свои страницы Амосу Озу, Алеф Бет Иошуа, Иуде Амихаю, Моше Шамиру, Аарону Мегеду, Ханоху Левину и десяткам других израильтян, вплоть до рава Кахане — за что нас в очередной раз, кстати говоря, призывали к ответу. Мы перевели их на русский. Теперь нам нужно самих себя перевести на иврит — не в прямом, а в переносном смысле слова. Для решения такой задачи нам нужно было бы — только для начала — не одна, но десять, как минимум, премий имени Розы Николаевны Эттингер, в их финансовом эквиваленте. Но и одна — это тоже хорошо. Это почетно и это обязывает. Поэтому примите нашу искреннюю благодарность и, как говорится, извините за внимание.

*Майя Каганская:*

Первая обязанность юбиляра — благодарность. Вот и я приношу свою живейшую благодарность г-ну Колкеру: если бы не его выступление, я, как, очевидно, всякий юбиляр, чувствовала бы себя на собственных похоронах.

А это, быть может, интересно, но не особенно приятно, поскольку жанр “похороны” традиционно требует лицемерия. Слава Богу, этого не случилось. Мне дали понять, что я жива, слишком жива,

неприятно жива. Обещаю в этой форме задержаться как можно дольше.

Я выражаю искреннее соболезнование г-же Гутиной, хотя, по чести говоря, не очень хорошо понимаю, почему нужно жалеть молодую одаренную журналистку и в чем таком ей должно страдать. Но, как говорится, ей виднее... Если же ее жалобы и призывы носят не личный, а, так сказать, альтруистический и коллегиальный характер, то есть имеют в виду и меня, — тут я решительно отмежевываюсь. Во-первых, это было бы неблагодарностью по отношению к собравшимся. Во-вторых, любимое мною сопоставление литературы и жизни предполагает не только общие, но и частные моменты сходства: всякий литератор знает, что неудачна не та рукопись, в которой все плохо, а та, в которой нет ничего хорошего. Если же в груди исписанных листов (или прожитых дней) найдется хотя бы одна удавшаяся страница или даже фраза, — можно и нужно все остальные подтянуть до уровня находки, а жизнь — соответственно — пересмотреть и “переписать” с точки зрения хотя бы одного счастливого дня. Сегодня для меня — одна из таких страниц: день, ради которого стоило жить. День тем более счастливый, что совершенно неожиданный: я получила премию из рук трех профессоров.

Мои отношения с представителями этой весьма уважаемой мною касты складывались всегда самым неблагоприятным образом: профессора меня не любили. Несмотря на все знаки почтения, уважения, внимания, готовности с жадностью и благодарностью ловить любое профессорское слово, они мне не верили. Меж тем я всегда мечтала быть любимой ученицей; в самом слове “профессор” есть для меня нечто неизъяснимо обаятельное, быть может, потому, что это звание, которого мне не достичь никогда.

И все же что-то в мире изменилось: или я остепенилась, или, что вероятнее, три уважаемых и любимых мною профессора проявили эксцентричность, не свойственную их сословию, присудив премию литератору, который, по счастливому выражению г-на Колкера, “расшатывает основы космоса и умножает энтропию”.

И еще одно счастливое обстоятельство: сегодняшний праздник я разделяю с журналом “22”.

По утверждению психологов, человек не может вообразить число больше 10-ти в виде чего-нибудь конкретного. Что касается десятки, она легко моделируется двумя руками. Дальше — темнота... Истинность этого научного постулата я проверила на собственном опыте: “22” вызывает в моем сознании только один образ — образ его редактора Рафаила Нудельмана. Возможно,

причина тому иная, хотя тоже психологическая — любовь. Я люблю своего редактора. И вовсе не потому, что он “редактирует”, то есть его критика нелицеприятна, глаз — остер, а красный карандаш беспощаден. Автор, я думаю, не нуждается в редакции. Свои промахи он знает сам, если не вышло — значит, муза пролетела мимо, прошелестела рядом, задела крыльями и — улетела, и никакой редактор тут не поможет.

Автор нуждается не в критике и не в правке — он нуждается в любви. Редактор “22” всегда ждал моих страниц с нетерпением любящего читателя, и в той мере, в какой текст есть послание и требует адресата, гарантировал мне чувство преодоленных одиночества и пустоты. А это чувство — “в никуда и никому” — самое тяжелое и привычное для литератора.

Чтобы выйти на дальние дистанции, литература нуждается в ближайшем окружении, только оно дает ей разгон, интонацию, голос, “окраску” и то чувство принадлежности к роду человеческому, которое даруется писателю после смерти, а при жизни исходит лишь от современников, соучастников, сочитателей, то есть — от группы. То, что мы — литераторы, пишущие по-русски — маленькая (кстати, не такая уж маленькая) группа — это и есть необходимое и достаточное условие существования литературы. Она всегда начиналась в группах, компаниях, сообществах, содружествах и, думаю, там и закончится.

Я уверена, что когда Пушкин прочитал вслух первую строчку “Евгения Онегина”: “Мой дядя самых честных правил...” — друзья ответили громким хохотом: русская литература была тогда, скорей, “прекрасным союзом” друзей, нежели союзом писателей, содержала не так уж много текстов, строчка басни Дмитриева: “Осел был самых честных правил...” была у всех на языке и на слуху. Поэтому слушатели сразу поняли, что дядя — осел и что дальше тоже будет смешно. Оно и было смешно, только следующие поколения стали слишком серьезными. Хохот ушел вместе с теми, кто смеялся, но жажда бессмертия в слове, бессмертного слова, владевшая пушкинскими современниками, — осталась. Современники сделали ставку на Пушкина — и не просчитались.

Я считаю потерянным не то поколение, которое потеряло свои идеалы. Идеалы — как зонтик или кошелек: один потерял, другой подберет, не это поколение, так следующее, а то и через одно или два.

Потерянное поколение — это поколение, потерявшее своих писателей. Чтобы сохранить во времени образ жизни, стиль быта и одежды, облик городов и улиц, достаточно кинокамеры и фотоаппарата. Но сохранить особый образ мысли, неповторимый



стиль сознания, только однажды найденный круг чтения и представлений может только литература.

Что значит потерянное поколение, поколение без литературы, мы знаем по опыту литературы советской. Мы помним, с какой жадной страстностью поколение 60-х годов выдвигало в гении тех, кто ими не был. С недоумением, смехом и ужасом мы перебираем сегодня тексты, которыми восхищались 20 лет назад: наше стремление остаться во времени превышало возможности тех, кто на себя эту роль брал.

Литература — это преодоление времени и потому не нуждается ни в оправдании, ни в снисхождении. Эта ее задача выходит за рамки языка вообще, конкретного языка — в частности, условий и обстоятельств места и времени — и полностью определяет психологию писателя, как особого типа человека.

Под временем я понимаю и историческое время, которое писатель разделяет с другими, и то частное, "бытовое" время, которым — как, впрочем, и любой человек — владеет по праву личной собственности.

Всякий литератор знает, как непохоже время, проведенное над рукописью, на время, проведенное без нее. Одинаковое выражение "провести время" в двух этих случаях означает совершенно разные вещи: время над рукописью — это время, которое ты "провел", "обвел вокруг пальца", короче — обманул, оставил, обошел; время жизни — это время, которое провело тебя.

Жизнь наедине с написанным, точнее — с пишущимся словом — это и есть эмиграция. Эмиграция из жизни. Поэтому у писателя психология эмигранта или — мягче — школьника, сбежавшего с уроков. Он одержим муками совести; ему стыдно перед соучениками, послушно отсиживающими урок. И вот, чтобы утихомирить совесть и смягчить всеобщее осуждение, он приобретает вид занятого делом человека, жалуется на усталость, часто и некстати злоупотребляет личными формами глагола "работать" и вмешивается в политику и чужие семейные распри, иными словами — ищет все, что связывает его с людьми. На самом же деле эта связь дана ему изначально.

Есть в русской литературе такое любимое выраженьице: "общественная позиция писателя". Я же думаю, что писатель — это и есть общественная позиция. Для него не существует слова "зачем?" и проблемы свободы: он всегда знает, чем ее заполнить. Если же кто-либо, несогласный со мной, собирается для опровержения потревожить тень Льва Толстого, скажу сразу, что он напрасно беспокоится и беспокоит: рукописи Толстого, призывающие к отказу от искусства, так же "затоптаны" следами по-

исков выразительного слова, как и те, на которых завитки волос выбиваются из прически Анны Карениной или жарко косит глазом Фру-Фру. Пропась между Толстым-художником и Толстым-религиозным реформатором — иллюзорная: в обоих случаях он оставался писателем.

Нет ничего более чуждого литературе, чем религия: вера — это послушание и смирение перед авторитетом и миропорядком, литература — бунт против авторитетов и несогласие с устройством мира, будь то общество или космос. Литература требует не веры, а понимания и воображения, и я думаю, что писатель всегда атеист, даже если в своем человеческом быту он верующий: кому хватает изначально данного миру смысла, тот не возьмется за перо, чтобы собственным разумом осветить хотя бы самый малый мировой закоулок.

...Литератором я стала только в Израиле, хотя писала всегда и всегда знала, что писательство — лучшее из человеческих занятий и состояние человека, сгорбившегося над своей рукописью, — высшее состояние личности. Но только в Израиле «высокая болезнь» перешла в хроническую, стала обыденным содержанием жизни. Почему? — Ответ не прост, но он есть.

...Каждое утро меня, как, очевидно, и большинство из вас, будят голоса пустыни — завывание муэдзина и крики осла. Первый же взгляд в окно упирается в дикое, неприрученное иерусалимское небо. Утром, днем, к вечеру под окнами слышен сухой монотонный шорох — это проходят стада коз и овец. Я не люблю коз и овец на улицах городов, потому что они напоминают мне старые, читанные в детстве книги по древней истории, в которых главы, повествующие о гибели цивилизаций, неизменно заканчивались словами: "...и на том месте, где был некогда город, бродят теперь овцы и козы." И если молитва муэдзина и крик осла подсказывают время, когда меня здесь не было, — козы и овцы под окнами напоминают о времени, когда меня здесь не будет.

Чтобы смириться с таким пейзажем, освоить его чувством, глазом и, главное, словом, нужно либо полное отсутствие воображения, либо большое мужество. И если есть воображение — где взять мужество?

Для меня его источник — в соседнем доме. Вот уже несколько лет с той же неотменяемостью и неотвратимостью, с какой муэдзин молится, осел — кричит и шуршат под окнами овцы и козы, — некто в соседнем доме разучивает эту Шопена. Не играет, но именно разучивает. Утром, днем, вечером. Любовно, упорно, безуспешно... Мне никогда не хотелось увидеть носителя этих героических уси-

лий, чтобы не поколебать созданного воображением образа: я знаю, что это девочка-подросток из "русской", конечно, семьи; вместе с фортепьяно ее родители вывезли твердое убеждение, что как там ни сложись жизнь, а музыка — это верный кусок хлеба и прилежанием можно всего достичь... Но и самого блестящего пианиста в самом блестящем концертном зале я не слушала с такой благодарностью, как эту беспомощную девочку. Потому что здесь, на краю неба и пустыни, я слушаю не музыку, а то, ради чего она возникла, — преодоление пустоты. В неумелом исполнении пропустили защитные, я бы сказала — чисто метеорологические свойства музыки, в которых мы здесь так нуждаемся: в жару и хамсины даже простая гамма напоминает о первой пробежке дождя по крышам и приносит запах влаги, а шопеновский этюд — это уже настоящий ливень... С перебоями, срывами и затишьями, как и положено ливню. Мне даже досадно, что девочка, как будто, чему-то научается и играет все лучше, но, быть может, мне это только кажется, потому что, я, как и ее родители, верю, что музыка — это хлеб и усердием можно многого достичь.

Если Бог и создал мир, то музыка, слово, все, что мы называем культурой, созданы только человеком, это его выбор, его свобода, его творчество. Как и жизнь, культура не нуждается в оправдании. Но в жизни принято искать смысл, культура же не нуждается и в этом, потому что сама по себе она и есть смысл.

Я стала литератором в Израиле, потому что здесь вызов со стороны так называемого естественного, "Божьего" мира ощутила более грозным, чем в России вызов со стороны советской власти, и я прибегла к тому единственному средству защиты, которым располагала, — слову. Здесь, на святой земле и именно в силу ее святости, пришлось задуматься уже не о "связи литературы с действительностью" (это роскошь, возможная только там, где литература воспринимается как нечто само собой разумеющееся, на равных с природой), но о литературе как форме жизни и о человеке в облике писателя.

Писатели, конечно, люди и все-таки немножко другие. Для людей, например, написанных уже книг всегда в избытке, так что, в сущности, новые как бы и ни к чему. Писатель начинается с того, что ему книг не хватает, и он пишет книгу, которую хотел бы прочесть, если бы кто-нибудь другой ее написал.

Подобно людям, писатель боится смерти и старости, и поскольку писатель человек, он горячий поклонник культа молодости. Подобно всем людям, но острее, чем они, писатель связывает с

молодостью не только красоту и обаяние, но и надежду на обновление жизни, и в каждом новом поколении видит возможность победы над косностью быта, затверженностью бытия. Его надежды, как и большинства людей, не оправдываются: чем старше человек, тем больше он похож на окружающих, на свое время, свое поколение. Оригинальность уходит вместе с молодостью.

Но у писателя ход времени — обратный. Все молодое в писателе, даже поэте, живущем куда более ускоренно, — стандартно, похоже на других. Молодой писатель, как правило, намного более консервативен, чем просто молодой человек. Но чем старше человек, тем моложе в нем писатель, чем дряхлее рука, тем тверже перо, чем слабее мышцы, тем мускулистее фразы. Поэтому пожелайте мне долголетия.

Благодарю всех.

**КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"**

готовит к выпуску новые книги:

**ИГОРЬ ГАРИК (ГУБЕРМАН). ЕВРЕЙСКИЕ ДАЦЗЫБАО**  
(книга третья)

150 стр.

Сборник новых иронических и философских стихотворных раздумий известного автора, прошедшего жестокий опыт тюрем и ссылки. Предварительная цена 8 долл.

**АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ. СБОРНИК СТАТЕЙ**

200 стр.

Сборник статей, написанных в России и Израиле и развивающих темы известной книги того же автора "Трепет иудейских забот". Предварительная цена 12 долл.

**ЛЕОНИД ЦЫПКИН. ЛЕТО В БАДЕНЕ**

300 стр.

В сборник произведений безвременно скончавшегося замечательного писателя войдут роман "Лето в Бадене" (о Достоевском) и ряд рассказов. Предварительная цена 12 долл.

**ДАВИД ТАКСЕР. ИСК**

200 стр.

Остросюжетная автобиографическая повесть о судьбе советского офицера-перебежчика, выданного англичанами советским властям, развертывается на фоне оккупированной Германии 45-го года. Предварительная цена 10 долл.

Заказы и чеки принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

## ОЧЕРКИ И ВОСПОМИНАНИЯ

23 апреля 1981 года многотысячные силы сирийской безопасности были стянуты к окраинам города Хама. Ими руководил брат президента Асада Рифаат. Операция преследовала одну-единственную цель: преподать жителям Хамы наглядный урок. Вот уже два с лишним года режим Асада не мог справиться с политическим брожением в стране. Акты саботажа на военных предприятиях, нападения на правительственные здания — все это было делом рук подпольной организации "Мусульманские братья", которая стремилась свергнуть алавитскую власть. Местоположение штаб-квартиры организации было неизвестно, но считалось, что Хама — один из важнейших ее оплотов. Братья Асады решили, что настал час научить жителей города повиновению "на сирийский манер".

Незадолго до полуночи силы безопасности вошли в Хаму. Они окружили районы, где, по сведениям, концентрировались сторонники "Мусульманских братьев". Сотни людей, включая подростков, были вытащены из домов, выстроены у стен и изрешечены пулеметными очередями. Трупы были оставлены на улицах — в назидание прочим. Лишь через несколько дней их сволокли в наспех вырытые ямы. Официальные сообщения

*Зеев Хефец*

БЕЙРУТ, ИЛИ ВЕЛИКОЕ  
МОЛЧАНИЕ ПРЕССЫ

о количестве жертв, разумеется, опубликованы не были; но по оценкам их число достигало 350.

Если вы никогда не слышали об этой резне (или спутали ее с иной, более грандиозной, в феврале 1982 года, когда в той же Хаме погибло, по слухам, 20 тысяч человек), то вините в этом западную прессу. Многие руководители западных газет и агентств печати тоже никогда не слышали о ней. Узнать о трагедии в Хаме смогли лишь те американцы, которые заметили небольшую корреспонденцию из Бейрута, появившуюся на страницах "Вашингтон пост" два месяца (!) спустя. Автор заметки, Эдуард Коди, сообщал, что "Пост" воздерживался от публикации, пока не получил независимого подтверждения, что такая трагедия действительно состоялась.

Но ведь в Бейруте находились десятки западных корреспондентов. Почему же эта история всплыла только через два месяца? И почему все другие американские газеты и агентства, а также три главные телекомпании так и не упомянули о ней? В седьмом абзаце своей заметки Коди пытается объяснить этот удивительный факт в следующих дипломатических выражениях: "Слухи о резне циркулировали в Дамаске и Бейруте в течение последних двух месяцев; однако обстановка, сложившаяся в результате покушения на корреспондента агентства Рейтер Дебусмана и угроз, полученных корреспондентом Би-Би-Си Ллевеллином (то и другое — после опубликования ими материалов, расцененных в Дамаске как антисирийские), не благоприятствовала широкому освещению событий, происходящих в Сирии".

Смысл этого абзаца очевиден: журналисты знали о резне в Хаме, но боялись сообщать о ней.

Трудно обвинять западных журналистов в излишней осторожности. Мусульманский западный Бейрут, где они, в основном, квартировали, находился под оккупацией Сирии и стал ареной непрекращающегося насилия, террора и запугивания.

Бейрут не всегда был таким. Еще в начале 70-х годов это был один из изысканнейших ближневосточных городов. Западные журналисты называли его "оазисом либерализма" в арабском мире и превозносили его свободную и живую печать. Но в 1970 году Организация Освобождения Палестины, потерпевшая поражение в своей попытке свергнуть иорданский режим, перенесла штаб-квартиру на ливанскую территорию. Здесь, к вящему неудовольствию опасавшихся за свою гегемонию ливанских хри-

стиан, она вошла в союз с мусульманами. Этот союз нарушил равновесие сил в стране, и в 1975 году Ливан охватил пожар гражданской войны. Западные газеты стали направлять в Бейрут все больше своих корреспондентов. ООП поняла, что ее действия оказались под испытующим взглядом западной прессы, и поспешила прибегнуть к своим испытанным методам воздействия на нее.

Этими методами были угрозы, шантаж и насилие. Когда однажды, еще в Аммане, корреспондент журнала "Ньюсуик" Милан Кубич опубликовал статью о связях ООП с европейскими террористами, он вскоре получил приглашение встретиться с "важным человеком" из руководства ООП. Кубича доставили в ооповский пресс-центр и там пригрозили физической расправой, если он продолжит свои разоблачения. После этого Кубич покинул Амман.

Парадоксально, но одним из первых западных журналистов в Бейруте, на котором были опробованы эти приемы, оказался Уильям Мармон из журнала "Тайм", известный своими антиизраильскими настроениями и пропалестинскими симпатиями еще со времен работы в Израиле. Его жена тогда преподавала в колледже Бир-Зейт, этом гнезде палестинского радикализма. Мармон полагал, что все это сыграет ему на руку в Бейруте, куда он был переведен в 1975 году. Он ошибся. Летом того же года сотрудники ливанской безопасности сообщили помощнику Мармона, палестинцу Абу Саиду, что ООП постановила "ликвидировать" западного журналиста в отместку за то, что он работал в Израиле. Мармон связался с американским посольством, где ему посоветовали отнестись к угрозе со всей серьезностью. Тем не менее Мармон решил остаться в Бейруте. Он направил Абу Саиду на переговоры с ООП, и тот сумел как будто достичь компромисса. Однако в канун Нового года в оффис Мармона заявили вооруженные палестинцы, чтобы "рассчитаться" с журналистом. На этот раз угроза подействовала — Мармон вылетел из Бейрута первым же утренним рейсом и больше никогда не возвращался на территорию, находившуюся под контролем ООП. Он так и не узнал, почему его имя попало в черный список "врагов палестинской революции".

Вторым бежал от ООП бейрутский корреспондент чикагской газеты "Трибюн" Филипп Капуто. За два года до этого он уже был однажды задержан палестинцами по обвинению в "шпионаже" и 5 дней пробыл в их руках. После освобождения перед ним долго

и старательно извинялись, — но из “списка”, видимо, не вычеркнули, потому что в октябре 1975 года его снова схватили на улицах Бейрута. Как писал позднее Капуто, “палестинцы проверили мои документы, а потом приказали идти в сторону улицы Хамра; но стоило мне отойти метров на тридцать, как один из них открыл по мне огонь. Я крикнул, и тогда второй осыпал меня градом пуль, одна из которых попала мне в левую руку, а другая — в правую. До Хамры я добрался ползком...”

Капуто был доставлен в ближайший госпиталь, а позднее эвакуирован в США. Когда после некоторого перерыва “Трибюн” снова открыла свой ближневосточный оффис, он размещался уже не в Бейруте, а в Тель-Авиве.

Летом 1976 года Бейрут стал, по словам Джеймса Маркэма из “Нью-Йорк таймс”, “одним из самых диких и варварских мест на земле”. Десятки тысяч ливанцев погибли в ходе войны, и палестино-мусульманский альянс медленно, но уверенно шел к победе. Тогда, по продиктованному из Дамаска “приглашению” беспомощного и фиктивного ливанского правительства, сирийские войска вторглись в страну и поспешили на помощь христианам. Над западными журналистами нависла новая угроза.

Первый удар сирийцев был направлен против местной прессы. 4 января 1977 года ливанское правительство по их настоянию ввело чрезвычайное положение и беспрецедентный для Ливана закон о цензуре, а сирийские солдаты захватили помещения семи бейрутских газет и выгнали оттуда всех сотрудников.

К 1978 году сирийская оккупация Ливана стала свершившимся фактом, и Бейрут окончательно распался на мусульманскую западную и христианскую восточную части. Сирийцы порвали первоначальный союз с христианами и теперь сотрудничали с ООП, вместе с ней контролируя западную часть столицы. На улицах хозяйничали вооруженные советскими автоматами палестинские “борцы”, порой не старше 15–16 лет, и почти каждый журналист уже побывал под их огнем. Контроль сирийцев над ливанской печатью то ужесточался, то смягчался, в зависимости от обстоятельств, но к 1980 году он достиг своей высшей точки. Этот год ознаменовался убийством двух ливанских журналистов — Салима Лавзи и Рида Таха. Лавзи, редактор умеренного журнала “Аль-Хавадесс” был похищен в феврале, на похоронах матери, а 6 марта газета “Нью-Йорк таймс” сообщила: “Тело замученного арабского журналиста, похищенного 10 дней назад неизвестными лицами,



было обнаружено вчера в лесу местным пастухом... Мистер Лавзи неоднократно подвергал критике различные арабские страны, прежде всего Сирию и Ливию”.

Газета тщательно избегала любых гаданий о том, кем были “неизвестные лица”, но в бейрутском отеле “Коммодор”, где обычно собирались западные журналисты, почти не сомневались, что убийство — дело рук молодчиков Рифаата Асада.

23 июля того же года Бейрут был потрясен новым убийством — на этот раз жертвой стал Риад Таха, в течение многих лет возглавлявший ассоциацию издателей Ливана. И хотя убийство произошло среди бела дня, полиция и на сей раз “не смогла” найти убийц, которых в “Коммодоре” упорно связывали с сирийской или иракской разведкой. В тот же день ушел в отставку только что освобожденный “неизвестными похитителями” руководитель ливанского телевидения и покинул Бейрут редактор и издатель независимой газеты “Ан-Наар”. Запугивание и террор стали повседневным явлением.

Принудив к молчанию ливанскую прессу, сирийцы принялись за представителей прессы западной. Первой их жертвой стал Берндт Дебусман, руководитель бейрутского бюро агентства Рейтер. Он сумел раздобыть и опубликовать информацию о восстании против Асада в сирийском портовом городе Латакия. Некоторое время спустя, 5 июня, вскоре после полуночи, когда Дебусман и его жена вышли из дома коллеги-журналиста, устроившего у себя вечеринку, они были обстреляны “неизвестными лицами” из промчавшейся мимо них машины. Раненный в спину, Дебусман был доставлен в госпиталь и позже эвакуирован из Бейрута.

Покушение не было неожиданным. Сразу же после того, как Дебусман начал публиковать свои сообщения о восстании в Латакии, его посетил сотрудник ливанской службы безопасности, который предупредил журналиста, что за ним “охотятся” два вооруженных сирийца. Затем последовала серия звонков в бюро с целью установить местонахождение Дебусмана и странный визит никому не известного сирийского “коллеги”, который попросил у Дебусмана фотографию. Друзья посоветовали Дебусману покинуть Бейрут, но он отказался.

Вечеринка, после которой на Дебусмана было совершено покушение, происходила в доме корреспондента Би-Би-Си Тима Ллевеллина. Спустя несколько недель и этот журналист вынужден был покинуть Бейрут. Он получил серию предупреждений, когда

начал публиковать сообщения о трудностях, переживаемых режимом Асада. Затем некий сирийский "посредник" уведомил нескольких дипломатов, что Ллевеллин и его помощник Мюир "подвергают себя опасности". Британское посольство заявило протест сирийским властям, но получило циничный ответ, что за безопасность в Бейруте отвечают власти Ливана. Этого было достаточно. Ллевеллин и Мюир бежали на Кипр и провели там несколько недель, пока Би-Би-Си пыталось договориться об условиях, на которых им разрешат вернуться в Ливан. Из переговоров ничего не вышло. Ллевеллин, как и Дебусман, был переведен в Африку, Мюир остался в Никозии, новый ближневосточный корреспондент Би-Би-Си Гордон Лич перевел свое бюро на Кипр, и все бейрутские операции Би-Би-Си были свернуты.

Однако не свернуты были запугивания. В том же месяце "Нью-Йорк таймс" сообщила, что бейрутский корреспондент "Фигаро" Йорг Стокман "внезапно отозван из Ливана, так как, по слухам, получил предостережение от сирийцев". Эта капля переполнила чашу, и западные корреспонденты в Бейруте собрались на тайное совещание, чтобы обсудить, как сопротивляться сирийскому давлению. Как писал позже один из них, они пришли к выводу, что "единственная защита состоит в максимальной гласности". Опасаясь, однако, что сообщения об угрозах, отправленные из Бейрута, могут только ухудшить ситуацию, они обратились в свои редакции на Западе с просьбой посвятить этой теме редакционные статьи. Лишь считанные редакции выполнили эту просьбу своих корреспондентов.

Сирийский террор имел один неожиданный результат: в сравнении с ним отношение ООП к западной прессе стало казаться журналистам благожелательным. На фоне сирийской нетерпимости ООП, позволявшая печатать даже неблагоприятные для себя сообщения, действительно могла показаться "либеральной"; но западные журналисты не понимали, что эта кажущаяся "либеральность" — не более, чем ловкий ход, с помощью которого ООП навязывала им свои правила игры. Да, она позволяла западным журналистам писать — но при условии, что они не будут касаться определенных "щекотливых" вопросов; она разрешала им оставаться в западном Бейруте — но при условии, что они докажут, что не являются "врагами" палестинской революции. Увы, многие западные журналисты видели лишь пряник и не за-

мечали кнута. А между тем кнут незримо висел над их головами — и не замедлил просвистеть.

В мае 1979 года в Бейруте был убит 38-летний Роберт Пфейфер из немецкого журнала "Штерн", книга которого о контактах между ООП и группой Баадер-Майнхоф вышла незадолго до того. Как обычно, убийцы скрылись и никто не занялся расследованием преступления. Но по словам одного из коллег Пфейфера, "едва ли не все западные журналисты в Бейруте были уверены, что Боб погиб из-за своей книги".

Продемонстрировав границы своего "либерализма", ООП перестала культивировать "дружеские связи" с теми журналистами, которые поняли намек. Постепенно многие западные корреспонденты стали невольными соучастниками этой игры. Почти все они жили в отеле "Коммодор", который находился под контролем ООП и был наводнен ее наблюдателями; те же из журналистов, которые жили в других местах, широко пользовались услугами местных палестинцев для получения информации о событиях. Даже дома многих журналистов "охранялись" людьми ООП. Питер Ранке, шпрингеровский ближневосточный корреспондент, с изумлением рассказывал, что один из его коллег в западном Бейруте находился под постоянным присмотром приставленного от ООП "часового", который, якобы "охранял" запасы ооповского продовольствия, находившегося в подвале дома.

Порой такая "охрана" приобретала откровенно циничные формы. Например, после убийства Пфейфера представители ООП дали понять, что сами займутся "расследованием"; то же повторилось после убийства — в следующем году — корреспондента Би-Би-Си Сина Тулана. Тем не менее многие западные журналисты настолько уверовали в "благожелательность" ООП, что приняли эти заявления за чистую монету.

Многие из них были также убеждены, что они обязаны помочь ООП в ознакомлении Запада с палестинской точкой зрения. Как писал Винсент Шодольский, бывший руководитель бюро ЮПИ в Бейруте, "конечно, мы пытаемся быть объективными, но когда живешь здесь, ежедневно встречаешься с палестинцами, посещаешь лагеря беженцев, то невольно стремишься рассказать обо всем, что видишь". Вдобавок, многие из западных корреспондентов были убежденными сторонниками идеологии так называемого "национального освобождения Третьего мира" и активно

поддерживали "палестинскую революцию". Эта позиция сказывалась и на их отношении к ливанским христианам. Хотя христиане тоже могли рассказать кое-что о событиях в Ливане, западные журналисты редко представляли их точку зрения, почти не появлялись в христианском секторе Бейрута и уж конечно не содержали там ни одного офиса.

Мало какая профессия так подвластна стадному инстинкту, как профессия журналиста; поэтому когда такое пропалестинское отношение западной прессы в Бейруте укоренилось, оно стало почти обязательным для всех. ООП больше не приходилось оказывать давление на завсегдаево отеля "Коммодор", ей оставалось только следить за новичками, не допуская в Бейрут нежелательных ей журналистов. Одним из таких оказался известный европейский репортер Ганс Бенедикт, назначенный ближневосточным корреспондентом австрийского телевидения. Когда он обратился в ливанское посольство в Вене за визой, то к величайшему своему изумлению получил отказ, причем ливанский чиновник откровенно сказал ему, что этот отказ исходил не от ливанского правительства, а от ООП. ООП невзлюбила Бенедикта после того, как он взял интервью у ее представителя в Австрии Хуссейна в связи с нападением на израильский пассажирский автобус на приморском шоссе у Тель-Авива. Разоткровенничавшийся Хуссейн заявил тогда, что террор против женщин и детей является легитимным оружием палестинской революции, и это шокировало австрийских зрителей. Ливанский чиновник в Вене долго извинялся перед Бенедиктом, а потом объяснил, что все визы для бейрутских корреспондентов нуждаются в утверждении ООП. "Если мы попросим их о визе для вас, — добавил он, — то их люди будут ждать вас у выхода из аэропорта". Бенедикт, который занимался арабскими делами с 1946 года, способен был оценить серьезность угрозы. Он направился в ливанскую столицу только в 1982 году, когда ООП уже убралась оттуда.

Еще более откровенные предупреждения получил телекорреспондент Эй-Би-Си Джеральдо Ривера, когда в начале 1981 года отправился в Бейрут для съемок документального фильма. До этого он побывал в Израиле, где встречался с экспертами по ООП и беседовал с пленными террористами в израильских тюрьмах. На следующий день после прилета в Бейрут Ривера имел встречу с представителем ООП Либади. На встрече присутствовали вооруженные террористы, и вся беседа проходила под дулами авто-

матов. "Я бывал во всяких переделках, — писал позднее Ривера, — и опасность для меня не в новинку, но тут я отчетливо ощущал скрытую угрозу во всем, что говорил Либади, во всей обстановке встречи".

Угрозы оставались скрытыми, пока Ривера работал над своим фильмом, но когда фильм вышел на экраны, ООП предупредила его в открытую: "Не появляйся больше в западном Бейруте, иначе..." "Неизвестные люди" звонили Ривере домой, в Калифорнию, и угрожали смертью; а когда он в начале 1982 года снова оказался в Бейруте и хотел посетить западную часть города, ему заявили напрямую, что появляться там ему не стоит — на него заготовлен смертный приговор.

Кульминация этого запугивания наступила в мае 1981 года. В эти дни положение в Ливане было напряженным, отношения между Израилем и Сирией обострились, израильская авиация регулярно бомбила палестинские базы на побережье, и журналисты в Бейруте со дня на день ожидали массированного израильского вторжения. В один из майских вечеров, когда Йонатан Рэндэлл из "Вашингтон пост", Уильям Фаррелл из "Нью-Йорк таймс" и его коллега Джон Кифнер из той же газеты собрались на вечеринку у Кифнера, им сообщили, что вторжение началось — израильтяне высадились у Дамура. Несмотря на поздний час, они решили отправиться на место событий. По пути они заглянули в "Коммодор", где коллеги, коротавшие ночь за стойкой бара, высмеяли нелепые слухи о вторжении; тем не менее Рэндэлл, Фаррелл и Кифнер (к которым присоединились Джулиан Нунди из "Ньюсуик" и Уильям Фоли из Ассошиейтед пресс) кое-как втиснулись в машину и направились в сторону Дамура. Туда они, однако, не добрались: на окраине Бейрута им преградила дорогу санитарная машина медицинской службы ООП, и вооруженные палестинцы потребовали от них предъявить документы. Забрав у журналистов их удостоверения, палестинцы отвели их в какое-то помещение с тесными, похожими на гробы одиночными камерами и продержали там около двух часов. Затем каждого из пятерых раздели, обыскали, снова одели и по одиночке допросили. Двум из них во время допроса угрожали физической расправой. В целом арест и допросы продолжались 20 часов. Лишь после этого журналистов выпустили и позволили им вернуться в Бейрут. На обратном пути Кифнер предложил обсудить, нужно ли сообщать в газеты о случившемся. Как писал позднее один из

пострадавших, "мы решили не распространяться об этом инциденте, чтобы не усложнять ситуацию..." Видимо, чтобы не усложнять ее для ООП...

\* \* \*

Вся история палестино-сирийской оккупации западного Бейрута, с 1975 по 1982 год, — это непрерывная история террора против журналистов, грубого и откровенного в случае сирийцев, тонкого и скрытого в случае ООП. Некоторые журналисты сопротивлялись этому террору и платили своей жизнью, карьерой или доступом в Бейрут; другие, полностью или частично, подчинялись давлению и соглашались "равняться на остальных". А в отношении ООП многие и не нуждались в особом давлении.

Эта ситуация привела к тому, что многие стороны ливанских и сирийских событий: крайности асадовского режима, хозяйничанье палестинцев в Южном Ливане, их связи с международным терроризмом — не освещались в западной прессе вообще или освещались лишь изредка и односторонне. И уж конечно не предавались гласности случаи репрессий, преследований и запугивания журналистов.

Но это означало, что читатели не могли правильно оценить даже те сообщения, которые они получали из Бейрута. Тот, кто не знал об атмосфере угроз и насилия, никак не мог заподозрить, что сообщения из Бейрута проходят фильтр страха, осторожности и самоцензуры; и тем более не мог представить, что некоторые сообщения не поступают вообще, потому что корреспонденты соответствующих газет и агентств изгнаны из ливанской столицы. Большинство редакций полностью умалчивали об этом, видимо, полагая, что общественности незачем это знать.

Конечно, были исключения: "Чикаго трибюн" подробно осветила историю Капуто; "Ньюсуик" посвятил целую страницу покушениям на западных журналистов в 1976 году; но по мере того, как гражданская война затягивалась и журналисты свыкались с ситуацией, сообщений об угрозах и запугиваниях становилось все меньше. Убийство Пфейфера было едва отмечено; похищение и убийство Лавзи было лишь коротко упомянуто несколькими газетами и вовсе не упомянуто остальными; "Тайм" решил не предавать огласке историю преследований Мармона; Би-Би-Си сначала обошла молчанием историю изгнания из Бейрута ее кор-

респондентов Ллевеллина и Мюира и только после провала “переговоров” с ООП лаконично и с запозданием сообщила об этом; Рейтер, крупнейшее в мире агентство новостей, столь же сдержанно информировало о покушении на своего корреспондента Дебусмана, не упомянув о предшествовавших этому сирийских угрозах; Эй-Би-Си посвятила убийству своего репортера Тулана всего 30 секунд (!) экранного времени (две другие американские телекомпании вообще игнорировали это событие); вынужденное бегство из Бейрута корреспондента Си-Би-Эс Пинтака, угрозы, полученные Нилом Темко из “Кристиан сайенс монитор” и, наконец, захват пяти американских журналистов весной 1981 года прошли, в основном, вообще незамеченными.

Сочетание арабского террора и журналистского страха перед ним было чревато последствиями не только для миллионов читателей и зрителей на Западе, но и для Израиля, втянутого в борьбу с Сирией и ООП. Люди, которые не получали никакой информации о действиях ООП в Южном Ливане, внутренних событиях в Сирии или связях ООП с международным терроризмом, воспринимали израильскую озабоченность этими проблемами как “паранойю”, а израильскую реакцию на них — как “чрезмерную”. Когда же Израиль пытался привлечь внимание к тому, что происходит в Сирии или Ливане, его призывы наталкивались на недоверие — ведь, в конце концов, в Бейруте было множество западных журналистов, которые уж конечно слышали бы о палестинском минигосударстве в Южном Ливане, если бы такое существовало, или о массовых убийствах в Сирии, если бы таковые происходили!

Будучи руководителем пресс-центра израильского правительства, я по долгу службы сталкивался со многими западными журналистами. Некоторые рассказывали такие истории преследований, от которых волосы вставали дыбом; другие откровенно признавались, что есть такие ближневосточные темы, которых они предпочитают не касаться. Почти два года я ждал, что западная пресса заговорит о терроре против своих журналистов в Бейруте, и наконец, не дождавшись, в феврале 1982 года решил действовать сам. Последним толчком послужила передача Эй-Би-Си об израильской политике в Иудее и Самарии, в которой эта телекомпания вообще отказалась изложить израильскую точку зрения. Я знал, что Эй-Би-Си недавно имела неприятности с ООП в Бейруте, и решил, что между этими двумя фактами может су-

ществовать прямая связь. Я пригласил к себе Давида Шиплера из "Нью-Йорк таймс" и предложил ему взять у меня интервью о запугивании арабами западной прессы. Два дня спустя это интервью было опубликовано в парижской газете "Интернейшнл геральд трибюн", которая является со-изданием "Вашингтон" пост" и "Нью-Йорк таймс", но в самой "Таймс" оно появилось только 10 (!) дней спустя, да и то в урезанном виде — без тех абзацев, где речь шла о захвате пятерых журналистов и замалчивании этого факта западной прессой. Тем самым газета лишний раз подтвердила мой тезис, что западная печать наложила на себя самоцензуру, стараясь этим оградить свои деловые интересы.

Я попытался заинтересовать этой историей другие американские газеты, но мне повезло только с "Чикаго трибюн", которая спустя несколько дней поведала читателям, как "Нью-Йорк таймс" наложила цензуру на мою статью о ее самоцензуре. 18 февраля "Нью-Йорк таймс" сообразовалась откликнуться на это; коротко сообщив, что я обвинил газету в замалчивании захвата пяти журналистов, автор статьи продолжал: "В нашей газете принято сообщать о трудностях, с которыми сталкиваются корреспонденты, лишь в том случае, если эти трудности сами являются заслуживающей внимания новостью, чего в данном случае не было..."

Судя по всему, критерии того, что является "заслуживающим внимания", изменились в газете буквально за считанные дни. Еще недавно она под крупными заголовками опубликовала статью Юсуфа Ибрагима, который описывал свой переход из Иордании в Израиль по мосту Алленби. Поскольку он прибыл на пограничный пункт без предупреждения и при нем были кассеты с записями бесед с лидерами ООП, это насторожило израильскую службу безопасности, и она на несколько часов задержала Ибрагима для допроса. Поразительно, с каким возмущением он описывал эту задержку и допрос. А ведь его не запирали в камеру, не держали под арестом 20 часов и не угрожали оружием, как пятерым его коллегам в Бейруте! Почему же его "трудности" показались газете более заслуживающими внимания, чем история тех пятерых? Видимо, отбирая сообщения о "журналистских трудностях, заслуживающих внимания", редакторы "Нью-Йорк таймс" руководствуются весьма специфическими критериями...

Но если "Таймс" все-таки решила слегка приподнять завесу молчания, то "Ньюсуик" оказался куда менее смелым. После моего интервью журнал опубликовал статью Нунди, в которой



тот, никак не объясняя свое длительное молчание после захвата палестинскими террористами, старался лишь всячески преуменьшить важность этого события, расписывая, как извинялись перед ним потом. При этом он странным образом ухитрился ни словом не упомянуть, что журналисты были похищены под угрозой оружия и что двум из них в ходе допроса угрожали физической расправой.

Третье из упомянутых мною изданий, "Вашингтон пост", вообще поначалу игнорировало всю историю. Лишь через несколько недель, когда Мартин Перец в "Нью рипаблик" опубликовал статью "Заговор молчания", в которой подчеркнул, что "Пост" ни словом не обмолвился о захвате террористами своего корреспондента, газета сквозь зубы признала, что в моих обвинениях есть "доля правды" — но только в отношении сирийцев! Что же касается ООП, продолжала "Пост", то эта организация относится к журналистам крайне благожелательно, "тактично защищает американское посольство в Бейруте и часто выручает репортеров из неприятностей..." Непонятное же молчание своего журналиста газета оправдывала его "флегматичностью".

Эта история проливает определенный свет на всю редакционную политику "Вашингтон пост". Рецепт этой политики прост: щепотка халтуры, щепотка самонадеянности и большая ложка пристрастия, продиктованного тем, что под угрозой оказалось "доброе имя" ООП, чьи интересы газета давно и успешно защищает. Ибо стоит заглянуть в ее анналы, чтобы обнаружить, что "Пост" регулярно публикует статьи о мельчайших случаях преследования своих корреспондентов. Она посвятила 17 абзацев факту слежки за ее репортером в Румынии; 22 абзаца — аресту и допросу своего сотрудника в Боливии; особое сообщение — тому факту, что индонезийские власти не возобновили визу третьему ее репортеру; длинную статью — условиям работы своих корреспондентов в Польше; и наконец целый подвал — вызову сотрудника газеты московскими властями в связи с опубликованием им материалов, которые Кремль счел для себя "оскорбительными". Только когда соответствующие власти оказываются руководством "умеренной националистической организации" (как газета именует ООП), их действия немедленно перестают "заслуживать внимания".

Что же до "флегматичности" Йонатана Рэндэлла, то он почему-то вовсе не был таким флегматичным, когда его похитили в пре-

дыдущий раз. В 1975 году он опубликовал в своей газете пространную статью "Утро в руках повстанцев", в которой поведал, как несколько вооруженных людей арестовали его и продержали под арестом в течение двух-трех часов — не двадцати, упаси Боже, и не в камере, и не под дулом Калашникова, и даже лично доставили потом с извинениями в дом американского посла. Тем не менее статья была написана с возмущением и создавала у читателя чувство угрозы и опасности, висящей над западными журналистами в Бейруте; попутно она создавала определенную рекламу и самому автору — читатель узнавал, что Рэндэлл побывал в Алжире, что он побывал во Вьетнаме, что он говорит по-французски, хладнокровно ведет себя в опасных ситуациях и спит в боксерских шортах и черной майке. Странно, что аналогичные переживания шесть лет спустя почему-то не побудили Рэндэлла написать столь же волнующий репортаж. Может, все дело в том, что тогда, в 1975 году, его похитителями были не оповцы, а "всего-навсего" ливанские коммунисты?!

\* \* \*

Взятые вместе, все эти инциденты составляют позорную страницу в истории западной журналистики. Ведь главный ее принцип — это правдивость сообщаемого материала, равно как и информации обо всем, что на это сообщение влияет. Но за последние семь лет ведущие западные газеты, телеграфные агентства и телекомпании незаметно стали активными соучастниками в процессе сокрытия от общественности правды о многих важных сторонах ливанских событий, равно как и правды о положении западных журналистов в Ливане. Подчинившись запугиванию и согласившись на умолчание, западные средства массовой информации тем самым изменили своим принципам, своим традициям и своим читателям.

Вышла в свет книга Беур Бриа "Мессия", представляющая новое Божественное откровение, в котором на основе Трикнижия Моисея и современной науки изложена стройная теория творения и развития Богом земного мира, с открытием будущей судьбы человечества, а особенно народа Израэл. Цена книги 12 долларов (в Израиле 10000 шек.). Заказывать: Бедрицкий, PОВ 28065, Тель-Авив, Израиль.

Цена книги 12 долларов (в Израиле 10000 шек.). Заказывать: Бедрицкий, PОВ 28065, Тель-Авив, Израиль.

## ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

*Очередным гостем  
Израиля в последние  
месяцы был видней-  
ший английский исто-  
рик лорд Алан Бул-  
лок, автор известной  
книги "Гитлер: иссле-  
дование тирании". Он  
выступил в иеруса-  
лимском институте  
Ван-Лир с лекцией о  
связи истории с сов-  
ременностью, кото-  
рую мы предлагаем  
вниманию читателей.*

Алан Буллок

**СТОИТ ЛИ ОГЛЯДЫВАТЬСЯ  
НА ПРОШЛОЕ?**

Вопрос, который я хотел бы обсудить, звучит странно, когда обсуждаешь его в Иерусалиме — городе уникального исторического опыта. Но в мире мало таких городов, зато все больше людей, которые утверждают, что история не только потеряла сегодня всяческое значение, но и должна была его потерять, и процесс этот благотворен. По мнению этих людей, войны и революции XX века полностью разорвали связь настоящего с прошлым, а быстрота переживаемых нами изменений и все нарастающий их темп делают восстановление этой связи более невозможным. И не только темп, но и масштабы этих изменений, говорят они, стали сегодня драматически и качественно новыми. Если за восемнадцать первых столетий новой эры население мира всего лишь утроилось, с 50 до 150 миллионов, то за последние сто пятьдесят лет оно выросло уже в пять раз, обещая достичь к концу века шести с лишним миллиардов. Нам говорят, что условия человеческой жизни, и, прежде всего, жизни городской, радикально изменились. Средневековый Париж, этот центр цивилизации, насчитывал не более 100 тысяч жителей; Венеция в пору наивысшего расцвета не превышала 80 тысяч; Рим, этот величайший город древности, едва достигал миллиона; даже в 1800 году в мире было еще всего два миллионных

города — Кантон и Лондон, тогда как в 1985 году таких городов насчитывается больше ста, причем 35 из них имеют население свыше 3 миллионов. Не понятно ли, что означает для человеческой жизни это изменение масштабов и самой скорости изменений?

Конечно, говорят отрицающие историю, изменения происходили и раньше; но тогда они происходили достаточно медленно, чтобы люди успели к ним приспособиться. Сегодня же скорость становления нового стала так велика, что прошлое кажется стремительно уносящимся от нас в чудовищную пропасть небытия. Даже там, где связь между прошлым и настоящим не была насильственно разорвана конвульсиями войн и революций, эта связь стала хрупкой и, практически говоря, несущественной.

Таково убеждение, исповедуемое сегодня многими. Говоря о современности, все чаще подчеркивают, что она ориентирована не на прошлое, а на будущее. Именно оно, будущее, призвано решить те уникальные проблемы, с которыми столкнулось наше настоящее. Искать же их решения в прошлом, по распространенному мнению, бессмысленно, хотя бы потому, что прошлое не знало таких проблем. Поэтому современность все больше занята заглядыванием в будущее, попытками угадать его тенденции и приспособиться к нему, а не возвращением к урокам прошлого. Русская поговорка: "Кто старое помянет, тому глаз вон" — кажется, лучше всего передает этот новый дух нашей эпохи.

Но радикальные изменения происходят не только в физических и социальных условиях человеческого существования. Они ощущаются и в культуре, где тоже происходит резкий разрыв с интеллектуальными и духовными традициями прошлого. Начиная с 80-х годов прошлого века Европу захлестнуло движение модернизма, вызвавшее революцию не только в литературе, но и в искусстве, науке, психологии и социальных дисциплинах. Этот период, продолжавшийся до 30-х годов нашего столетия, был временем одного из высших творческих подъемов в истории Запада — может быть, даже его последним таким подъемом. Но в отличие от своих предшественников в европейской культуре — ренессанса и романтизма, модернизм, во всех своих исключительно разнообразных проявлениях, имел то общее, что начисто отвергал или игнорировал прошлое и черпал свое вдохновение в будущем. Исследователи модернизма неоднократно отмечали, что главным в нем был именно этот разрыв с прошлым. История, как непрерывность и преемственность культурной традиции, отвергалась модернизмом как нечто бесполезное и устаревшее.

Таковы вкратце причины, по которым все возрастающее число людей в современном мире полагают, что прошлое утратило

всякое значение для того быстро и радикально меняющегося, высоко организованного, высоко технологизированного настоящего, в котором мы живем, и что обращение к истории есть не более, чем попытка бегства от серьезного дела реальной жизни. И замечу, что для многих людей в этой идее освобождения от бремени прошлого есть нечто в высшей степени привлекательное и облегчающее.

Я хотел бы противопоставить этой идее несколько возражений. Я позволю себе начать с нескольких важнейших политических проблем, занимающих сегодня наши умы. Первая такая проблема — Польша. Можно ли понять ситуацию современной Польши без учета многовековой истории вражды между поляками, русскими и немцами, без учета истории борьбы польского народа за независимость, роли католической церкви в этой борьбе, истории установления коммунистического режима в Польше? В качестве другого примера возьмем Северную Ирландию. Факторы, определяющие ее ситуацию, не объяснимы иначе, чем в исторической перспективе, и это тоже очевидно каждому. Я нарочно выбрал два европейских примера, чтобы подчеркнуть, что подобные проблемы не ограничены хорошо знакомым вам Ближним Востоком, но, конечно, Ближний Восток — тоже прекрасная иллюстрация того, что корни многих современных конфликтов уходят в историческое прошлое народов. И то же относится к Африке. Хотя колониальные империи перестали существовать, отношения между африканскими странами и Западом во многом продолжают определяться историей этих империй. В качестве последнего примера я мог бы упомянуть о ядерном оружии. Тут перед нами, на первый взгляд, нечто действительно новое, что не было известно истории. Но при всей новизне этого фактора, политическая арена, на которой он действует, — это арена, сформированная прошлым: система так называемых “национальных государств”, отношения между которыми продолжают определяться старыми принципами соперничества, подозрительности и соревнования. И точно так же обстоит дело всюду, куда мы ни глянем: современность есть неразрывное сочетание качественно нового с чем-то, унаследованным из истории.

Опыт XX века знает две грандиозные попытки покончить с прошлым — русскую и китайскую революции. Обе они в этой своей попытке не считались с тем, каких человеческих страданий это будет стоить, — ни в своей начальной фазе гражданской войны, ни в фазе последующей — сталинских коллективизации и индустриализации и маоцзедуновской культурной революции. Даже не загадывая, каково будущее этих попыток, уже сегодня можно с уверенностью сказать, что ни один из этих режимов не преуспел

в своей надежде порвать с прошлым. В обоих случаях прошлое властно вмешалось в настоящее в виде сопротивления насильственным переменам. Сталинская политика привела к продолжающейся по сей день стагнации советского сельского хозяйства, которую не мог преодолеть ни один из последующих советских лидеров. А попытка Сталина сломить сопротивление прошлого с помощью жесточайших репрессий — сначала против крестьянства, а затем против собственной партии и армии, — привела лишь к тому, что вместо того, чтобы преодолеть прошлое, Сталин добавил очередной его пласт к истории своей страны, тем самым сделав еще более трудным ее приспособление к неизбежным переменам.

В Китае сегодня ни о чем так охотно не говорят, как об изменениях и новшествах. При этом китайские лидеры подчеркивают, что хотели бы избежать ошибок своего советского соседа. Они хотели бы использовать достижения своей революции для создания более справедливого общества посредством широкой программы модернизации. Эта программа предусматривает отказ от догматической идеологии и принятие прагматического подхода, позволяющего нащупать специфически китайский путь модернизации, совместимый с историческими традициями Китая. Как сказал во время встречи с нами президент Ли: "Наша прежняя ошибка состояла в том, что мы пытались гладить историю против шерсти". В этих словах содержится примечательное признание того неумолимого факта, что настоящее всегда представляет собой неразрывную комбинацию преемственности и изменений.

Этот факт может быть столь же убедительно проиллюстрирован на примере совсем другой революции — иранской. Революция Хомейни стала возможной и даже неизбежной именно потому, что шах в своей попытке модернизировать Иран в жизни одного поколения игнорировал силу исламской традиции в иранской истории. И в этом месте я хотел бы напомнить вторую часть приведенной выше русской поговорки. Ибо она имеет и вторую часть, и эта часть гласит: "А кто старое позабудет, тому оба глаза вон!"

Все это не означает, что я против изменений. Как и многие другие, я испытываю порой сильнейшее желание покончить с прошлым, отбросить его, преодолеть, отвергнуть, порвать со всеми его кризисами, несправедливостями, жестокостями, чтобы на чистом месте построить более справедливое и разумное общество будущего. Но прошлое не поддается преодолению посредством простого усилия воли. И поэтому наша задача — искать такие способы внесения в мир изменений, которые не будут направлены "против шерсти" истории. А это требует не отрицать ее значение, а учиться использовать ее уроки. Ключ к этому, на мой взгляд, состоит в учете специфического хода истории в каждой стране, ибо изменения, учи-

тывающие такую специфику, должны легче усваиваться этой страной. Такой путь кажется мне предпочтительней произвольного социального конструирования в историческом вакууме. Я думаю, что здесь в Иерусалиме, была сделана и делается попытка идти именно по такому пути. Но позвольте мне упомянуть другой пример, который, на мой взгляд, незаслуженно мало обсуждается, — пример Японии. Мне кажется, что в истории не было более успешной революции, чем та, которая с начала 1860-х годов до начала XX века превратила Японию из изолированной феодальной монархии в первую азиатскую страну, способную встретиться с Западом на равных, будь то в области войны, промышленности или торговли. И примечательно, что эта цепь радикальных перемен проходила под лозунгом не революции, — каковой она, несомненно, была, — но “реставрации”, восстановления императорской власти, присвоенной شوгунами из рода Токугава. Это была очевидная маскировка, но именно она позволила японцам избежать разрыва с прошлым и сочетать вводимые ими изменения с наиболее важными традициями, которые они унаследовали из своей истории. И даже пережив поражение на войне, японцы сумели найти силы и способы возобновить этот процесс модернизации в формах, совместимых с их уникальной национальной традицией.

Я хотел бы далее обратить внимание на другую сторону проблемы. В подтверждение тезиса, что формируя свое будущее, мы не можем позволить себе игнорировать свое прошлое, было бы, мне кажется, уместным напомнить также об определенных особенностях человека, как биологического вида. Вспомним, прежде всего, что человек является продуктом эволюционного процесса, развертывающегося во времени, то есть процесса исторического. Далее, каждый человек сам по себе тоже есть существо историческое, ибо он живет во времени, и только это позволяет ему подняться до самосознания и самоопределения. В-третьих, каждый человек получает в наследство весь опыт прошлого, как коллективного достояния человечества, и только благодаря этому может стать социальным существом. Конечно, человек не может генетически передать приобретенный им в ходе индивидуальной жизни опыт, как думал Ламарк, но он может передать и передает его посредством воспитания, культуры и социализации. И в этом смысле традиция и опыт тоже являются орудиями биологической эволюции, поскольку с их помощью люди передают потомкам все то, что позволило им занять господствующее положение в природе.

Все эти особенности позволяют нам определить человека, как “существо, обладающее прошлым”. Существо, не только пассивно формируемое историей, но и активно формирующее себе подобных с помощью истории — будь то на уровне индивидуума, коллектива или всего человеческого рода. И это подкрепляет мою глубокую

убежденность в том, что лучшим способом приспособления человека к новому является не поспешное и бездумное отрицание старого (что, скорее, увеличивает сопротивление переменам), а пристальное внимание к тем негенетическим средствам, с помощью которых новообретенный опыт передается от поколения к поколению, помогая им приспособиться к изменениям. Чтобы покончить с этой частью моих рассуждений, напомним только, что важнейшим из этих средств является язык, а всякий язык есть историческое явление, глубоко укорененное в прошлом данной человеческой группы.

До сих пор я говорил о прошлом, как о необходимости. В этом смысле прошлое устанавливает границы человеческой свободы. Но прошлое является также одним из источников этой свободы. Я утверждал, что прошлое и сегодня не утратило своего значения. Я утверждал, что оно не утратило своего значения и для будущего, поскольку в будущем всегда имеются предсказуемые элементы, выводимые именно из прошлого, — те элементы, которые образуют нить исторических закономерностей. Но в будущем есть также непредсказуемые элементы. И комбинация предсказуемого с непредсказуемым дает подчас те неожиданные результаты, которыми поражает нас будущее. Они неожиданны потому, что мы, как правило, прогнозируем будущее лишь с помощью экстраполяции и продолжения настоящего. Знание прошлого способно освободить нас от шор этого вульгарного подхода, ибо оно показывает, что настоящее всегда отличается от того, каким его воображали предшествующие поколения. В этом смысле прошлое приучает нас ожидать неожиданностей.

Но прошлое способно и само порождать неожиданное, альтернативное будущее, если это прошлое становится объектом искусной идеологической манипуляции. Именно так манипулировал прошлым Гитлер, убеждая своих слушателей, что Германия не потерпела поражение в 1918 году, а была предана евреями, марксистами и либералами, действия которых были направлены на подрыв традиционных немецких ценностей. Манипулируя прошлым, Гитлер стремился к легитимации создаваемого им альтернативного будущего. Еще более разительным примером такой манипуляции является формирование желаемого будущего в коммунистической идеологии, которая заново толкует всю человеческую историю в духе доктрины Маркса, чтобы привлечь прошлое на свою сторону и тем самым легитимизировать свои действия.

Поэтому, если будущее действительно надлежит не столько "открыть", сколько "создать", не следует оставлять этот процесс в руках людей, которых меньше всего заботит проблема человеческой свободы. Не следует уступать им право использовать огромную силу прошлого для пропаганды таких вариантов будущего, которые



возбуждают фанатический энтузиазм или ярость толпы. Ибо, как сказал американский историк Карл Беккер, "прошлое — это экран, на который каждое поколение проецирует свое видение будущего".

Моя страна, Великобритания, представляет собой негативный пример всего сказанного выше. Всем известно, что англичане — это народ, больше других связанный своим прошлым. Но сложность состоит в том, что англичане не способны ужиться со своим прошлым. Они пытаются романтизировать его, как в своих бесконечных исторических телесериалах (которые, вероятно, вы смотрите с удовольствием), они презирают или высмеивают его, как молодое поколение, они отвергают его, как интеллектуалы, но что они неспособны сделать — это постичь его значение и конструктивно использовать для формирования собственного будущего. А ведь это бесспорно замечательное прошлое, что подтверждается хотя бы тем, что английский язык стал едва ли не первым подлинно всемирным языком, к чему не оказался способен ни один другой. Большинство других народов находит в своей истории источник глубокой веры, из которой они черпают силы, и в частности вы, евреи, показали чудеса подобной веры, которой мы, англичане, можем только позавидовать. Для нас история — это тяжкое бремя, которое затрудняет нам способность отвечать на изменения, ибо мы не нашли способа использовать ее, чтобы наполнить содержанием наше видение будущего.

Позвольте мне теперь распространить мои рассуждения на сферу культуры. Известный американский социолог Дэниэл Белл определил культуру, как "конструкцию, созданную людьми для сохранения преемственности, то есть для выражения чувства непрерывности человеческого рода с помощью общего опыта, который определяет индивидуальную ментальность и связывает поколения посредством мифов, символов и традиций". Я не буду обсуждать здесь достоинства или недостатки этого определения, отмечу лишь, что оно отвечает моим целям, ибо показывает, что культура, которая ориентируется только на прошлое, непременно умирает. Но и обратное столь же верно: любая культура, которая полностью отмежевывается от прошлого и питается лишь тонким слоем настоящего, тоже обречена на скорую гибель. Я уже приводил пример модернизма в европейской культуре, который сознательно и полностью расторг всякие связи с прошлым. Я говорил, что модернизм был одним из величайших культурных достижений Запада. Нет ли в этом противоречия? Я не думаю. Ибо, по моему мнению, мы живем уже в постмодернистскую эру. Модернизм, процветавший между концом прошлого и началом нынешнего века, пришел к концу. Он сам стал частью истории. Прошлое прошло над ним и поглотило его. И то, что тогда казалось концом традиции, сегодня — для меня, во всяком случае, — выглядит как ее продолжение и расширение.

Как может прошлое стать irrelevantным, если оно постоянно обновляется и расширяется, поглощая то, что еще вчера было будущим? Тем будущим, которое в то же время всегда остается ускользающе неуловимым, вечно отступающим перед нами и поддающимся определению лишь тогда, когда оно само становится частью прошлого. В этом смысле я вполне мог бы посвятить свою лекцию истории будущего, ибо оно непрерывно становится смыслом и значением нашего прошлого.

Позвольте мне обобщить сказанное. Культура, ориентированная на прошлое и отказывающаяся допустить в свой опыт новые элементы, обречена на стагнацию. Но культура, которая поворачивается спиной к своему прошлому, обречена на амнезию. Более того, она лишается наиболее очевидного источника своих основных ценностей. Ибо только человеческий опыт есть источник всех ценностей — в том числе веры в то, что эти ценности проистекают из Божественного источника. Можно ли ограничиваться только собственным опытом? Конечно, ценности, основанные на прежнем опыте, должны быть опробованы и модифицированы на новом опыте каждого поколения. Но вовсе игнорировать их означало бы, что каждое следующее поколение должно начинать все заново в сомнительной уверенности, что ни одно другое поколение никогда не стояло перед подобными проблемами и что от них нечему научиться. Это представляется не только неоправданным высокомерием, но и своеобразной формой ущербности. Ее исходным пунктом является убеждение, что наш опыт является уникальным, что мы стоим перед уникальными трудностями. Разумеется, это так! Но мы не уникальны в ощущении, что мы уникальны! Это было также ощущением и многих предшествующих поколений — и во времена французской революции, и во времена индустриальной революции, и в начале нашего века, и в начале русской революции, и в конце первой мировой войны, и в конце второй. Во все эти времена люди, порой с оптимизмом, порой с пессимизмом, выражали глубокое убеждение, что они вступают в новую эру. Человечество всегда вступает в новую эру. И это действительно новая эра — для своего времени. Вторжение нового всегда кажется отменяющим прошлое и рвущим преемственность. И тем не менее, оглядываясь назад, можно увидеть, что будущее каждого из этих поколений всегда представляло собой сочетание нового со старым. Это сочетание каждый раз оказывалось иным — история не повторяется. Новое действительно является новым. Но старое присутствует рядом с ним, и новое со временем благополучно прививается к старому, так что преемственность никогда не рвется, но всякий раз лишь восстанавливается. Будущее становится прошлым, а прошлое будущим. История никогда не начинается внезапно. Мой дед уже жил в новой эре, а мой внук все еще живет в старой. Новое мясо приправляют старыми

травмами, и новые антенны приносят все те же старые глупости. Мудрость — это прошлое, опрокинутое в будущее. Не знаю, согласитесь ли вы с этим определением; я предлагал его всюду, где бывал — в России, в Америке, в Китае, — но нигде я не предлагал его с таким интересом, как здесь, в Израиле, ибо нет другого такого народа, который в своем самоопределении больше зависел бы от своего коллективного прошлого, чем еврейский народ. Равно как нет другого такого народа, который имеет такие же глубокие основания сказать, что то, что он пережил в последние 50 лет, уникально. Не в относительном, а в абсолютном смысле.

Переводы с английского, иврита, французского, литовского, немецкого, идиша, ладино, польского и других языков, на которых говорят и пишут евреи.

Поэзия и проза, экран и сцена, проблемы философии и религии, литературная критика.

272 страницы большого формата, цветные вкладки.

# НАРОД И ЗЕМЛЯ

ЖУРНАЛ  
ЕВРЕЙСКОЙ  
КУЛЬТУРЫ

*Журнал НАРОД И ЗЕМЛЯ знакомит читателя с произведениями мировой литературы, затрагивающими тему судеб еврейского народа.*

**ЧИТАЙТЕ В № 3:**

**И. БРОДСКИЙ.** "Исаак и Авраам"

**Э. АЖАР.** "Жизнь вся впереди" (перевод с французского)

**Б. МАЛАМУД.** "Милость Господа Бога" (с английского)

**И. ОРЕН.** "Комиссия по расследованию" (с иврита)

**Э. ЛЮКСЕМБУРГ.** "Итро — волчонок Сидки"

**И. ГОМЕЛЬ.** "Кость в горле" (о современной фантастике)

**В. ЛАЗАРИС.** "Сонет для статуи Свободы"

**Б. МОЙШЕЗОН.** "Загадки древних цивилизаций" (ч. 3-я)

Цена номера в розничной продаже — 10 долларов США.

Стоимость годовой подписки (4 номера) — 20 долларов.

Наш представитель в Северной Америке Юз АЛЕШКОВСКИЙ:

394 High str. Middleton, Ct 06457.

Можно подписаться также по адресу:

TARBUT, P.O. B. 535, Giv'at Ze'ev 90917, Israel.

Пронесло. Значительная часть обитателей земного шара, живущая по христианскому летоисчислению, и мизерная дробь человечества, которая относит "начало веков" к сотворению мира в соответствии с библейской традицией, — и та, и другая вздохнули с облегчением. Все предсказания, знамения, кабалистические исчисления, астрологические расчеты, эсхатологические построения и апокалиптические прорицания о конце мира в 1984 году христианской эры и в 5744 году еврейского календаря оказались ложными и уж во всяком случае неточными.

Если 1984 год вызывал трепет в сердцах только потому, что Орвелл совершенно произвольно выбрал его для своего устрашающего романа, то трепет забот иудейских был намного более обоснованным. Как известно, мы обозначаем годы буквами нашего алфавита, имеющими числовое значение. При этом тысячелетия для удобства часто опускаются. Поэтому 744 год обозначается буквами "тав", "шин", "мем", "далет", которые образуют слово, содержащее корень глагола "шин, мем, далет" — "шмд", который означает "уничтожить", "истребить", "стереть с лица земли" и при пессимистическом восприятии мира может вполне закон-

*Ицхак Орен*

**НАЧАЛА И КОНЦЫ**

но читаться как "ташмад", то есть "ты будешь уничтожен". А ведь "гематрия", то есть толкование слов, составленных по числовому значению букв, играет важную роль во всей еврейской мистической литературе, особенно в предвещаниях пришествия Мессии и в определении даты "конца дней", предсказанных пророками. Система гематрии служила одним из факторов зарождения мессиянского движения Саббатая Цви, охватившего в 17-м веке почти всю еврейскую диаспору. Неудивительно, что даже многие из тех, кого никак нельзя заподозрить в религиозных мистификациях, не удержались от интеллектуально-художественной игры в псевдо-пророческие цифровые гадания в связи с 5744 годом, предвещая, конечно, великий катаклизм в стиле апокалиптического конца мира. Даже пишущий эти строки опубликовал в свое время роман в жанре научной фантастики, отсрочив, правда, для пущей вероятности, гибель и возрождение мироздания на тысячу лет. Роман назывался не "аташмад", а "веташмад", то есть "6744 год", причем корень "шмд" был сохранен, однако, полностью. Кстати, мне кажется, что никто в мире не вздохнул с таким облегчением, как журнал "22". Ведь сумма цифр числа 1984 равна 22...

\* \* \*

Израильский историк, социолог и библиист профессор Иехезиль Кауфман в своем монументальном труде "История еврейской религии" четко определяет различие между иудейским мессиянством и мифом о наступлении "золотого века", распространенным в полумистических цивилизациях Древнего Востока — главным образом в греко-римской литературе. Различие это в основном базируется на понятии "цикличность зонов". Зон дословно по-гречески — вечность; в данном контексте — предопределенная эра. В греко-римской мифологии (см. например четвертую эклогу Овидия) чередование зонов диктуется законами природы, наподобие смены четырех времен года — золотой век, серебряный век, медный век и железный век. Идеальное общество золотого века неминуемо вырождается, проходя через дальнейшие стадии, и с завершением последней, четвертой стадии (железного века) вновь наступает золотой век — зон совершенства и счастья.

Еврейское мессиянство категорически отрицает принцип цикличности. Мессиянская эсхатология — конечная цель. Это царство

Божие на земле. Его наступление — вне законов природы. Оно — “хэппи энд” (счастливый конец) драмы между единым, всемогущим Богом и его избранниками — человеком в природе и еврейским народом в человечестве. Избавление и того, и другого — не железный закон смены эпох; оно обусловлено поведением людей. Основным элементом в нем — воздаяние: наказание за грехи и награда за благочестие. Поэтому созданию нового мира добра и справедливости предшествует чуть ли не разрушение старого, по крайней мере — грозная катастрофа, родовые схватки становления нового. На иврите “хевлей машиах”, мессианские схватки — буквально те же слова, которые употребляются для мук рождения. В историческом плане эта мессианская концепция подтвердилась в грандиозных сдвигах нашего века. Возрождению государства Израиль предшествовала беспрецедентная в истории гитлеровская катастрофа — геноцид трети еврейского народа.

\* \* \*

Со дня своего возникновения сионизм включает в себя в той или иной мере элементы мессианства. В наше время в интеллектуальных кругах государства Израиль ведется бурная дискуссия о том, в какой степени оправданы претензии сионизма на хотя бы частичное осуществление мессианских чаяний. Эта дискуссия, в проекции на израильскую действительность, имеет далеко не отвлеченный характер и, естественно, насыщена не только эрудицией, но и эмоциями. Не входя в идеологическую суть дискуссии, я хотел бы остановиться лишь на ее психологическом аспекте.

Мессианский сионизм включает в себя и “мессианские схватки”. С психологической точки зрения избавление неминуемо связано с апокалипсисом. Термин “ахарит аямим” (в синодальном переводе “последствие времен” или “последние дни”, а буквально “конец дней”) употребляется как в зловещем предсказании Второзакония /31:2а: “...постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло перед очами Господа”, так и в знаменитом видении пророка Исаи о мире во всем мире /Исаия 2:2—4: “Гора дома Господня будет поставлена во главу гор... и притекут к ней все народы... Ибо из Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И перекуют мечи свои на орала и копыя свои на серпы; не подымет народ на народ меча, и не будут более учить сражаться”.)

Сознание несовершенства и бессилия человеческой личности, призванной осуществить утопические идеалы, сопровождало почти всех, кто ступил на Землю Израиль задолго до Декларации Независимости государства Израиль. И нередко каждое событие воспринималось либо как огненная колесница и огненные кони, вознесшие пророка Илью на небеса, либо как извержение убийственного вулкана, на краю кратера которого мы стояли.

\* \* \*

Это было в конце беспорядков 1936–1938 годов. Пять евреев из кибуца Кирьят Анавим в окрестностях Иерусалима вышли на работу в соседнюю каменоломню и были убиты арабами. Ранним утром я — студент Еврейского университета — возвращался со “шмиры” (охраны) на горе Скопус. Мы, четверо студентов, жили тогда в бывшей прачечной, маленьком строении на крыше пятиэтажного дома в центре Иерусалима. Поначалу это строение действительно предназначалось для стирки белья, но с наплывом студентов было превращено в обиталище для самых нуждающихся из них (впрочем, я не помню не нуждающихся студентов в те времена). Взбираясь на крышу, я увидел на пятом этаже женщину лет тридцати (то есть преклонного возраста по моим тогдашним понятиям), которая стояла в дверях своей комнаты и читала газету. Вдруг она смяла газетный лист в руке, швырнула его на пол и расплакалась.

— Что с вами? — спросил я.

— Я больше не могу, — рыдала она. — Я двенадцать лет здесь. Была в кибуце, в Эмеке. Работала на полях. Верила, верила, верила, что мы строим будущее для народа. Чушь, чушь, чушь! Ничего мы не строим, а то, что построили, будет разрушено. Завтра нас сбросят в море. Всех нас. Всех, всех, всех!

Я был в стране год с лишним. Я еще верил (кстати, я и сегодня верю). Но что я мог ей сказать? Я молча стал подниматься на крышу и даже не обернулся, когда услышал за собой стук с размаха захлопнутой двери.

Как мне потом стало известно, эта женщина вскоре вернулась на родину, в Польшу. Там она погибла в Освенциме.

А в память пятерых парней, убитых арабами, стоит сегодня на подступах к Иерусалиму цветущий кибуц “Маалей А-Хамиша”.

\* \* \*

В конце 1944 года Эцель объявил о восстании против мандатных властей. В Иерусалиме было взорвано здание одного из государственных учреждений. Немедленно был объявлен комендантский час. Тогда я уже снимал себе комнату в квартире одного из высоких мандатных чиновников — еврея, усматривавшего в своей должности сионистское задание. Мы оба глядели в окно (выходить на улицу строго воспрещалось) и видели, как шныряют броневики, мотоциклеты и джипы, выгружая вооруженных британских солдат для "прочесывания" еврейских кварталов в поисках "террористов". Мой хозяин покачал головой и сказал:

— Наступил последний час. Англичане, спасшие нас от Гитлера, не простят нам восстания против них. Запомни мои слова: под этим взорванным зданием похоронен сионизм. Все кончено...

Четыре года спустя автор грозного пророчества был назначен на высокий пост в государственном аппарате новорожденного Израиля, а теперь, в глубокой старости, доживает свой век на пенсии.

\* \* \*

14 мая 1948 года. В Тель-Авиве Бен-Гурион провозглашает создание государства Израиль. Иерусалим осажден. На улицах ожесточенные бои с арабами. Нет ни воды, ни электричества. Транзисторов тогда и в помине не было. Зачитанную Бен-Гурионом Декларацию Независимости мы услышали из огромного громкоговорителя, сооруженного на одной из центральных улиц квартала Рехавия и заменявшего собой все радиовещание. После Декларации было зачитано сообщение: армии пяти арабских государств вторглись на узкую полосу, предназначенную по плану ООН стать территорией еврейского государства. Затем громкоговоритель замолк. Молчали и собравшиеся около него люди. Рядом со мной сидели два пожилых человека. Один из них, с седой треугольной бородкой, обратился к своему соседу на немецком языке:

— Сколько времени, по-вашему, просуществует наше государство?

— Неделю, — ответил тот решительно

Я всмотрелся в его изрезанное морщинами, чисто выбритое



лицо. Оно выражало полное безучастие и напоминало маску какого-нибудь героя древнегреческой трагедии, олицетворяющую неотвратимое предопределение рока.

Ни одного из тех двух стариков я с тех пор не видел.

\* \* \*

*Жизнь без начала и конца...  
Нас всех подстерегает случай...  
Но ты, художник, твердо веруй  
В начала и концы...  
Тебе дано бесстрашной мерой  
Измерить все, что видишь ты.  
Александр Блок. "Возмездие"*

Три недели выжидания, предшествовавшие Шестидневной войне, были "страшными днями" Израиля. Насер вновь занял Шарм-а-Шейх. ООН убрала своих наблюдателей, и египетская армия двинулась в Синай. Радиовещание всех арабских стран непрерывно трубило на весь мир о близком уничтожении Израиля и утоплении евреев в Средиземном море. Вся еврейская диаспора была охвачена страхом перед надвигающейся второй Катастрофой.

Моя дочь находилась тогда в США. Я получил от нее тревожное, чуть ли не истеричное письмо, совсем не соответствующее ее обычно спокойному, уравновешенному характеру. Случайно за несколько дней до этого были арестованы редакторы выходившего в Тель-Авиве порнографического журнала "Бул". Помнится, я ответил дочери примерно так:

"Успокойся, дорогая. Государство Израиль прекратит свое существование только после того, как выполнит свою миссию на фоне четырехтысячелетней истории еврейского народа и шестисемитысячелетней истории человечества. Если этот момент наступил, то "Бул" должен превратиться в "Песнь Песней". Такое невообразимо и невозможно. Поэтому мы победим".

## **МИР СОВРЕМЕННЫХ ИДЕЙ**

В творчестве Орвелла можно обнаружить следы разных идеологических схем. Он был одновременно радикалом и консерваторм, интернационалистом и патриотом, пацифистом и солдатом, интеллектуалом и антиинтеллектуалистом. И даже конформистом и неконформистом одновременно.

Орвелла готовы взять в союзники чуть ли не все идеологические группы нашего времени. В какой-то мере это объясняется его огромным моральным авторитетом. Но Орвелл не первый мыслитель, именем которого хотят прикрыться враждующие общественные силы. Это довольно обычное явление в повседневной политической жизни. Поэтому дело не только в авторитете. Претензии на Орвелла разных идейно-политических течений — не только явление политической спекуляции. Само творчество Орвелла дает основания для разноречивых толкований.

Оригинальность Орвелла связана с его принципиальной внепартийностью. Орвелла отталкивала от партий их идеологическая односторонность, их тенденция к оппортунизму, авторитарности и коррупции. В то же время все партийные идеологии: консерватизм и радикализм, интернационализм и

*Александр Донде*

**ОРВЕЛЛ И РЕВОЛЮЦИЯ  
МЕНЕДЖЕРОВ**

национализм, пацифизм и милитаризм — представляли собой для него партийно-извращенные формы несомненных (поскольку выработанных в длительном историческом опыте) человеческих ценностей. Орвелл не мог отказаться ни от одной из них. Он ощущал необходимость их синтеза и пытался этот синтез осуществить. У Орвелла был общественный идеал, в рамках которого ему казалось возможным сохранить важнейшие ценности: традицию, свободу, патриотизм и уважение к другим народам, наконец, стремление к мирному разрешению конфликтов, разум и совесть. Этим общественным идеалом Орвелла был социализм.

Нет никаких сомнений в том, что Орвелл был последовательным и убежденным социалистом. В социализме его привлекала самая сердцевина этой концепции: апология равенства, неприятие господства и идея самоуправления личности. “Каждая строчка в моих серьезных работах, написанных после 1936 года, — писал Орвелл, — была посвящена защите демократического социализма”. Это было сказано в 1946 году, уже после испанского опыта, после опубликования “Скотского хутора” и во время работы над “1984”. Ни о каком разочаровании в этой главной идее здесь нет и речи. Утверждения, будто Орвелл написал пародию на социализм, основаны на недоразумении.

То, что Орвелл пишет не “социализм”, а “демократический социализм”, вовсе не означает, что он был сторонником “демократического социализма” и противником какого-то другого — недемократического. Для него “демократия” и “социализм” связаны неразрывно. Можно было бы к понятию “социализм” и не прибавлять слова “демократический”, если бы не было общества, которое присвоило себе определение “социалистическое”, не будучи социалистическим.

Существование этого общества Орвелл воспринимал очень остро и болезненно. Как свидетельствует его последняя книга и многие послевоенные эссе, существование СССР почти полностью овладело его сознанием. Эта “озабоченность” Орвелла чужой страной представляет собой достаточно нестандартный феномен европейской культуры.

Каждая европейская культура, начиная с 19-го века, делится на две части — апологетическую и критическую. Апологетика национальных традиций и ценностей положительна по своему духу, занята положительным национальным мифотворчеством, и ее мало заботит существование других национальных традиций

(даже если она относится к ним враждебно). Критическая часть культуры представляет собой национальную самокритику, и потому ее тоже мало заботят другие культуры. Все это относится, безусловно, к Западной Европе; в Восточной Европе внутренний баланс культуры нарушен из-за ее промежуточного культурно-географического положения: там существуют анти-русский и про-русский варианты национального самосознания (а в самой России — антизападный и прозападный). Но Орвелл принадлежал Западной Европе, самому ее ядру, Англии, и потому "озабоченность" чужой страной делает его несколько необычной фигурой в западноевропейской культуре. Вероятно, он может считаться одним из зачинателей новой традиции, которая уже вообще не может быть понята только в национальных рамках. Орвелл избрал советское общество мишенью своей сатиры не по национальным мотивам, а по классовым. Он критиковал советскую систему с позиций социалиста — как не социалистическую.

Социалистическая идея имеет в Европе давние традиции. Она ровесница и историческая соперница идеи капитализма. В 19-м веке победил капитализм, но подавить социалистическую идеологию не удалось никогда — прежде всего потому, что она покоится на ценностях, органично присущих европейскому сознанию.

Поначалу многие считали, что социализм и капитализм — это, так сказать, два возможных пути развития общества. Но к середине 19-го века выяснилось, что осуществился только капиталистический путь, и первым, кажется, рационалистически отреагировал на это Маркс, который переопределил социализм как фазу, наследующую капитализму. Понимая историю в эволюционнотелеологическом ключе, Маркс сознательно примирился с капитализмом как с совершившимся фактом и увидел в нем самом историческую гарантию неизбежности социализма. Подход Маркса возобладал в большей части европейского социалистического движения. Но старый взгляд на социализм как на альтернативу капитализму, к которой можно выйти, минуя капитализм, не умер совершенно. Он продолжал существовать в анархистских, лево-социалистических, синдикалистских течениях. Орвелл тоже принадлежал к этой традиции.

Между тем исторический процесс, начавшийся на рубеже 18—19-х веков, шел своим чередом, и капиталистическое общество неуклонно двигалось если не к новой общественной формации (как предсказывал Маркс), то к новому состоянию. В его нед-

рах назревала революция, содержанием которой, как всегда в революции, была замена прежнего господствующего класса новым. Это была так называемая "революция менеджеров".

Впервые о ней заговорили в начале 30-х годов. Одним из первых о ней писал Джеймс Бернхэм. Его работа интересна для нас потому, что она оказала глубокое влияние на Орвелла и на его книгу "1984".

В 1946 году Орвелл написал эссе о Бернхэме. Оно не оставляет сомнений, что Орвелл видел надвигающуюся революцию. Описательная сторона концепции Бернхэма не вызывала у него возражений. "Как интерпретация того, что происходит, теория Бернхэма выглядит вполне правдоподобно", — писал Орвелл.

Какую же интерпретацию предлагал Бернхэм? Бернхэм считал, что по мере усложнения производства контроль над ним постепенно переходит от капиталистов к менеджерам (управляющим). Сначала менеджеры получают доступ к средствам производства, затем они захватывают контроль над механизмом распределения доходов, после чего вопрос о праве собственности решается уже автоматически (хотя и не сразу), причем старые юридические формы собственности могут быть сохранены, а могут и не быть сохранены — это уже не важно. Бернхэм усматривал эту тенденцию повсюду в мире и считал, что дальше всех по этому пути продвинулась Россия (СССР), а затем Германия и Италия.

Социальное восхождение менеджеров неразрывно связано с усилением роли государства в экономике. Оба процесса усиливают друг друга. Класс капиталистов в целом, полагает Бернхэм, пытается защитить свои интересы, что, конечно, усложняет и запутывает картину. Но в конце концов, как думает Бернхэм, этот класс потерпит поражение. Тогда установится новый общественный строй. Бернхэм не согласен с теми, кто именует этот строй "государственным капитализмом" или "государственным социализмом". Это не государственный капитализм, потому что индивидуальные капиталисты оттеснены от контроля над производством и распределением. Здесь мнение Бернхэма прямо противоположно мнению советской теории государственного капитализма, которая считает, что капиталисты, как класс, сохраняют контроль, только реализуют его через государство. Но этот строй, утверждает Бернхэм, и не государственный социализм, ибо социализм предполагает уничтожение классового господства, тогда как "менеджеральная экономика, — пишет Бернхэм, —

это экономика, связанная с эксплуатацией". (Именно сохранение эксплуатации позволяет советским экономистам рассматривать то, что Бернхэм и Орвелл предпочитали называть менеджериализмом, просто как новую историческую форму капитализма).

Важно, однако, что новый строй устанавливается в результате замены одного правящего класса другим. Такая замена имеет огромное значение для общества в плане организации экономики, человеческих отношений, социального контроля, системы ценностей и вообще культуры. Именно эти последствия революции попадают в поле зрения Орвелла, а сейчас оказываются — не без орвелловского влияния, надо сказать, — в центре внимания западной общественной мысли.

Бернхэм несколько раз подчеркивает, что идеология менеджериализма еще по-настоящему не сложилась. Сам класс менеджеров только смутно провидит ее. Тем более он боится ее открыто декларировать, так как чувствует, что она может оттолкнуть массы, в поддержке которых он заинтересован для победы в еще незавершившейся борьбе с классом капиталистов.

Обманывает ли класс менеджеров массы сознательно? Или он обманывает сам себя? Или он еще просто не понимает, что происходит? Так или иначе, но менеджериальная революция почти повсюду совершается под лозунгами социализма. Бернхэм лишь мимоходом отмечает это обстоятельство, оно его, вероятно, не очень-то занимает. Напротив, Орвелла эта "кража идеологии" интересует прежде всего и вызывает его особенную ярость. Демагогическое использование социалистических лозунгов — излюбленный объект его сатиры.

Наконец, Бернхэм ставит большой вопрос о связи менеджериализма с тоталитаризмом. Он ставит его в определенных исторических условиях. К тому времени в России и Германии уже произошли социальные революции. Бернхэм, не колеблясь, называет их менеджериальными, а не социалистическими. Обе революции сопровождались глубокой тоталитаризацией общества. Бернхэм не отрицает этого, но он тем не менее не признает, что менеджериализм и тоталитаризм жестоко предполагают друг друга.

Говоря об этом, он пользуется методом исторических аналогий. Он напоминает, что и класс капиталистов в период сразу после победы всегда прибегал к диктатуре, но затем обязательно начиналась демократическая фаза (Бернхэм не различает понятия "диктатура", т. е. политический режим, и "тоталитаризм", т. е. общественный строй). Он заключает: "Исторические аналогии, таким образом, убеждают нас в том, что после консолидации менеджериального общества оно перейдет от фазы диктатуры

в демократическую фазу". Это полная аналогия ленинизму, который тоже настаивал на временном характере своей диктатуры, которую он называл диктатурой пролетариата.

Какую же реакцию эти идеи Бернхэма вызвали у Орвелла? Орвелл вполне соглашался с Бернхэмом в том, что касается самого факта приближения менеджериальной революции и той роли, которая в ней выпала на долю социалистической идеологии. Но методология Бернхэма вызвала глубокое неприятие Орвелла, и это неприятие нашло явное выражение в его эссе "Джемс Бернхэм и менеджериальная революция", а в неявном виде — в романе "1984".

Орвелл был не согласен с той оценкой, которую Бернхэм дал менеджериальной революции и классу менеджеров. Сам Бернхэм настаивал на объективно-описательном характере своей работы. Он действительно стремился к максимальной объективности. И тем не менее неявно он дал именно оценочную интерпретацию, и Орвелл с изумительным социальным (чтобы не сказать — классовым) чутьем это уловил.

Беспристрастность Бернхэма кажется Орвеллу формой пристрастности. Это не иезуитски-диалектическая придирка, потому что беспристрастность, как маска пристрастности, интересует Орвелла вовсе не как грех. Речь, по его мнению, идет не о лицемерной и потому предосудительной беспристрастности человека, знающего, что на самом деле он пристрастен. Все гораздо сложнее и, так сказать, содержательнее в социальном смысле. Речь идет об общественном классе, идеологии которого органически свойственна сознательная установка на беспристрастность. Более того, о классе, который считает эту свою мнимую беспристрастность особо ценным для общества свойством, которое якобы дает этому классу основания и право на господство. Когда менеджер настаивает на том, что лишь объективно описывает какой-либо социальный процесс, это верный признак того, что он этот процесс апологетизирует. По Орвеллу Бернхэм — апологет менеджериальной революции. В то же время, уклоняясь от открытых моральных суждений о ней, он затрудняет всем остальным понимание ее подлинного смысла.

Во-1х, отмечает Орвелл, Бернхэм пытается нарисовать картину ужасающей, неодолимой силы". Во-2х, он "настаивает на том, что менеджериализм более эффективен, чем капиталистическая демократия и марксистский социализм, а также более приемлем для масс". В-3х, Бернхэм утверждает, будто "то, что уже происходит, будет продолжаться и в дальнейшем", т. е. опирается на вульгарную экстраполяцию. "Склонность к такого рода прогно-

зированию, — пишет Орвелл, — не просто дурная привычка; это распространенная болезнь ума, которая частично коренится в трусости, а частично в преклонении перед силой”.

Вот это преклонение перед силой Орвелл считает характерной чертой идеологии менеджеров, полагая, что Бернхэм сполна демонстрирует это их свойство.

Эта идеология в своем крайнем выражении звучит в монологах О’Брайена в “1984”. Пафос О’Брайена самому Орвеллу отвратителен. Это довольно очевидно. Кого же изобразил Орвелл? И с какой целью? Здесь начинается самое интересное.

Можно, конечно, предположить, что Орвелл изобразил нам человека вообще, человека в его обнаженной сущности. Такое предположение делается довольно часто и, например, практически весь русскоязычный комментарий к Орвеллу явно или неявно строится на этом предположении. Как видно из речей О’Брайена, сущность человека, с его точки зрения, сводится к иррациональному желанию власти, неограниченной и безоговорочной власти. В этом случае мы должны были бы приписать Орвеллу крайний пессимизм в отношении человеческой природы.

Но возможна и другая версия. Можно думать, что Орвелл изобразил в О’Брайене носителя определенной идеологии. Стремление его к власти вовсе не иррационально. Это он сам изображает его иррациональным. Это не самовыражение сущности человека, а клевета на человека, произносимая с целью убедить своего ближнего подчиниться. О’Брайен пользуется этой мифологией, чтобы обеспечить свои классовые интересы. Ибо его миф о сводимости всех человеческих отношений только к отношениям власти служит интересам определенного класса. Им пользуется менеджериальный класс для обоснования своего права на господство. Во всяком случае, так считает Орвелл. В своем эссе о новейших тенденциях в детективной литературе, Орвелл пишет: “Этот тип литературы всячески убеждает читателя в том, что “мафия закона” сильнее “преступной мафии” и побеждает только поэтому. Жестокость в этих романах выступает как нечто естественное и неизбежное; оправданной становится жестокость того, кто сильнее и победил”. И дальше: “В основе этого “нового реализма” лежит убеждение, что “сила всегда права”. Этот реализм становится все более свойствен современному интеллектуализму. Нелегко ответить, почему это так. Связь таких явлений, как садизм, мазохизм, культ силы, культ успеха, национализм, — почти необозримый предмет для размышлений... Приведу лишь один пример... Мне кажется, никто не указывал на садистские и мазохистские элементы в творчестве Бернарда Шоу и уж тем более ник-



то не отметил, что они связаны с восхищением, которое Шоу неизменно выказывает диктаторам. Фашизм обычно легко ассоциируют с садизмом, но почти всегда это делают люди, не видящие в то же время ничего дурного в раболепном преклонении перед Сталиным. Нет, однако, никаких сомнений, что бесчисленные английские интеллектуалы, лижущие зад Сталину, ничем не отличаются от тех немногих своих собратьев, которые оказывают поддержку Гитлеру и Муссолини, ни от тех экспертов по эффективности, которые проповедуют “кулак”, “атаку”, “сильную личность”, которые учат, что “человек это тигр”, ни от тех интеллектуалов недавнего прошлого, которые преклонялись перед германским милитаризмом. Все они проповедывали силу и приносящую успех жестокость. Важно, что культ силы имеет тенденцию слиться с любовью к жестокости ради них самих. Если тиран — кровавый негодяй, то тем больше оснований им восхищаться. А принцип “цель оправдывает средства” превращается в принцип “средства оправдывают сами себя, если они достаточно грязны”. В другом эссе Орвелл варьирует эту же мысль: “Во время захвата Франции нацистами одним из самых поразительных фактов было огромное количество перебежчиков среди интеллигенции, включая политическую интеллигенцию левого крыла. Интеллигенция громче всех визжала против фашизма, но в решающий момент значительная ее часть впала в глубокое поразенчество”.

В этих высказываниях Орвелл обвиняет интеллектуалов и говорит об их коллаборационизме как о явлении, характерном для нашего времени прежде всего. Чем же объясняется это поведение интеллектуалов? Трусостью и моральной неустойчивостью? Политической слепотой и непониманием собственных интересов? Такие объяснения резко преобладают в многочисленных мемуарах русскоязычной интеллигенции, порвавшей с советской идеологией после долгого (или не долгого) положительного участия в ее практике. В этических категориях критикуют русскоязычные авторы и западных (а также своих) интеллектуалов. Этот этический подход, конечно, возможен и дает некоторые (ограниченные) результаты, когда речь идет о конкретном человеке. Но когда речь идет о целой социальной группе или, может быть, даже классе, этический подход бессилён что-либо объяснить. Не удивительно, что в центре внимания “этических” критиков и комментаторов всегда оказываются личные биографии, и вся проблема обычно сводится к вопросу, был или не был лично порядочен данный человек.

Попытки объяснить поведение интеллектуалов непониманием

более рациональны, чем “этический подход”. Но непонимание, в свою очередь, нуждается в объяснении. Не исключено даже, что те, кто теперь ссылается на непонимание, на самом деле впали в непонимание именно теперь, а в те времена, когда они были молоды и о которых писал Орвелл, очень хорошо понимали свои классовые интересы, хотя и не могли их сформулировать для себя. Ведь несомненно, что у интеллектуалов есть свои классовые интересы. Это видно со стороны. Именно со стороны смотрел на интеллектуалов Орвелл. Ему помогло его положение аутсайдера относительно тогдашней интеллектуальной среды.

Вернемся теперь к книге Бернхэма, которая, как объект наблюдения со стороны, так сильно повлияла на аутсайдера Орвелла. По мнению Орвелла, Бернхэм четко выразил “новый реализм” менеджериально-интеллектуального класса, сводящийся к “реалистическому” преклонению перед силой. Орвелл пишет: “Если взглянуть поближе, то легко увидеть, что все его (Бернхэма) идеи покоятся на двух аксиомах: 1/ Политика во все времена одинакова; 2/ Политическое поведение отличается от других видов поведения; политика — это просто борьба за власть”.

Так же рассуждает у Орвелла в “1984” крайний реалист О’Брайен.

Орвел не согласен ни с Бернхэмом, ни с О’Брайеном. Вот что он пишет: “Странно, что в продолжение всех своих рассуждений о борьбе за власть Бернхэм ни разу не задает вопрос, почему люди хотят власти. Он, видимо, предполагает, что жажда власти, хотя и владеющая сравнительно немногими людьми, — естественный инстинкт, не нуждающийся в объяснениях, как потребность в пище. Он также предполагает, что разделение общества на классы во все времена имело одну и ту же цель. Но такой взгляд игнорирует многовековой исторический опыт. Во времена учителя Бернхэма Макиавелли разделение общества на классы было не только неизбежным, но и желательным: в условиях примитивного производства широкие массы были обречены на однообразный изматывающий труд; какое-то меньшинство необходимо было освободить от этого труда, иначе цивилизация не могла бы существовать, не говоря уже о прогрессе. Но с появлением машины все изменилось. Однако многие и теперь тянут лямку. Вопрос, который Бернхэм должен был бы поставить и ни разу не поставил, заключается в следующем: почему стремление к голой власти становится мотивом человеческого поведения именно теперь, когда господство одних людей над другими перестает быть необходимым? Все ссылки Бернхэма на “человеческую природу” и “неумолимые законы”, будто бы делающие социализм невоз-

можным, это просто проекция прошлого на будущее. В сущности Бернхэм утверждает, что поскольку общество свободных и равных никогда ранее не существовало, то оно невозможно вообще. Точно так же в 1900 году можно было утверждать, что невозможно существование самолета, а в 1850 году — автомобиля”. И далее: “То, что машинное производство изменило отношения между людьми и что вследствие этого Макиавелли устарел, очевидно. Бернхэм отказывается принимать это во внимание, я думаю, потому, что его собственный инстинкт власти побуждает его отвести в сторону любой намек на то, что макиавеллиев мир силы, обмана и тирании когда-то может кончиться”.

Этот отрывок — прекрасная иллюстрация свободного, ясного, хотя и несколько догматичного ума Орвелла. Почти каждое слово в нем напоминает нам о стоящих перед нами проблемах. Неясность истории бросает вызов нашему разуму, и Орвелл этот вызов принимает. Конечно, в его словах есть много таких суждений, с которыми теперь трудно согласиться — например, оптимистические предположения, связанные с возникновением машинного производства. Но это нас сейчас не интересует. Сейчас нам интересна прежде всего мысль Орвелла о попытках обосновать право на власть мифом о врожденном человеку “инстинкте власти”. Схематически эта мысль Орвелла выглядит так: 1/ на инстинкт власти ссылаются те, кто хочет власти; 2/ такие люди есть среди нас; 3/ их открытые ссылки на инстинкт власти именно в наше время не случайны.

Кто же эти люди и почему они проповедуют такую провокационную философию? Возможны два ответа. Первый ответ: это властолюбивые люди. Не считая, что властолюбие в природе человека, мы, однако, никак не можем отрицать, что властолюбивые люди реальность, и их влияние на общество огромно. Здравый смысл заставляет нас предположить, что властолюбие встречается среди всех слоев общества. Все это верно, но нужно быть Шекспиром, чтобы придать таким наблюдениям хотя бы какую-то значительность.

Возможно второе объяснение: речь идет не о властолюбивых людях, а об идеологии, основу которой составляет культ власти. Самое интересное, что эту идеологию могут проповедовать и исповедывать люди, в личном характере которых никакого властолюбия нет. Одна из самых больших (и совершенно не случайных) художественных удач “1984” — образ О’Брайена. Ведь так до конца и не ясно, властолюбив ли О’Брайен лично. Скорее нет — ведь в книге об этом ничего не сказано, а Орвелл был такой писатель, который говорил все, что действительно хотел

сказать. Так или иначе, совершенно очевидно, что вопрос о личном властолюбии О'Брайена казался Орвеллу несущественной деталью. Отсутствие этой детали в романе и то, что Орвелл писал по поводу Бернхэма, позволяет думать, что Орвелл рассматривал вопрос: "Кто проповедует провокационный культ власти" — не в плане свойств того или иного индивидуума, а в плане социальной характерологии. Тавтологическому утверждению: "Власти хотят властолюбивые люди" — он предпочитал социологическое обобщение: "Культ власти исповедует класс, стремящийся к власти". Этот класс, по Орвеллу, — менеджеры и интеллектуалы.

Вот что пишет Орвелл об этом классе: "Если мы посмотрим на людей, которые, зная, что собой представляет режим в России, остаются решительно настроенными в его пользу, то мы увидим, что в целом они принадлежат к "менеджеральному" классу, о котором пишет Бернхэм. Это не только менеджеры в узком смысле слова, но ученые, технические специалисты, учителя, журналисты, работники радио, бюрократы, профессиональные политики; в общем — средние слои, которые чувствуют себя ущемленными системой, отчасти еще аристократической, и хотят больше власти и больше престижа. Эти люди смотрят в сторону СССР и видят в нем, или думают, что видят, систему, где высшие классы устранимы, рабочий класс поставлен на свое место, а власть находится в руках людей, подобных им самим. Знаменательно, что только после того, как советский режим стал безусловно тоталитарным, английские интеллектуалы во все возрастающем числе стали проявлять к нему интерес. Бернхэм — хотя английская русофильская интеллигенция отвергла бы его — в действительности высказал вслух их тайное желание: разрушить старую эгалитарную версию социализма и осуществить иерархическое общество где интеллектуал наконец-то сам возьмет в руки плетку. Бернхэм по крайней мере достаточно честен, чтобы объявить прямо: социализма не будет. Другие же утверждают, что социализм грядет, а на самом деле придают социализму совершенно новый смысл".

В этом отрывке Орвелл утверждает, что интеллектуалы вполне сознательно стремятся к власти, то есть хотят господствовать в обществе. Это утверждение не так уж интересно, хотя и важно. И во времена Орвелла, и даже сейчас это мнение разделяют не все, хотя оно достаточно широко распространено.

Самое интересное в соображениях Орвелла другое. Он обнаружил, что стремление интеллектуалов к господству неразрывно связано с их преклонением перед силой, а еще более перед тоталитарной силой, которая дает полное и неоспоримое господство.

Поэтому их преклонение перед силой и стремление к ней идеологически обосновывается мифом о вечной неизбежности господства одних людей над другими. Упрекая Бернхэма в том, что он не задался вопросом: "Почему люди хотят власти?" — Орвелл сам на этот вопрос отвечать, однако, не стал. Он перенес центр тяжести на другой вопрос — почему стремящийся к власти класс интеллектуалов делает упор на "неизбежности" отношений господства и подчинения в человеческом обществе?

На этот вопрос Орвелл отвечает следующим образом. Мифология власти нужна интеллектуалам для легитимации своей власти, если они ее достигнут. Этот способ легитимации был впервые подсказан Макиавелли, но, кажется, вплоть до нашего времени не был никем взят на вооружение; история, так сказать, ждала, пока на сцену борьбы за власть выйдут менеджеры-интеллектуалы. Этот класс вынужден прибегнуть к такому способу легитимации власти, потому что не может найти более подходящего.

В знаменитой типологии власти Макса Вебера отмечается, что право на господство может быть обосновано 1/ традицией; 2/ эзотерическим, тайным знанием, одаренностью — харизматическая власть; 3/ необходимостью функциональной иерархии — рационально узаконенная власть.

Ссылки на традицию для интеллектуалов, разумеется, невозможны, так как их царство только начинается. Кроме того ссылки на традицию трудно совместимы с идеологией интеллектуалов, включающей культ безостановочного прогресса и разоблачение отвергнутой традиции. Наконец, традиционная власть почти неизбежно толкует о своем божественном происхождении. В секулярном обществе интеллектуалов это тоже невозможно.

Сложнее обстоит дело с харизматической легитимацией власти. Харизматическая власть вообще явление неустойчивое, временное, свойственное революционным переходным эпохам. Когда харизматическая группа или лидер приходят к власти, их харизма быстро тускнеет; поддержать ее не удастся. Происходит, как говорит Вебер, "рутинизация харизмы": правящая элита организует-ся в так или иначе рационализированный аппарат. Напоминания о харизме могут продолжаться еще долго, но они уже выхолащиваются в пустой ритуал и, пожалуй, в них даже нет жизненной необходимости.

Можно ли считать идущих к власти интеллектуалов харизматической группой? Вообще говоря, в ленинском учении о революционной партии профессионалов есть претензии на харизматичность. Образ комиссара, сочиненный советской мифологией, имеет харизматические черты. В Германии и Италии в ходе борьбы за

власть использовались харизматические фигуры вождей; советская мифология создала такую фигуру задним числом. Однако при всем этом обоснование права на власть харизмой находится в принципиальном противоречии с рационализмом интеллектуалов. Если даже они попытаются использовать этот путь, то окажутся в положении людей, выпустивших джина из бутылки: харизматический лидер, которого они выдвинули, может выйти из-под контроля, и тогда неизбежны многочисленные жертвы среди самих интеллектуалов. Так было со Сталиным, так было с Гитлером, так было с Мао. Суть общественной системы не изменилась, но плоды победы пожали далеко не все, кто на это рассчитывал.

Кроме того, интеллектуалы вообще не верят в харизму, в том числе свою собственную. Интеллектуалы верят в рациональный порядок. Поэтому было бы естественно, если бы они обосновывали свое право на власть в обществе необходимостью установить правильный, разумный порядок и утверждением, что они лучше остальных могут такой порядок придумать и поддерживать, потому что "организация порядка" — это объект их профессиональных знаний.

На этом можно было бы остановиться. Общество разумного порядка не оскорбляет рационалистичного интеллектуала. К нему же ведет рутинизация харизмы. Наконец, постоянное воспроизводство порядка и его правил постепенно становится традицией, оно и есть традиция, хотя сперва не осознается как таковая.

Однако Орвеллу его чутье подсказывало, что менеджериальное общество на этом не остановится. Он опасался (если не был абсолютно уверен), что оно скатится к самолегитимации своей власти; иными словами, не будет искать для нее никаких внешних оснований, а будет обосновывать свою власть тем, что она — факт.

Какие у Орвелла были основания так считать? Он сам думал, что у него есть для этого эмпирические основания. В приведенных отрывках из его эссе мы эти основания Орвелла уже частично изложили.

К этим данным Орвелла можно было бы прибавить и некоторые спекулятивные соображения. Когда речь идет об обосновании власти определенной группы, то перед этой группой возникает задача доказать, что она обладает нужными для этого свойствами, и уж затем на основании этих свойств претендовать на власть. В случае интеллектуалов это означает, что надлежит обосновать, почему, в силу каких именно своих свойств интеллектуал имеет право на господство в обществе. Но тогда в самой господствующей группе неизбежно встанет вопрос, кто именно обладает свойствами

ми, дающими основания для господства, для продвижения в иерархии, а кто такими свойствами не обладает или обладает не полностью.

Действительная политическая история — это не только решение принципиальных вопросов, но и решение личных отношений. Тенденция к тоталитаризму, как наиболее полному выражению власти определенного класса или группы, возникает не при выборе способа обоснования этой власти, а при отборе людей, обладающих нужными для власти свойствами (точнее, людей, которым эти свойства будут приписаны). В обществе, находящемся под властью интеллектуалов, будет постоянно возникать тенденция к пересмотру самих критериев отбора в элиту, а также права каждого отдельного человека к этой элите принадлежать; ибо способы измерения интеллектуальных заслуг, личной талантливости, результатов индивидуальной деятельности — все это зыбко и спорно; кроме того, научная истина текуча и непрерывно скользит в неизвестном направлении. Интеллектуалы знают, что истина относительна, и в глубине души не верят, что обладают ею. Вероятно, поэтому необходимость обосновать свое господство должна толкать интеллектуалов к поискам тавтологического обоснования — легитимации власти властью. Во всяком случае, в исторической ситуации, когда у власти стоят интеллектуалы и в обществе принята их система ценностей, тенденция к такого рода легитимации сильнее, чем в других исторических ситуациях, в которых право на власть может обосновываться каким-либо иным образом, каким бы абсурдным на первый взгляд он ни был. Например, лозунг "власть — рыжим" таит в себе меньшую опасность тоталитаризма, чем лозунг "власть — интеллектуалам".

Гипотеза Орвелла предполагает, что именно к этому идет дело.

Всеизраильский фонд поощрения русскоязычной культуры  
присудил  
премию имени Арье Рафаэли за 1984 год  
Александрю Воронелю  
за книгу  
"Трепет иудейских забот"

Судьба еврейского интеллигента определяется двумя темами: Россия и еврейство, и разговор о их взаимосвязи и противостоянии составляет содержание и главный интерес этого оригинального произведения.

Цена книги — по заказу — 4 доллара (за рубежом 8 долларов). Чеки и заказы принимаются по адресу: "Foundation Moscow—Jerusalem P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel.

## ЛИТЕРАТУРА И ИЗГНАНИЕ

Где еще встречаться изгнанникам, как не в Иерусалиме? Встреча израильских и зарубежных поэтов, посвященная теме "Литература и изгнание", прошла в марте этого года в израильской столице и вызвала большой интерес в культурных кругах. Организаторы встречи видели в ней возможность положить начало регулярному общению израильских и западных поэтов и писателей в неформальных рамках свободных бесед на актуальные темы. На первой встрече западную поэзию изгнанничества представляли Нобелевский лауреат поляк Чеслав Милош и литовец Томас Венцлова; израильская поэзия была представлена Натаном Захом, Арье Заксом, Ори Бернштейном и пишущим на иврите арабским поэтом Антоном Шаммасом.

В ходе двухдневной дискуссии был затронут широкий круг тем, связанных с ситуацией изгнания в самых различных ее аспектах — от политического изгнания, ставшей неотъемлемой чертой нашего времени, до изгнания метафизического, как творческого состояния всякого поэта и писателя, отъединяющегося от повседневности ради общения со словом. Первый аспект, естественно, преобладал в выступлениях гостей, второй — у израильских поэтов. Эти основные направления дискуссии перекрывались лишь частично, отражая неперекрывающийся жизненный опыт той и другой группы участников встречи. Поэтому преобладающий тон дискуссии был, скорее, монологическим, и каждое выступление напоминало больше лирическую исповедь поэта, обращенную к тем, кто способен понять его специфический духовный поиск. Но хотя задуманный организаторами диалог в результате не состоялся, в этих монологических исповедях оказалось немало поучительного и побуждающего к размышлению.

Пожалуй, наиболее эмоциональной и содержательной была та часть встречи, в которой речь шла об израильских проблемах. В ней отразились все важнейшие темы, затронутые на встрече: политика и метафизика, язык и отечество, изгнание и творчество — в их уникальном израильском воплощении. Главными выступлениями в этой части были доклады Антона Шаммаса и Ори Бернштейна, которые мы предлагаем в сокращенном изложении.

**АНТОН ШАММАС:** Как человек, скромно претендующий тоже до некоторой степени принадлежать к изгнанникам, я испытывал сильный соблазн начать свою речь божественными словами великого флорентийца, который первым возвел политическое изгнание в ранг поэтического состояния: "Своей жизни путь пройдя до середины, я оказался в сумрачном лесу..." Мне тоже 35, я тоже посреди жизненного пути, но на этом сходство кончается. Ибо я не могу похвастаться, что имею еще что-либо общее с поэтом, о котором иногда говорят, что он открыл собой длинный список изгнанных европейских интеллектуалов, — Данте Алигьери.

Тем не менее лишь по счастливой случайности моя семья не оказалась в сумрачном лесу летом 1948 года, как оказались сотни



других арабских семей, оставившие свои дома новым жильцам, которые, в соответствии с логикой истории, дали им в обмен свое изгнание. Я избежал судьбы беженца, но был вознагражден за это судьбой изгнанника в собственной стране. Государство Израиль, будучи по определению еврейским государством, не может рассматривать меня иначе, как палестинского иммигранта, от которого ждут, что он когда-нибудь совершит "алию" в палестинское государство, — если таковое каким-то чудом возникнет. Я палестинец, до поры до времени выпущенный на поруки, чей родной язык — арабский, но который предпочитает писать на иврите и в довершение всего рассказывать об этом на английском. Является ли язык родиной поэта, как утверждает одна из тем нашей встречи? Или же следует поставить вопрос иначе: может ли язык быть родиной поэта? Я сомневаюсь. Когда я думаю о языке, я вспоминаю своего друга, уехавшего учиться в Беркли. Собираясь в путь, он лихорадочно искал жену, чтобы делить с ней агонию добровольного изгнания. Я спросил его, не разумнее ли найти жену в Америке. Он ответил: я ищу женщину, кровь которой шепчет по-арабски. В конце концов он нашел то, что искал, и они благополучно слушают шопот своей крови до сих пор — в Беркли. Ури-Цви Гринберг некогда определил иврит, как язык своей крови, пусть и не свой от рождения, от которого он был отторгнут в течение столетий, пока не вернулся к нему — и я бы сказал, не без успеха. Люди, которых он при этом изгнал из их домов, поняли, как трудно, если не вообще невозможно обойтись столь ускользающим и эфемерным достоянием, как язык. Можно ли заменить языком запах апельсиновых рощ, которые вдыхали палестинцы, бежавшие в 1948-м году? Может ли язык заменить изгнаннику родину?

Изгнанный из Флоренции, Данте пытался сохранить ощущение родины с помощью флорентийского диалекта. Зная, что ему никогда не суждено вернуться домой, он говорил о языке, как о "родной земле". В одном из своих произведений он говорил: "Первый язык был создан Богом, чтобы на нем говорить с Адамом. На этом языке говорили потомки Адама до Вавилонской башни, которая стала для них башней смешения языков, башней всеобщего замешательства. Однако божественный язык был унаследован сыновьями Авраама, которые сохранили его, чтобы будущий Избавитель мог говорить с людьми на языке милосердия, а не замешательства".

Для палестинцев изгнание есть язык замешательства. В их состоянии нет милосердия. Арабы Израиля живут в состоянии замешательства внутри своего израильского состояния, которое

само есть всеобщее замешательство, и только иврит, этот язык милосердия, в состоянии выразить это их состояние. Они принадлежат к арабскому меньшинству, живущему среди еврейского большинства, которое само есть меньшинство среди арабского большинства на Ближнем Востоке. Это, пожалуй, чересчур многослойная матрешка, и порой мне трудно даже сказать, где кончается утраченная мною родина и начинается изгнание. Так же трудно, как сказать, что говорит моим голосом — моя родина или мое изгнание.

Я мог бы процитировать Натана Заха, который писал: "Все мы стоим перед завесой непроницаемого дождя и сверяем свои часы по его каплям". Можно ли сравнивать наши замешательства? Наши изгнания? Халиль Сахаккин, воспоминания которого недавно опубликованы в Каире, построил свой иерусалимский дом в 1937-м году, недалеко отсюда, в квартале Катамон. 3 апреля 1949-го года он бежал в Каир, где еще через три года умер в изгнании. Покидая свой дом, он писал: "Прощай, моя библиотека. Хотел бы я знать, что станет с тобой. Разграбят ли тебя пришельцы, сожгут или перевезут в другое место?" Библиотека Халиля Сахаккина была перевезена в Национальную библиотеку в Иерусалиме, в его бывшем доме сейчас размещается детский сад, а сам он умер, так и не увидев родину. Он писал на чистом и ясном арабском языке, на котором я учился своему замешательству. Чтобы рассказать о его судьбе, я отдался на милосердие иврита. Кое-кто считает, что я совершил культурную измену, за которую когда-нибудь еще поплачусь. У Сахаккина не было иного выхода, кроме изгнания. Хотя он был окружен людьми, говорившими по-арабски, он чувствовал себя одиноким, потому что арабский язык его родного дома в Катамоне был утрачен им навсегда. Он не мог сменить его на каирский арабский. Нельзя сменить родину. Либо она у вас есть, либо ее у вас нет. Я оставил свою деревню в Галилее 25 лет назад. С тех пор я не видал ее звезд. Мой дядюшка говаривал, что единственная разница между городом и деревней состоит в том, что в городе никогда не видишь звезд. И действительно, когда человек покидает свой дом, для него больше нет звезд. Как вы помните, Данте и его проводник завершают свой путь в Иерусалиме. Выходя из Чистилища, они видят горный Иерусалим под шапкой облаков, и в разрыве облаков им открываются звезды. Я могу лишь закончить вопросом: будет ли дано и нам увидеть эти звезды?

ОРИ БЕРНШТЕЙН: Мне хотелось бы рассказать о творчестве на иврите в Израиле, как о тройном изгнании. Всякая поэзия есть процесс расчленения, медленное и трудоемкое деяние, в ходе ко-

того поэта из всех сил пытается изобразить окружающий его мир, пока не обнаруживает, что создает лишь бледную его тень. Поэзия — это отмежевание, это попытка выразить невыразимое средствами так называемого “обычного языка”. Это одинокое занятие. Пытаясь уловить неуловимое, поэт теряет связь с реальным миром, с тем, с чем больше всего хотел бы быть в связи. Поэзия есть процесс изгнания, где стесняет сама попытка связи и общения. Обычная речь вторгается во внутренний диалог поэта с самим собой. Поэт надеется, что сможет назвать мир по имени, дать названия вещам и мыслям и тем самым их, в конце концов, объяснить. Это стремление объяснить, лежащее в основе поэтического творчества, неизбежно заставляет поэта наложить на себя эпитимью добровольного изгнания. Поэт пребывает вне рамок общения с окружающим, хотя и питается им. Таков парадокс его двойного видения: чтобы знать, он должен стереть знание. Поэзия есть постоянное отгораживание себя от всего, что говорили, думали или писали другие. Этот жестокий выбор, этот непрерывный поиск единственного верного слова составляет акт мужества, но одновременно — акт самоизгнания. Единственный мостик, соединяющий поэта с реальностью, — это язык. Его единственное средство общения, его опора, его инструмент и его отчаяние — язык. Единственный способ придать форму окружающим предметам, переплавить их в новую, искомую реальность, в долгожданный облик — это язык.

История ивритской поэзии есть история языка. Она не возникла одновременно с государством Израиль, как, практически, произошло с ивритской прозой. Она не является и частью европейской традиции. Но она является частью трехтысячелетней языковой традиции иврита — этого языка, лишенного страны. Вообразите себе поэта, который творит на языке громадном и безграничном. Раскапывая один слой языка за другим, он обнаруживает все более древние и тем не менее живые предметы культуры, сохраненные в этом языке. Трудно описать это нематериальное качество языка, одновременно существующего в разных тысячелетиях, пересекающего периоды и века и не привязанного к одному определенному социальному или историческому контексту. Нет ничего более радостного и в то же время более устрашающего, чем творить на языке, в котором эхом отдаются слова Библии и мистическая поэзия шестого-седьмого веков, средневековая ивритская поэзия Испании и совершенно отличная от нее поэзия итальянского Возрождения, ивритская поэзия Просвещения 18-го века и современная, динамичная, непрерывно меняющаяся поэзия Израиля. Ивритский поэт как бы блуждает по длинному

коридору, открывая дверь за дверью в странные, чудесные, мрачно-величественные залы, все время сознавая, что все эти залы выводят в тот же коридор, из которого, возможно, и нет выхода. Все это приводит к некой странности, к какому-то чувству отчужденности, отстраненности в самом процессе создания ивритской поэзии. Благодаря всем этим эхо, этим древним отголоскам, этой тяжелой ноше веков, ивритская поэзия никогда не была и не будет поэзией, повествующей об определенных ситуациях, она никогда не может впрямую соотноситься с каким-либо определенным историческим или социальным контекстом, она всегда как бы парит над ним и со своих лингвистических высот взирает на суету человеческую. Такая возможность одновременно работать с самыми разными слоями языка очень редко существует в других поэзиях, где поэт, избирая слова, сразу же помещает себя в определенном периоде культуры. Ивритский поэт подобен алхимику — смешивая всевозможные любопытные и редкие элементы и распевая, подобно всем поэтам, какие-то заклинания над своим тиглем, он надеется выделить субстанцию, которая, быть может, подарит ему — и другим — бессмертие. И поэтому сочинение поэзии на иврите — занятие абстрактное, в нем меньше контакта с окружением, чувства принадлежности к месту и стране, — зато сильнее ощущение принадлежности к культу, ритуалу, религии. Все поэты пребывают в изгнании, но ивритские поэты пребывают в изгнании внутри изгнания. Мало того, что они говорят необъяснимое, они вынуждены творить его в соответствии со своими собственными безумными установлениями и правилами, которые не обязательно соотносятся с окружающей реальностью.

Третий же слой изгнания поэта, пишущего на иврите, связан с тем, что они пишут в стране, которая меняется и исчезает буквально на их глазах. Нам выпала судьба видеть, как страна, в которой мы выросли и живем, постепенно отходит в прошлое, перестает существовать. Нам выпала судьба пребывать дома и одновременно в постоянном и неизбежном изгнании, откуда нет пути назад, ибо место, куда мы мечтаем вернуться, есть в действительности место, где мы пребываем. Перемены, которые произошли с государством Израиль со времен моего детства, — не политические перемены, а культурные метаморфозы, человеческие изменения, — столь глубоки, что я порой чувствую, будто нахожусь в чужой стране. Эта страна начиналась как европейская мечта, как идеальный сборный пункт европейского еврейства, которое должно было создать здесь, на своей исторической родине, новое государство, новую культуру, нового человека. Самое забавное, что это случилось, это действительно произошло.

В детстве я еще успел кое-что из этого ощутить, какую-то частичку этой мечты, но с течением лет, особенно после 60-х, после заката империи, культура (в которую, как мы думали, мы со временем вольемся), цивилизация (которую, как мы думали, мы продолжим создавать) — все это исчезло. Как если бы землю, на которой мы строим, медленно заливало море, и мы оставались на необитаемом острове. Как если бы мы все еще правили кораблем, идущим под гордыми парусами, но с незнакомым вымпелом и к неизвестному назначению. Говоря языком научной фантастики, мы пытались преобразовать нашу землю, но земля преобразовала нас, и теперь трудно понять, являемся ли мы предтечами небывалой новой культуры или останками мертвой, разлагающейся идеи. В любом случае нас становится все меньше. Возникает чувство перемещенности, бытия вне места. Быть может, мы даже становимся смешными.

И все же чувство свободы и ощущение силы, которое поэт извлекает из владения своим языком, есть и остается тем, что поддерживает поэта в его самоизгнании; это единственное, во что он может верить в нашем ненадежном, невероятном мире. И поэтому мы все еще призваны. Здесь и только здесь — живой центр иврита, только в этой стране — пылающий очаг наших слов. У нас есть еще дело. Быть может, мы здесь для того, чтобы присматривать за языком, чтобы сохранить его. Быть может, это та нить, которая, в конце концов, выведет нас из нового лабиринта. Сохраняя и развивая язык, мы сохраняем и поддерживаем становой хребет новой израильской культуры, — если ей суждено стать. И поскольку поэзия, как всем вам известно, есть самое оптимистическое из человеческих знаний, мы, быть может, сумеем, в конечном счете, — если не отступимся — превратить иврит в то, чем он уже был однажды, во времена Библии и Мишны, — в язык, принадлежащий определенной стране и определенному месту. И эта страна сможет, в один прекрасный день, быть определена своим языком. Так что, быть может, невзирая на щемящее чувство собственного изгнания, мы неосознанно трудимся ради того, чтобы покончить с изгнанием наших соплеменников — и с вековым изгнанием их языка. В этом надежда.

\* \* \*

В ходе обмена мнениями, возникшего после выступления Шамаса и Бернштейна, английский поэт и переводчик АЛЬВАРЕЦ (потомок испанских евреев, некогда выселившихся в Англию) заметил Бернштейну, что его разочарование не является только

личным. “Многие евреи и не-евреи на Западе, — сказал Альварец, — тоже испытали разочарование, поняв, что Израиль становится просто еще одной “нормальной” страной, эгоистически занятой своими государственными интересами, а не “светочем для наций”, как мы думали и надеялись вначале”.

Израильский писатель АМОС ЭЛОН начал свое выступление с извинения: “После столь трогательных речей двух последних ораторов что может добавить политический писатель, каковым я являюсь? Я поистине чувствую себя ничтожеством в такой компании, и это напоминает мне анекдот о двух хасидах, которые рассуждали, какими ничтожествами они себя чувствуют по сравнению со вселенной. Сзади шел литовец, который пробормотал про себя: странно, но я тоже ощущаю себя ничтожеством по сравнению со вселенной, — на что хасиды, оборотясь, гневно возразили: а ты кто такой, чтобы ощущать себя ничтожеством?”

Есть что-то утешительное в этой притче, и я вступаю в дискуссию с ощущением своего ничтожества среди поэтов, надеюсь, что они не обернутся. То, что говорил Антон Шаммас, было сказано в прямом, реальном, материальном, а не в поэтическом или переносном смысле. То, что он говорил о языке, вряд ли относится к уважаемым профессорам, размышляющим о том, на каком языке написать свое исследование поэзии. То, что он говорил, касалось центральной проблемы нашей израильской культуры. И можно смело сказать, что, начиная с 1948 года, в израильской литературе нет ни одного мало-мальски заметного писателя, который не был бы одержим этой темой, не пытался бы справиться с ней в моральном или экзистенциальном плане. Увы, пока эти усилия остались безуспешными. Иногда они напоминают мне притчу Кафки о человеке, который борется с двумя враждующими силами. Я могу лишь повторить за Кафкой: “Никто не знает, кто победит, потому что никто не знает, чего хочет сам человек. Но его мечта, в которой он боится признаться, состоит в том, чтобы выбраться из этой ситуации”.

Профессор СЕГАЛ, заведующий кафедрой славистики Иерусалимского университета, подвел итог, спросив Шаммаса, есть ли у него самого представление, каким должен быть Израиль.

ШАММАС ответил, что это напоминает ему известный вопрос к Голде Меир: “Голда, о чем ты думаешь по ночам?” “Голде Меир, — продолжил Шаммас, — наверно чудились кошмары. Меня они не преследуют. Моя мечта в том, чтобы государство Израиль стало государством Израиль, в котором все его граждане назывались бы израильтянами, а не евреями, арабами или христианами”.

\* \* \*

Одно из выступлений на встрече не может быть обойдено. Оно принадлежало профессору Сегалу и касалось состояния современной русскоязычной литературы в метрополии и за его пределами. Литература эта, в изображении Д. Сегала, выглядела, скорее, как экзотически нелепый “русский медведь”, топчущийся в кругу изысканных и европейских кавалеров. В России, утверждал оратор, вся литература сводится к официальной, представленной именами Бабаевского и Бубеннова (?!) и нынешним журналом “Новый мир”; на Западе она отличается только политическим знаком, примером чему может служить “Континент”; что же касается Израиля и США, то здесь вырвавшиеся “на волю” графоманы наводняют рынок сексуальными и прочими приключениями и дешевыми журналами-однодневками. Никакой другой русской литературы, критики, журналистики ни в России, ни на Западе, ни в Израиле Д. Сегал не заметил — или, быть может, не удосужился узнать? Увы, он был единственным, кто представлял на встрече русскоязычный Израиль; тем более ответственным было его выступление и тем больший вред оно принесло, создав в умах присутствующих совершенно извращенную и нелепую картину, заслонившую усилия и труды многих десятков (если не сотен) талантливых авторов и серьезных журналов. Остается надеяться, что люди, подобные Милошу или Венцлове, сами знают реальную ситуацию; но этого не скажешь об израильских участниках симпозиума — в их умах картина, созданная Д. Сегалом, вероятно останется “подлинной”. Можно лишь пожалеть, что организаторы встречи не пригласили на нее ни одного из русскоязычных поэтов и писателей, работающих в Израиле, — их “промежуточное” положение в отношении изгнаничества могло бы помочь наведению моста между двумя линиями творческого опыта, которые оказались представленными на встрече.

\* \* \*

Двумя центральными событиями иерусалимской встречи поэтов было участие в ней Нобелевского лауреата Чеслава Милоша и — увы! — н е у ч а с т и е заранее и настойчиво приглашенного Иосифа Бродского. Мы предлагаем читателям интервью Милоша, которое он дал во время пребывания в Израиле, а также статьи Венцловы и Бар-Селлы, анализирующие творчество Милоша и Бродского; быть может, эти статьи заменят те “исповеди” этих двух изгнанников, которые так и не прозвучали на иерусалимской встрече.

## ИНТЕРВЬЮ С ЧЕСЛАВОМ МИЛОШЕМ

— Говоря об изгнании, вы воспользовались польским выражением, которое, в сущности, означает “насильственное изгнание”. Но ведь в вашем изгнании все же наличествовал элемент выбора, не так ли?

— В польском языке “изгнание” просто и Изгнание из Рая выражаются одним и тем же словом. Но верно, что в моем случае был элемент выбора. Можно даже сказать, что я навязал себе изгнание. Передо мной встала дилемма: оставаться в Польше, разделив судьбу оккупированной страны и отказавшись от права на независимую жизнь — либо? Это “либо” превратилось для меня в огромный вопрос. Я не хотел покидать Польшу. Я находился тогда на дипломатической службе и на своей должности не играл в те двойные игры, в какие следовало тогда играть. Не скажу даже, что меня особенно притесняли, хотя я никогда не был членом партии. Тем не менее в 1951 году я сделал свой выбор.

— Этому предшествовал длительный процесс?

— Длительный и болезненный. Я пытался всеми силами уйти от выборов, найти компромиссные решения. Мой добрый друг, поэт Антони Слонимский, сказал мне: “Послушай старого мудрого еврея, — постарайся остаться “снаружи”, как можно дольше, и реши для себя этот вопрос”. Но я не мог. Кошмар сталинщины разрастался. Многие не сразу ощутили его, литературной братии все же выпало несколько хороших лет. Но в 1950-м году в Польше уже царил атмосфера кошмара. Однако я все еще продолжал колебаться, и колебания эти были совсем не просты. Для писателя изгнание куда тяжелей, чем для врача или инженера. Мысль о том, что я лишусь своих читателей, ужасала меня. Порой я чувствовал, что многие этого не понимают. “Ну, и что? — говорили мне. — Почему ты придаешь такое значение писательству? В крайнем случае, станешь таксистом...” Но я не могу быть таксистом или вообще кем-то иным, я могу быть только собою.

— И тогда вы порвали с режимом и остались во Франции? Можно было ожидать, что благодаря ореолу изгнания вы станете баловнем литературных и интеллектуальных кругов, что тогдашние экзистенциалисты восхитятся вашим выбором. Но насколько я понимаю, этого не произошло?

— О нет! Во Франции того времени интеллектуалы восхищались Сталиным и тем, что именовали “социализмом”. Я казался им прокаженным, во мне видели изменника “святому делу”. Что поделаешь? Они были заняты бессмысленной философской акробатикой, я же был отверженным, я был “агентом империализма”. Единственным, кто отнесся ко мне по-дружески, был Альбер Камю. Но я не осмелился бы назвать его своим другом,



я в то время был крайне стеснителен и не дружил ни с кем, у меня было сильнейшее чувство неполноценности. Я боялся показаться навязчивым, создать у Камю впечатление, будто ищущего его "одолжений". И была еще одна дилемма, практически самая важная: либо я создам что-нибудь значительное, либо умру с голоду. А мне нужно было кормить жену и двух детей. В этом состоянии я писал свои первые книги на Западе — "Пленный разум" и "Достижение власти". За вторую из них я получил премию. Не слишком престижную, всего лишь швейцарскую премию, но все-таки... После нее мои книги начали приносить мне доход.

— Для человека, познавшего некогда острое чувство неполноценности, Нобелевская премия должна иметь большое личное значение.

— По правде говоря, успех, премии — это вещи довольно практические, особенно если вы склонны к пессимизму и преисполнены ощущением собственных провалов, недостатков и грехов. Давайте скажем так: премия и успех уравнивали все это; не склонили чашу весов в другую сторону, но уравнивали ее.

— Вы употребили слово "грех". Только человек, глубоко впитавший католицизм, мог воспользоваться этим словом для обозначения своего экзистенциального состояния. Религии и ее символика отводятся почетное место также в ваших стихах. Вы религиозный поэт?

— Я считаю себя религиозным человеком. Может быть, в некоторой степени еретиком, но все же религиозным. Меня иногда спрашивают, почему в моих стихах появляется именно Паскаль. Мне думается, что он олицетворяет религиозное чувство как глубокое отчаяние. Символика же моих стихов есть результат католического воспитания и чтения религиозной литературы, включая хасидские книги и произведения Гершома Шолема.

— Вы поразили меня несколькими фразами на иврите. Правда, вы утверждаете, что говорите лишь "немного" (произносится это на беглом иврите), но в то же время вы перевели на польский несколько библейских книг.

— Мой иврит — иврит среднего "талмид хахам", хотя мой переводчик Давид Вайнфельд утверждает, что через полтора месяца я заговорил бы на этом языке. Переводить Библию я начал благодаря своему близкому другу, католическому священнику и директору издательства в Париже. Он сумел уговорить меня; к тому же мне и самому хотелось этим заняться — мне мешало, что все переводы Библии на польский выполнены с латинского. Я уже говорил, что в положении американского профессора есть свои приятные возможности — словом, я начал изучать иврит, а позднее занимался с частными учителями. Мне удалось усвоить грамматическое строение языка, а над остальным я работаю со словарем. Результат — перевод книги Притчей, Иова, Экклезиаста

и Руфь. Знаете ли вы, что в Варшаве в конце 19-го века жил раввин по имени, если не ошибаюсь, Ицхак Челков, который перевел на польский весь Ветхий Завет? Конечно, мой перевод весьма отличается от его текста, но без него я бы вряд ли осмелился взяться за эту работу вообще. Лишь переводя книгу Иова, я понял, насколько это на самом деле сложно. Пришлось прочесть массу комментариев. Но я восхищался книгой Руфь и Экклезиастом, в которых ощутил сильнейшее поэтическое начало.

— Почти половину жизни вы провели в изгнании. Как-то вы обмолвились, что если яд изгнания не убивает, то он укрепляет душу. Оглядываясь назад, считаете ли вы, что изгнание похоже на то, каким вы его себе представляли?

— В книге, где я обобщил свой автобиографический опыт, я писал, что если бы во мне случайно не открылась какая-то внутренняя сила, я не выжил бы. Думаю, это следует приписать прочности моей конструкции. Но, говоря по правде, все это меня больше не тревожит. Я давно уже не думаю об этом. Мне никогда не довелось пожалеть о своем решении. В конце концов, я мог бы с легкостью вернуться в Польшу в 1956-м году, как сделали некоторые мои коллеги, пропадавшие среди чужого языка, в чужом климате изгнания. Я их не осуждаю. Но сам я не соблазнился этой возможностью.

— Видится ли вам еще что-то, что вы хотели написать и не написали, какая-то еще неосознанная реальность, говоря вашими словами?

— Я еще ничего не осознал. Я лучше процитирую вам свой ответ на вопрос газеты "Либерасьон", которая спросила разных писателей мира: "Почему вы пишете?" Я ответил: "Почему я пишу? Я люблю то, что существует в этом мире, и пытаюсь найти слова, которые передали бы хоть малую частицу его великолепия и сложности. Я знаю — мне не найти этих слов. Как путник, поднимающийся в гору, я прихожу в отчаяние, когда гигантский пик в конце пути оказывается подножием еще более высокой горы. Можно сказать и так: я пишу, чтобы отблагодарить Бога за дар существования, чтобы противостоять самому факту отрицания, которое есть хаос и небытие".

*Сокращенный перевод с иврита  
Сергея Шаргородского*

*Интервью было дано Чеславом Милошем корреспондентке газеты "Гаарец" Л. Галили во время пребывания Милоша в Иерусалиме в марте 1985 года.*

## ПОЭЗИЯ КАК ИСКУПЛЕНИЕ

Много лет назад в провинциальном городе жил молодой поэт-авангардист. Город в те времена принадлежал Польше. В 1940 году его заняли советские войска. Хотя поэт был человеком левых взглядов (точнее, именно по этой причине), новые порядки произвели на него слишком сильное впечатление, и он решился на самоубийственный шаг — бежать в Варшаву, к тому времени захваченную нацистами. По пути ему пришлось тайно пересечь четыре границы, охраняемые советскими и немецкими войсками безопасности. Все же он дошел до Варшавы и провел в ней военные годы, переводя “Бесплодную землю” Эллиота и печатая в подпольной прессе превосходные стихи. После войны все поняли, что более крупного поэта в Польше нет; к сожалению, это поняли и новый коммунистический режим. Оставались два выхода — задохнуться либо приспособиться. Поэт ушел на Запад. На этот раз он был еще более уверен, что совершает самоубийство — если не физическое, то поэтическое: писать в чужом языковом окружении казалось ему невыносимым. Он провел на Западе тридцать лет, следуя джойсовскому кредо: “Молчание, изгнание, высокое ремесло”. К собственному удивлению, он продолжал писать — не только эссе и романы, но и стихи на никому вокруг него неизвестном польском языке, одно лучше другого. Имя его в Польше было вычеркнуто из газет и книг, разве что изредка его дозволялось упоминать с эпитетом “предатель”. Но стихи его стали понемногу проникать на родину и даже в его родной, ныне советский город — на дне туристских чемоданов, в карманах приезжих, порой в письмах. Молодые поэты заучивали его строки наизусть, а оказавшись за границей, почитали долгом чести с ним увидеться. Со временем его книги стали переиздавать в подполье — так же, как в годы войны. Когда поэт получил Нобелевскую премию, все поняли — и даже коммунистическая власть поняла, — что самоубийство и на этот раз обернулось победой. Тридцать лет спустя он приехал в Польшу, где каждый, от Леха Валенсы до школьника, знал его стихи. Как ни странно, эти сдержанные, нередко загадочные стихи повлияли на судьбу страны заметно больше, чем все, что за тридцать лет совершили власти (а власти никак нельзя было обвинить в недостатке рвения).

Здесь нашу историю хотелось бы закончить. Но она не кончена. Вскорости польские генералы объявили войну своему народу, поэт был снова отрезан от страны, а вместе с ним десятки молодых писателей, его друзей и учеников. Не исключено, что новому польскому поколению предстоят новые тридцать лет “молчания, изгнания и высокого ремесла”.

Мне кажется, что биография Чеслава Милоша — самая необычная писательская биография в нашем столетии. Для нее нетрудно подыскать мифический архетип — конечно же, это миф о Сизифе, сейчас знакомый многим первокурсникам в интерпретации Камю. “Невозможно отделаться от бремени. Но Сизиф учит высокой верности, которая отрицает богов и сдвигает горы... Будем верить, что Сизиф счастлив”.

Слова Камю высокопарны, и не мое дело судить, счастлив ли Чеслав Милош. Но я знаю, что это писатель, который больше других в наше время знает о границах человеческого опыта и речи, о достоинстве языка и о высокой верности.

Книги Милоша укоренены в его биографии, которая научила его “додумывать любую мысль до конца, каким бы он ни был”. Он прошел испытания, определившие наш век, и даже странным образом их предвидел: в его юношеских стихах 1936 года упоминаются “белые скалы крематориев, дым, исходящий из мертвых осиных гнезд”. Существенно, что он видел тоталитарную цивилизацию в обоих вариантах: многие в наши дни, увы, склонны помнить либо только Освенцим, либо только Гулаг. При этом опыт Милоша преломился в личной биографии и личной истории: “Мы проникаемся жалостью и ужасом к человеческому бытию не в абстрактном плане, но в связи со временем и местом, с какой-то провинцией, с какой-то страной”.

Итак, провинция и страна. Милош вырос в Вильнюсе, который еще называют Вильно и Вильна — в зависимости от семейных традиций и политических пристрастий. Столица Литвы мало известна на Западе, да сейчас почти и недоступна: она находится на беспокойной окраине советской империи, куда иностранцев стараются по возможности не впускать. Но Вильнюс принадлежит Европе ничуть не в меньшей степени, чем Прага и Дублин. Это город ренессансной и барочной архитектуры, романтической поэзии, старых католических традиций; его университет — в свое время иезуитский — постарше Гарварда, и Вильнюс как-то естественно пробуждает интерес к богословию. Он стоит на самой гра-

нице западного и восточного христианства: главная улица с одной стороны упирается в католический собор, с другой в православный, причем католический находится как раз на **восточном** ее конце, а православный на **западном** (впрочем, сейчас это пустая символика, ибо оба собора закрыты советскими властями). В годы юности Милоша половину населения Вильнюса составляли евреи — город славился как “литовский Иерусалим”. Теперь евреев там всего несколько тысяч: кто переселился в настоящий Иерусалим, кто в Нью-Йорк, а большинство осталось в безымянных могилах 1941—44 годов. От многочисленных синагог нет и следа. Еще недавно город был окружен и четвертым миром — литовской деревней, в которой звучал наиболее архаический из живых индоевропейских языков, сохранялись полуязыческие табу и ритуалы, обожествлялись деревья и ужи. Милош по этому поводу писал:

Я чаще всего вспоминаю одно из своих прегрешений:  
Как-то на лесной тропинке, у ручья,  
Я камнем раздавил ужа, свернувшего в травах.

И все, что случилось потом, было лишь справедливым  
возмездием,

Настигающим каждого, кто преступил закон.

Сопоставление Вильнюса с Дублином отнюдь не случайно. По любопытной аналогии, Литва играла для Польши почти ту же роль, что Ирландия для Англии (впрочем, дело здесь обходилось без больших кровопролитий). Именно в Литве выросли лучшие польские писатели. В городе господствовал польский язык; в деревне сохранялся литовский, который отличается от польского не меньше, чем кельтский от английского; литовские песни и легенды были не менее ощутимым субстратом для здешних польских поэтов, чем ирландские саги для Йитса. Кстати, литовский язык оказался крепче кельтского: сейчас на нем говорит не только деревня (где устроены колхозы, а ужи в общем истреблены), но и город. Милош знает литовский в достаточной степени, чтобы переводить литовских поэтов, но пишет он только на польском. Все же литовцы с некоторым основанием считают его поэтом обоих народов, как и его великого предшественника в 19-м веке, Адама Мицкевича.

Архаический угол Европы, где вырос Милош, был миром устойчивых иерархий. Каждодневная жизнь крестьянина — и не только крестьянина — подчинялась природным ритмам; **сакрум** присут-

ствовал в камне, ветви, времени года и дня; интеллектual жил в сложной истории и традиции этих мест, как живут в запущенном, но привычном доме (позднее Милош скажет в одном из своих стихотворений: "Ибо страна без прошлого — Ничто."). И в то же время это был мир перемешанных этнических зон, напряженного и далеко не всегда дружелюбного сосуществования; в нем без конца менялись границы, языки и власти, бесследно исчезали, а порой необъяснимо воскресали целые народы и государства; и он оказался хрупким и непрочным перед лицом 20-го века. Запад всегда знал о нем очень мало: "Неудивительно, что государственные мужи, подписавшие Ялтинское соглашение, так легко отказались от ста миллионов европейцев, рожденных в этом темном пространстве". Сейчас о "темном пространстве" между Эльбой и Уралом казалось бы нечего и знать: царство развалин и лагерей превратилось в единообразное и скучное царство советизма, напоминающее о себе в основном ракетами — а впрочем, и Солженицыным, Бродским, Милошем.

Как немногие писатели современности, Милош сохраняет ощущение иерархии ценностей. От относится к скептическому и релятивистскому языку нашей эпохи с дистанцией и глубоким недоверием. Недавно он сказал в одном из своих интервью: "Для меня главная разница между восточным и западным обществом заключается в том, что мы, люди с Востока, веруем в примитивные категории добра и зла. Разумеется, это связано с опытом нацизма, а также с опытом коммунизма — разделять их не следует. Мы веруем в добро и зло — этим все сказано". На Востоке добро и зло попросту заставляют в себя поверить: у зла для этого есть превосходный инструмент — физическая боль. Речь идет не только о добре и зле. Есть и другие оппозиции: правда и ложь, красота и безобразие, небо и земля. А также: Восток и Запад, Север и Юг. А также: Прошлое и Будущее. Эти оси составляют многомерный куб, и распад любой из них ведет к бессмыслице. А бессмыслицу и хаос Милош напрочь отказывается восхвалять ("Хаос идей в "Песнях" Эзры Паунда сам по себе обозначает реакционный политический выбор").

Милош ощущает время как "таинственную субстанцию", с которой играть небезопасно: метаморфозы обществ и стран, по его мысли, должны происходить органично, столетиями, и революции во имя головной доктрины не ведут ни к чему, кроме массовых страданий и затем — топтанию на месте. "Вертикальная ориента-

ция, когда люди возводят очи горе, за несколько последних столетий сменилась в Европе горизонтальной: поскольку наше воображение всегда имеет пространственный характер, слово “ввысь” сменилось словом “вперед”, и это “вперед” было присвоено марксизмом”. “Вперед” — пожалуй, самое заметное слово в новоречи тоталитарных стран (только имя очередного диктатора может соперничать с ним по частоте); ради движения вперед каждое поколение там приносится в жертву следующему за ним; однако любой настоящий и бывший гражданин этих стран понимает, что это движение ведет — увы, даже не в пропасть, а в болото.

Взгляды Милоша легко назвать консервативными. Но к нему применимы слова, которые он сам применил к Симоне Вайль, мыслительнице и моралистке тридцатых годов, для которой философия была не игрой абстрактных категорий, а образом жизни и причиной смерти: “Если она считала что-то важным, то и говорила это — без оглядки на мнения других”. Милош выступает против сил распада, беспамятства и откровенной лжи. Его слова о марксизме — пожалуй, самое разумное, что можно сказать об этой далеко не простой доктрине: “Марксисты занимаются наиболее существенными проблемами нашего столетия, и потому нельзя относиться к их теориям с безразличием. Но им не следует также и доверять, ибо они обычно делают ложные выводы из верных предпосылок, всегда поддаются давлению своей доктрины и в угоду ей искажают факты”.

То, что иной назовет консерватизмом Милоша — это прежде всего стремление устоять в гераклитовой реке. Милош заинтересован в глубинных структурах человеческого опыта, в языке культуры, определяющем ее функционирование во времени, ее речь. Если он и подвержен ностальгии — это ностальгия не по утраченной родине и даже не по детству, а по утраченной шкале ценностей, по самой категории ценности, по культуре, по языку. Нетрудно усмотреть некоторое сходство Милоша с Эллиотом, которого он переводил в подполье оккупированной Варшавы. Другой поэт, который в этом контексте вспомнится каждому, знакомому с судьбами Восточной Европы — Осип Мандельштам. Сам Милош ссылается на менее известное имя: это Оскар Милош, его дальний родственник и поэтический учитель, один из поразительно своеобразных людей начала века. Сын польского магната и еврейки, он стал дипломатом независимой литовской республики; при этом он никогда не выучил языка страны, которой

верно служил; он писал замечательные стихи по-французски, но потом забросил их ради сведенборгианских пророчеств, в которых предсказал мировую катастрофу, начинающуюся в "польском коридоре", падение Луны на Россию и гибель Америки (он считал Америку чем-то вроде "великого дьявола" современности). Как ни относиться к этим пророчествам (которые, впрочем, исполнились или не столь далеки от исполнения), Оскар Милош был одним из тех, кто пытался найти моральную точку отсчета в нашем мире, и Чеслав Милош многому научился у него.

Размывание шкалы ценностей, по Милошу, начинается исподволь, на большой глубине, с отвлеченных богословских споров: подчинение человека законам детерминизма, включение его в природу обесмысливает жизнь и смерть. То, что остается, может быть описано четырьмя словами — "смолкающий шепот, гаснущий смех". Это редуцирование человека преподает нам урок стоицизма; к сожалению, оно легко поддается вульгаризации — в школе, в трудах второсортных мыслителей, в мозгах потенциальных диктаторов. Милош видит глубокую связь между победой детерминистской биологии в 19-м веке и тоталитаризма 20-го века, которые предлагают человеку следовать либо закону джунглей, либо закону муравейника, либо — чаще всего — обоим этим законам.

Поэзия здесь также обладает долей вины. "Что, если жалобы, столь частые в сегодняшней поэзии, являются пророческим отзвуком того безнадежного положения, в котором оказалось человечество? Если это так — поэзия лишний раз доказала, что она умнее рядового гражданина или что она попросту высказывает напрямую то, что скрыто в сознании людей". С 19-го века — с Бодлера и еще больше с Малларме — поэзия либо погружается в дебри самой себя, в нескончаемые языковые метаструктуры, либо становится крайне личной; и пока поэт — порой не без комфорта — путешествует по своему частному психоаналитическому аду, кругом него нарастает вполне объективный ад, лишенный всякого комфорта. Можно сказать, что поэты лишь бессознательно предсказывают новую эпоху — с ее отчуждением, господством пустых языковых конструкций, эгоизмом и культом смерти. Но для чуткой совести бессознательное провидение уже есть соучастие в вине. Поэтому Милош говорит в одном из лучших своих стихотворений:



...стихи надо писать редко и нехотя,  
когда иначе невозможно, и остается лишь надежда,  
что добрые, не злые духи избрали нас своим орудием.

Есть ли выход из тупика, где поэзию выбирают своим орудием по меньшей мере сомнительные духи? Милош видит признаки надежды в поэзии Восточной Европы. Он создал ряд коротких и блестящих эссе о польских поэтах. К сожалению, Кохановский, Мицкевич, Бялошевский, Ват известны на Западе несравненно меньше, чем Спенсер, Байрон, Каммингс или Лоуэлл (хотя это поэты примерно того же ранга). Разговор о них не просто информативен: он позволяет Милошу развернуть свою теорию классицизма и реализма (я предпочел бы называть эти два полюса всякой литературы "поэтикой узнавания" и "поэтикой смятения"). Каждый поэт для Милоша — реалист по определению. "Сам акт называния вещей предполагает веру в их существование, следовательно, в реальность, что бы там ни говорил Ницше". Но в отличие от Бога мы неспособны видеть мир иначе, чем через язык. Перед поэтом в любом столетии встает один и тот же выбор: либо строить прекрасные структуры из языковых топосов и клише (клише — понятие широкое, сюда входит модное нарушение норм, верлибр и так далее) — либо попытаться совершить невозможное, назвать неназванное. Только напряжение между этими полюсами создает поэзию: иначе она превращается в заезженную пластинку или в хаотический бормот. Единственное, в чем я не вполне согласен с Милошем — то, что он склонен объяснять поэтические сдвиги реальными историческими сдвигами. На самом деле язык не следует за историей, он сам есть одна из сил, придающих истории меру и форму.

Поэзия Восточной Европы несомненно ближе к реалистическому полюсу. Каждый, кто сравнивал западные стихи с подлинными стихами, написанными в тоталитарных странах, вероятно испытал своеобразное ощущение: это не варианты одного искусства, а как бы два разных его вида. То, что на Западе — забава или в лучшем случае исповедь на фрейдовской кушетке, на Востоке все еще является делом жизни, а нередко и смерти. Западная поэзия обитает в основном на университетских кампусах; восточная скорее склонна оказаться в лагерных университетах. На Западе слушатели поэтов — другие поэты, и то не всегда; на Востоке поэзия — с великим риском для своего автора — преодоле-

вает изоляцию и отчуждение. Потерянность людей в тоталитарном мире, как ни странно, рождает новые виды связи, новые возможности тайной коммуникации, атомизированное общество может (хотя и не обязано) превратиться в новую семью. Милош, кажется, склонен считать это новым социализмом — не механическим и поддельным, как в Советском Союзе, а органическим и подлинным. Часто этот социализм означает только честную готовность погибнуть вместе с социумом, “с гурьбой и гуртом”, как погиб Мандельштам. Но, пожалуй, сейчас он уже может означать выживание и воскресение. Впрочем, слово “социализм” на Востоке настолько скомпрометировано, что здесь достаточно слова “солидарность”.

Поэзия, по Милошу, должна быть эсхатологической, то есть ориентированной по оси времени, направленной на будущее: без поэзии нет трансформации мира и языка. После трех веков, лаконично и убедительно описанных Милошем — Века Разума, Века Экстаза, Века Прогресса, — мы несомненно живем в четвертом и наихудшем, Веке Отчаяния; но есть стихи, и в том числе стихи самого Милоша, говорящие о наступлении нового века — Века Надежды вопреки.

Надежда состоит именно в восстановлении времени. Тоталитарные режимы, по известному орвелловскому рецепту, посвящают едва ли не главную часть своих усилий фальсификации, упрощению и умолчанию прошлого. При этом настоящее становится безнадежным, а будущее попросту отсутствует. Но наше время знает и противоположный процесс. Впервые в истории человечества открылись как некое целое деяние прошедших поколений, ритуалы, мифы и символы погибших цивилизаций, живопись, музыка, литература былых времен. Есть старое поверье, что человек перед смертью за несколько мгновений успевает увидеть всю свою жизнь; и мне иногда кажется, что раскрытие прошлого перед нашими глазами в 20-м веке предвещает близкую гибель. Я имею в виду не обязательно атомную катастрофу. “Смерть — не всегда самая главная угроза; нередко главная угроза — рабство”.

Но Милош считает, что силы, крушащие дух человека, еще могут отступить перед его сознанием и памятью. Возможно, нам предстоит создать некоторую новую науку: “Вместо того, чтобы подчеркивать черты человека, связывающие его с высшими формами эволюционной цепи, мы заметим другие его свойства: един-

ственность, странность и одиночество этого существа, которое остается тайной для самого себя и постоянно преодолевает свои собственные границы". Современная поэзия опять предсказывает и как бы ускоряет этот сдвиг, тем самым искупая свою давнюю вину. Именно в восточноевропейских странах процесс поисков утраченного времени, излечения от амнезии, осознания единственности и странности человека зашел особенно далеко — так далеко, что Большой Брат в окрестностях 1984 года едва ли чувствует себя вполне уверенно.

Сегодня, когда я пишу эти строки, сторонники растоптанной "Солидарности" в Польше все еще поднимают над головой международный знак У — знак победы. Они делают это и в Гданьске, у памятника расстрелянным рабочим, на котором высечены стихи Милоша. Говорят, генерал Ярузельский однажды заметил: "В польском алфавите нет такой буквы". Но поэты всегда лучше разбирались в буквах, чем генералы.

1983

*Зеев Бар-Селла*

### СТРАХ И ТРЕПЕТ

(Из книги "Иосиф Бродский. Попыты чтения")

Существуют занятия неблагодарные, поскольку они заранее обречены на успех. Статья о поэте-еврее для "Журнала еврейской интеллигенции" принадлежит к их числу. Задача автора такой статьи сводится к простейшей операции перестановки слагаемых: превращению поэта-еврея в еврейского поэта. Работа эта скучна и безотраднa, как зима в Сицилии. Автору остается лишь чисто-сердечно признаться в собственной интеллектуальной низости.

Есть и другой путь, путь, не обещающий никаких особенных радостей, поскольку для выхода на него необходимо задаться вопросом: "В чем же, наконец, черт побери, существо еврейской поэзии?" Но вопрос этот — только часть другого, который шире и лучше первого: "Существует ли вообще еврейская культура?"

Допустим на мгновение, что наличие означенной интеллигенции не является достаточной гарантией наличия самой означенной

культуры. Что же тогда позволяет нам выделить памятники данной культуры из массы других?

Тут у нас имеются два инструмента: первый — национальный (еврей); второй — тематический (о евреях). Итак, то, что написано евреями о евреях, есть национальное культурное достояние. Признание не замедливает ждать: “Забыт Пушкин и предан забвению Лермонтов, ибо у нас появился свой Пушкин, творящий на сочном русском языке по мотивам библейских сюжетов”.\*

Вот они — эти сочные куски библейских сюжетов:

Священный храм горел... На улицах Салима  
Заклания свершал рукой кровавой Рим...

или

Над светлым прозрачным Евфратом  
Плакучая ива стоит...

Спрашивается вопрос: действительно, на кой нам теперь “Ликует буйный Рим...”, “На севере диком стоит одиноко...”, вообще М. Ю. Лермонтов?

Соблазнительность продиктованной методологии в том, что она отменяет малейшую нужду выяснять разницу между поэтом никаким (цитированный Симон Фруг — 1870—1916) и талантливым. Так вот, чтобы написать о Иосифе Бродском, достаточно обнаружить в его “Еврейском кладбище около Ленинграда” приметы усердного чтения (А. С. Пушкин “Когда за городом задумчив я брожу и на публичное кладбище захожу...”), а в “Исааке и Аврааме” — библейский сюжет... Всего делов!

И более того — “Еврейское кладбище” написал Бродский, а мог написать Слуцкий, и никто не был бы удивлен.

Евреи хлеба не сеют.  
Евреи в лавках торгуют.  
Евреи раньше лысеют.  
Евреи больше воруют.

Для себя пели.  
Для себя копили.  
.....  
И не сеяли хлеба.  
Никогда не сеяли хлеба  
Просто сами ложились  
в холодную землю, как зерна.

Ну, разве это не доказательство универсальности еврейской культуры? Стоит еврею заговорить о евреях и нате вам: не то, что имени — голоса не отличить.

---

\*Из воспоминаний З. Шнеура (М. Север “Семен Фруг — поэт Возрождения” — в кн.: С. Фруг “Стихи и проза (Избранное)”. Т.-А., “Алия”, 1976 г. с. 13.

Но какому Слуцкому, какому иному из современников 1963 года могла принадлежать эта строфа:

Холмы, холмы. Не видно им конца.  
Не видно здесь нигде предметов твердых.  
Все зыбко, как песок, как тень отца.  
Неясный гул растет в небесных сверлах.

или эта:

Задвижек волны, темный вал щеколд,  
на дне — ключи — медузы, в мерном хоре  
поют крюки, защелки, цепи, болт:  
все это — только море, только море.

Это похоже на Бродского и только на Бродского. Отчего же Бродский вдруг стал говорить голосом своим, а не национально-бессознательным?

Объяснение может быть предложено самое простое: поэма "Исаак и Авраам", хотя в основу ее и взят ветхозаветный сюжет, посвящена моменту не национальной, а общечеловеческой истории. Ведь не ищем же мы еврейских предков у Серена Кьеркегора, положившего жертвоприношение Авраама в основание всей вообще религиозной философии... Так вот, согласно великому датчанину, на с а м о м д е л е Авраам зарезал Исаака, ибо готовность убить — с точки зрения этики — не просто равна, но в определенном смысле превосходит сам акт убийства. Книга Кьеркегора, названная им "Страх и трепет", и посвящена доказательству и осмыслению данного тезиса. Трудами Ф. М. Достоевского что-то подобное было перенесено на более сродную Бродскому петербургскую почву ("Преступление и наказание").

Оно, конечно, может быть и так. Жаль только, что философия сюжета чужая (Кьеркегор), да и вообще жаль, если конечный результат чтения стиха сводится к тому, что было сказано другими. Как-то обидно становится за несовершенство поэтического слова.

Но ведь может быть и не так! То есть может быть совсем иначе, можно даже допустить, что общечеловеческое не отменяет национального — разве ж мы не люди?!

Вот и поэма начинается несостоявшимся жертвоприношением, а заканчивается Лисой. Как свести воедино эти два сюжета? Очень просто: "Птицы имеют гнезда, лисы — норы, а Сыну Человеческому негде преклонить голову!" Иными словами, пространство поэмы вытягивается между двумя жертвами — Исааком и Иисусом.

Идея сама по себе не плоха, но небогата — общечеловеческое, слишком общечеловеческое.

Кроме того, лисы бегают не только по Евангелиям. Водятся они и у пророка Нехемии, и в плаче Иеремии, и в Песне Песней, и в книге Судей, не обошли их Иезекииль и Псалтырь... А виноград всегда зелен, в лесу все лисы рыжи...

Мы повели себя так, как если бы ответ был нам заранее известен, и к этому готовому ответу требовалось свести поэму-задачу. Все мы уже знаем. И где национальное, и где прочее человеческое... Значит, нужно идти дальше:

Еще я помню: есть одна гора.  
Там есть тропа, цветущих вишен арка  
висит над ней, и пар плывет с утра:  
там озеро в ее подножья, *largo*  
волна шуршит и слышен шум травы.

“*Largo*” — слово-отмычка, на этом языке озера шуршат только в “Божественной комедии”. В этой же главке — продолжение:

Пчела жужжит, блестит озерный круг,  
плывет луна меж тонких листьев ночью,  
тень листьев двух, как цифра 8, вдруг  
в безумный счет свергает быстро рощу.

Что такое “озерный круг”? Круглое озеро? Могло быть, если бы не “*largo*” — не о воде здесь речь, а о Кругах Ада: озеро — это один круг, луна — еще один, а цифра 8 — два. Однако, как нам известно, горизонтально выписанная восьмерка — это не сумма двух кругов, и даже не восьми, а знак бесконечности — “безумный счет”. Следовательно, речь идет о бесконечных адских кругах и нескончаемых адских муках. Так обстоит дело в строках с 93-ей по 113-ую.

Но те же математические операции производятся и через 12 страниц — почти в самом конце поэмы:

Бесшумный поезд мчится сквозь поля,  
.....  
бесцветный дым клубами трется оземь —  
и кажется вдруг тем, кто скрылся в нем,  
что мчит он без конца сквозь *ц и ф р у 8*.  
.....  
Сквозь *ц и ф р у 8* — крылья ветряка,  
сквозь лопасти стальных винтов небесных,  
он мчит вперед — его ведет рука,  
и сноп лучей скользит в холмах окрестных.  
Такой же сноп запряган в нем самом...

Поезд, единственный раз промчавшийся по поэме, вырвался неизвестно откуда, ушел непонятно куда... Мы же остановлены

в тупике, откуда нас не вывезут ни восьмерки, ни другая иная кривая. Картина усложнилась на глазах — фабула превратилась в лабиринт.

Идеалом научного познания является объяснение объекта из самого себя. Литературный объект в этом отношении исключения не составляет. Но, провозгласив подсудность любого текста структурному анализу, мы, сохраняя честность, сразу же должны беспокоиться разношерстностью объектов.

Данте — лисы — поезда... А также: ножи — кусты и доски... И еще: холмы — озера — горы — свечи... А к тому же — Авраам и Исаак... Возможно ли вообще нахождение общего знаменателя для предметов столь различных?

Возможно. И этой связующей нитью является хронология. Поезд относится к веку 20-му, странствие Авраама и Исаака — к началу веков. Тогда сюжет поэмы и есть установление некой общности, включающей эти два крайних звена временной цепи. Скажем, например, что недоумения Исаака рассеивает 20-й век, или же корень событий наших дней переплетается с корнями палестинских кустов. Или же — и то, и другое.

Поэтому, взглянем еще раз на поезд:

он мчит вперед — его ведет рука,  
и сноп лучей скользит в холмах окрестных.  
Такой же сноп запятан в нем самом...

“Холмы” — это элемент “сквозного ландшафта” (“В пустыне Исаак и Авраам/... /идут они по всем пустым холмам”; “Холмы песка”; “холмы, холмы. Не видно им конца” и т. д.), следовательно, разумно допустить, что и “поезд” представляет собой не просто поезд, а абсолютизацию некой идеи первой части поэмы. Такой идеей может быть только идея движения.

Это дает нам возможность понять смысл и связь сразу нескольких символов: “сноп лучей” есть ничто иное как “Огненный Столп”, указавший евреям путь в Землю Обетованную (“Исход” 13:21); “рука” — та самая “рука крепкая”, коей принудила фараона отпустить евреев (“Исход” 3:19); “куст”, многожды участвующий в поэме, — это растение из той же 3-ей главы книги “Исход”: “терновый куст”, горящий огнем и не сгорающий. Короче, все три символа обозначают один субъект — Господа.

Итак, возвращаясь к “поезду”, мы констатируем в нем наличие двух мотивов: идея движения и присутствия Бога. Возникает вопрос: каким образом они соотносятся друг с другом?

Ответ прост: это Господь никогда не оставляет и ведет Свой народ. Народ же продвигается к поставленной Господом цели. Во времена Авраама — пешком, в новые времена — на поезде.

Ответив на вопрос о пассажирах, поставим вопрос роковой и последний: пункт назначения?

На сей раз ответов может быть несколько: и Освенцим, и Майданек, и Трешлинка... Примечательно, однако, не место, а назначение: представив Авраама и Исаака в качестве исторического прообраза, Иосиф Бродский тем самым провозглашает идею кощунственную — еврейская Катастрофа была жертвоприношением, причем жертвоприношением, угодным Богу!

Идея Бога, как направляющей силы еврейской истории, не принадлежит Иосифу Бродскому. Сама по себе эта идея не плоха и не хороша. Вопрос весь в том, как к ней относиться. И здесь нашу дорогу перебегают лиса:

“Отцы наши грешили: их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их. От сего-то изнывает сердце наше; от сего померкли глаза наши. От того, что опустела гора Сион, л и с и ц ы ходят по ней. Обрати нас к Тебе Господи... Неужели Ты совсем отверг нас, прогневался на нас безмерно?”

Приведенный фрагмент из Ветхого Завета не иллюстрация, должная продемонстрировать двухтысячелетнюю психологическую неизменность еврейской литературы, но ключ: “Плач Иеремии”. И то, что этот ключ подобран правильно, доказывается финалом поэмы:

Дождь хлещет непрерывно. Все блестит.  
Завеса подворотни, окна косит,  
по жолобу свергаясь вниз, свистит.  
Намокшие углы дома возносятся.  
Горит свеча всего в одном окне.  
Холодный дождь стучит по тонкой раме.  
Как будто под водой, на самом дне  
трепещет в темноте и жжется пламя.  
.....  
Пришла лиса, блестят глаза в окне.  
Пред ней стекло, как волны, блики гасит.  
Она глядит — горит свеча на дне  
и длинными тенями стены красит.

“Дождь” и “вода”, в данном случае, не образы, а символы:

“Об этом плачу я; око мое изливает воды...  
...лей слезы день и ночь, не давай себе покоя...  
...изливай, как воду, сердце твое перед лицом Господа (...)  
о душе детей твоих, издыхающих от голода на углах всех улиц.  
Потоки вод изливают око мое о гибели дщери народа моего.  
Воды поднялись до головы моей; я сказал: “погиб я”.



Гиперболические описания Иеремии раскрывают сущность водных потоков в поэме — это слезы. Более того, установление источника этих слез позволяет определить и жанр “Исаака и Авраама” — плач. Могут, однако, возразить, что, в отличие от библейского текста, сам автор в поэме не присутствует; жанр же “плача” требует автора-персонажа. Это возражение снимает Иезекииль: “Пророки твои, Израиль, как л и с и ц ы в р а з в а л и н а х” (13:4). То, почему поэт возводит себя в ранг пророка, объяснимо двумя обстоятельствами: первое — избранный жанр (“плач”); второе — сугубо личное: портрет (памятная современникам рожаволосость Иосифа Бродского).

В чем же смысл стихотворного пророчества? Обычно в произведениях такого рода исторический урок извлекается без труда, будучи дан прямой речью Господа Бога. В поэме носителем слова Божия выступает Ангел:

Пойдем туда, где ждут твои стада  
травы иной, чем та, что здесь; где снится  
твоим шатрам тот день, число когда  
твоих детей с числом песка сравнится.  
Еще я помню: есть одна гора.  
В ее подножьи есть ручей, поляна.  
Оттуда пар ползет наверх с утра.  
Всегда шумит на склоне роща рьяно.  
.....  
И сонмы звезд блещут во тьме ночей,  
небесный свод покрывши часто, густо.  
В густой траве шумит волной ручей,  
и пар в ночи растет по форме русла.  
Пойдем туда, где все кусты молчат.  
Где нет сухих ветвей, где птицы свили  
гнездо из трав.

В первой своей части обетование Ангела соответствует классическому тексту:

“...благословляя благословлю тебя, и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на морском берегу...”

(“Бытие” 22:17)

Однако продолжение, против ожидания, выстроено не по Ангелу, а по Мандельштаму:

Не слышно птиц. Бессмертник не цветет.  
Прозрачны гривы табуна ночного.  
В сухой реке пустой челнок плывет.  
Среди кузнечиков беспамятствует слово.

(“Я слово позабыл...”)

Поскольку стихотворение О. Мандельштама описывает “чертог теней”, остается предположить, что пленительные картины, нарисованные Ангелом, есть пророчество не о грядущей жизни Авраама и его многочисленных потомков, но об обреченности избранного народа.

Перейдем к последнему моменту обетованного пейзажа — Горе. Выше мы уже отметили вхождение горы в ландшафт, причастный “Божественной комедии”, причем описывалось она теми же словами:

Еще я помню, есть одна гора...

Идет ли речь в данных отрывках об одной и той же возвышенности? Учитывая пророческий контекст последнего фрагмента, естественно допустить, что гора и ручей восприняты также и из видений Иезекииля: “весьма высокая гора”, на которой расположен отстроенный Иерусалим (40:2), и дающий жизнь поток, вытекающий из-под порога храма (47:1,9), и “на берегах потока много было деревьев по ту и другую сторону” (47:7). Гора же у Данте — это Чистилище, и на ее плоской вершине помещен Земной Рай.

Может показаться, что горы Данте и Иезекииля не имеют между собой ничего общего, однако это не так: в космосе “Божественной комедии” Чистилище и Иерусалим симметричны друг другу и увенчивают противоположные концы земного диаметра. Таким образом, функции Чистилища и Сиона тождественны, здесь собираются души умерших.

Что загораживает нам путь к окончательному постижению поэмы? То, чего нет ни в Библии, ни у Данте, ни у Мандельштама, — доска.

Никто не знает трещин, как доска  
(любых пород — из самых прочных, лучших, —  
пускай она толста, длинна, узка) ,  
когда разлад начнется между сучьев.

.....  
Вонзаешь нож (надрез едва ль глубок)  
и чувствуешь, что он уж в чьей-то власти.  
Доска его упорно тянет вбок  
и колется внезапно на две части.

.....  
Все трещины внутри сродни кусту,  
сплетаются, толкутся, тонут в спорах,  
одна из них всегда твердит: “расту”,  
и прах смолы пылится в темных порах.

.....  
От взора скрыт и крепко заперт вход.  
Но нож всегда (внутри, под ней, над нею)

останется слугою двух господ:  
ладони и доски — и кто сильнее...

Самое простое было бы решить, что "доска" выломана из "забора дощатого" в финале поэмы. Но цепь выстраивается совсем иная: "доска" описывается двумя символами — "куст" и "нож"; забор же только назван "дощатым", ранее ни разу не упоминается и, следовательно, необходимо заключить, что сам он — только указание на что-то иное, составленное из досок, что, как и забор, лишено щелей, отчего доски нельзя расколоть, что снабжено дверями, заперто замками, на то, откуда нет выхода. И это есть Вагон.

Из него нельзя бежать, он мчит без остановок, замки крепки, а все рассуждения о сравнительных качествах досок лишены смысла: резать их нечем — ножа нет, отобран:

Довольно, Авраам, испытан ты.  
Я нож забрал — тебе уж он не нужен.

Ангел, спасающий Исаака, отбирая нож, отнимает всякую надежду на спасение. Но рукою Ангела водит Господь, тот самый, который до этого вложил нож в руку Авраама.

Нож для убийства есть отобрание оружия, отображение оружия у убийцы есть отображение орудия спасения... Зло, постоянно оборачивающееся Добром, и Добро, бесконечно и неотвратно приносящее Зло... Законы этой карусели давно и подробно описаны в тайных учениях о двойственной природе Творца — благого и мстящего, милосердного и злопамятного, хранителя и врага рода человеческого. Однажды над этим задумались евреи — так появилась кабала.

Всякий раз, когда мы кладем чужой текст в основу собственного, мы вынуждены определить свое отношение к данному, избранному нами тексту, говоря проще — мы должны истолковать этот текст. Это относится и к настоящей статье, и к поэме Иосифа Бродского. Обратившись к рассказу об Аврааме и Исааке, поэт неизбежно вступает на путь экзегезы, стремясь обнаружить в тексте Писания скрытые ходы идей, очевидные внимательному глазу умолчания и мистический блеск недоговоренностей.

Так начавши, Бродский обязательно должен был повторить путь какой-либо из бесчисленных теологических доктрин (быть может, даже нескольких — все мистические идеологии в чем-то похожи). Так вот, обнаружив сходство с известной нам мистикой, мы никогда бы не могли с чистой совестью настаивать, что Бродский именно данную разновидность мистики и имел в виду. Все на свете имеет дело со всем: из того, что один обозначит отчая-

нием, другой (Б. Парамонов на материале стихотворения "Похороны Бобо") вытаскивает собрание сочинений Карла Густава Юнга.

Поэтому мы утверждаем, что Иосиф Бродский в своем анализе книги "Бытие" опирался на кабалу — только в кабале мир исследуется исчислением букв:

Кто? Куст. Что? Куст. В нем больше нет корней.  
В нем сами буквы больше слова, шире.  
"К" с веткой схоже, "У" — еще сильнее.  
Лишь "С" и "Т" в другом каком-то мире.  
У ветки "К" отростков только два,  
а ветка "У" — всего с одним суставом.  
Но вот урок: пришла пора слова  
учить по форме букв, в ущерб составам.

.....  
Что ж "С" и "Т" — а КУст пронзает хмарь.  
Что ж "С" и "Т" — все ветви рвутся в танец.  
Но вот он понял: "Т" — алтарь, алтарь,  
а "С" на нем лежит, как в путях агнец.

Расхождение с кабалой тут, пожалуй, единственное, но важное: кабрилист отыскивает тайный чертеж мира в буквах оригинального текста, Бродский же — в кириллице. Быть может, Иосиф Бродский не силен в иврите? Но откуда тогда строка:

Бредут стада. Торчит могильный дом.

"Могильный дом" — буквальный перевод "бейт кварот" — "кладбище"! Нет, дело в другом — языке, на котором еврей говорит о евреях, всегда несет в себе пророчество о еврейской судьбе:

По-русски Исаак теряет звук.  
Зато приобретает массу качеств,  
которые за "букву вместо двух"  
оплачивают втрое, в буквах прячась.

.....  
Что значит "С" мы знаем из к у с т а:  
"С" — это жертва, связанная туго.  
А буква "А" — среди этих букв старик,  
союз, чтоб между слов был звук раздельный.  
По существу же, — это страшный крик,  
младенческий, прискорбный, вой смертельный.

.....  
Пол-имени еще в устах торчит.  
Другую половину пламя прячет.  
И снова жертва на огне кричит:  
Вот то, что "ИСААК" по-русски значит.

Русский язык указывает путь, по которому пройдут русские евреи. С потерей звука потеряна надежда, потому что, если хотя

бы одна буква в свитке Торы будет утрачена, погибнет мир. И значит, Россия есть гибель.

Чтобы представить себе гибель евреев, не нужно быть футурологом: еврейский народ единственный, у которого конец света позади — Катастрофа. И потому поэма Бродского кончается не дантовским Мировым Светом, а Свечой — поминальной свечой.

Но свет этой свечи наталкивается на пламя другой — негасимой свечи Пастернака.

Идея стихотворения Пастернака не сложна: ночь, зима, горит свеча, женщина под пристальным взглядом мужчины сбрасывает туфли ("И падали два башмачка"), платье ("и воск слезами с ночника на платье капал"), затем мы можем судить о происходящем по отброшенным телами теням ("скрещенья рук, скрещенья ног"); само же любовное соитие есть не грех, а священнодействие ("И жар соблазна Вздымал, как ангел, два крыла, Крестообразно"), то есть "скрещение ног" уподобляется ангельским крыльям. Свеча символизирует победу любовной страсти, проще говоря — жизни, над холодом и смертью окружающего мирового пространства ("метель"). Переходя с уровня идей на уровень философии, мы устанавливаем, что для Пастернака осенение крестом "соблазна" есть снятие (в диалектической технологии — редукция первородного греха посредством искупительной жертвы Христа. И последний уровень содержания текста — метафизический: стихотворение "Зимняя ночь" — это эротика, повышенная до мировоззрения: мир может существовать, он был спасен навсегда и однажды.

Пастернак ставит свою свечу на стол и с восторгом взирает на потолок, на то, как ложатся тени скрещенных ног и рук. У Бродского свеча горит "на самом дне" — в пучине слез. Свеча сама красит стены длинными тенями, а люди теней не отбрасывают, их нет, людей, их увели. Дом пуст, и свеча в нем единственный обитатель. Куда же делся ангел?

Так вот что КУСТ: К, У, С и Т.  
Порывы ветра резко ветви кренят  
во все концы, до встречи им в кресте,  
где буква "Т" все пять одна заменит.  
Не только "С" придется там уснуть,  
не только "У" делится после снами.  
Лишь верхней планке стоит вниз скользнуть,  
не буква "Т" — а тотчас КРЕСТ пред нами.

Чтобы понять данный фрагмент, необходимо вернуться к самому началу — к названию. До сих пор мы благополучно обходили вызывающую необычность сочетания "И с а а к и

А в р а а м". Но ведь оно звучит так же странно, как если бы мы назвали известный роман Тургенева "Дети и отцы". Мы произносим "Исаак и Авраам", совершенно не задумываясь о сути.

Суть же такова: Сын и Отец. И тогда единство замысла обнаруживается и в этом рассказе, и в казни Сына Человеческого, и вообще в истории всех сыновей — всех потомков Авраама.

Бог приносит в жертву свой народ. И спасения нет.

Смысл Катастрофы не доступен человеческому рассудку. Понимание Катастрофы или нахождение в ней провиденциального смысла — равны оправданию, и следовательно, соучастию.

И тогда пламя всех всесожжений и всех крематориев съеживается до одной горящей свечи —

И все-таки она горит, горит.

— воскликнуто с жизнеутверждающей интонацией: "И все-таки она вертится!"

Но пожирает нечто, больше жизни.

Что это — превышающее жизнь? Вера!

Ибо Доска из вагонной стенки на языке иврит значит "луах", но "луах" — это и "скрижаль Завета"...

Бродский не устанавливает с Богом новый Завет, он разрывает Старый. Исследовав судьбу своего народа, Бродский понял свою собственную — Бог заключал с евреями не договор, Бог вынес им приговор. И Бродский проделал со своим народом весь путь, до самой смерти.

"Он был там и вернулся", — говорили флорентийцы, прочитав "Божественную комедию": и — "Он был там и не вернулся", — скажу я о Бродском.

После "Исаака и Авраама" у Бродского было два пути: перестать жить или перестать быть поэтом. Он нашел третий: перестал быть еврейским поэтом. За "Исааком и Авраамом" последовала "Большая элегия. Джону Донну".

Европейская элегия пришла на неостывшее место еврейской Катастрофы.

...Только теперь, 22 года спустя, мы начинаем понимать, какого поэта мы потеряли...

## ЛЮДИ И КНИГИ

### ИСПОВЕДЬ КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖАНР, ИЛИ ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ СВОБОДНЫМ...

Мы бежим в эмиграцию, мы прыгаем с пароходов, переползаем финскую, шведскую или турецкую границу, мы начинаем наше шествие в свободном мире: обличаем, чертыхаемся, проклинаем и, наконец, пишем исповеди. Может быть, это одно из самых интересных явлений нашего времени, нашего исхода из России – книги-исповеди. Сколько их уже написано и какие они все разные! Можно только удивляться, что все эти авторы жили в одной стране, в одно и то же время и принадлежали к одному и тому же классу – интеллигенции.

Почти восемь лет молчал Виктор Красин и, наконец, в 1983 году в издательстве Чалидзе в Нью-Йорке появилась его тоненькая книжечка "Суд". Автор книги во всем дошел до конца – в своем падении и в своей исповеди. Мне кажется, что это одна из самых страшных книг последних лет. Помню те дни в Москве, разговоры, что начнут сажать, как при Сталине, что уж во всяком случае посадят тех, кто занимается "Хроникой". Каждый день возникали новые слухи, но уже тогда многие понимали, почему КГБ выбрал на этот раз своими жертвами именно Красина и Якира. Виктор Красин очень откровенно и безыскусно пишет о своем падении: о том, как постепенно КГБ вовлекал его в расставленную ловушку, как играли на его привязанности к жене, на его самолюбии и тщеславии. Сколько тогда, в те месяцы, было разговоров, споров, помыслов, досужих размышлений, сколько гневных слов было высказано в адрес "предателей Красина и Якира"! И только однажды я услышала, как Толя Якобсон сказал одному возмущенному, разгневанному человеку: "Но ты ведь не знаешь, как ты сам будешь вести себя на семичасовом перекрестном допросе. А куда не знаешь – не осуждай". Тогда эти слова поразили меня. Ведь большинство действительно не знали, как вести себя на допросе и во что это может вылиться. Но предательство есть предательство, а человек, сказавший эти удивительные слова, Толя Якобсон, знал, как он будет себя вести.

У Красина в исповеди есть такие строки: "Были еще очные ставки с тобой – четыре или пять, но все они давались Александровским в виде вознаграждения за "хорошее поведение". Стыдно вспомнить об этом. Как мы сидели рядом и говорили об одном – о том, что скоро все кончится, и мы останемся вдвоем – и больше ничего нам не надо. Вот мы и остались вдвоем, одни на всей земле – и ничего хуже в человеческой жизни не бывает. Одиночество и отчаяние..." Слова эти обращены к жене Красина Надежде Емелькиной. Одиночество и отчаяние обрушились на этих двух людей здесь, в свободном мире – не в лагере, не в тюрьме, а на свободе. Действительно страшная плата за предательство и отступничество.

Книга Красина уникальный документ. Уникален он именно потому, что появился на свет в свободном мире. Автор рассказывает о своем прежнем страхе, об угрозе расстрела, о том, как ему обещали за нужные показания освободить жену, как поили на допросах в кабинете следователя хорошим чаем и давали лекарства от головной боли... Вот уже больше десяти лет живу я в свободном мире и уже не могу воспринимать все это как советский человек 60-х годов. Постепенно возникло у меня здесь ощущение бесценности человеческой личности, ее свободы и неповторимости на земле. Я не могу теперь однозначно ответить на многие из прежних во-

просов: компромиссы ради спасения близких? лекарства и чай в следственной тюрьме? Простое сравнение ценности человеческой личности в двух мирах может показать, как искалечены наши души, какое проклятие висит над нами. И самое страшное, что мы не умеем прощать, нет в нас доброты и "милости к падшим". Человек упал, дошел до конца, раскаялся, просит прощения, стоя на коленях: "Эта книга – не воспоминания. Это – исповедь человека, которого гордыня, тщеславие и высокомерное отношение к людям привели к катастрофе, едва не погубившей душу. Оканчивая эту книгу, я еще раз прошу прощения у всех, перед кем я так тяжело виноват, и да поверят они, что в рассказе своем я стремился к правде". Так кончается книга Красина. Да кто простит его, кто услышит его мольбу? Не думаю, что среди бывших друзей и соратников Красина найдутся такие. Но не могу осудить и их. Наверно, забыть так же невозможно, как родиться заново...

Как бы далеко мы ни бежали от своей родины-мачехи, во времени, в пространстве ли, но уйти от нее совсем еще никому не удалось. Судя по книгам – никому. (Может быть – почти никому.) Всех своих беглецов она держит на привязи. И в Израиле, и во Франции, и в Америке живут, как правило, русско-советские в своих гетто, и огромное большинство даже не помышляет выглянуть наружу. Конечно, язык тому помеха, но есть ведь люди, которые уже намного лучше знают новый свой язык, да все равно русские они, видно сразу – или образ мыслей выдает, или что-то неуловимое во взгляде, в походке, в повышенной нервозности, неприятии чужих взглядов. Может быть, по другую сторону планеты, в холодной Москве, непримиримость – это сила, люди могут таким образом сохранить свою душу, найти друзей, очертить мысленный меловой круг, оградиться от нечисти, остаться людьми. Но здесь, в мире разливанной свободы, все перечисленное превращается в свою противоположность и загоняет людей в другой круг – в гетто, пространственное или духовное.

Последнее время много пишут о книге Раисы Орловой "Воспоминания о непростедшем времени" (Издательство "Ардис", 1983 г.). Книга явно претендует на особую нравду, иногда ее еще называют "правдой-маткой". Характер и бывшая социальная принадлежность не дает автору отойти от этой правды ни на шаг. Р. Орлова была правоверным коммунистом, честным большевиком, честным литкритиком и редактором, она помогала многим и рассказала о своей жизни правдиво и интересно, не боясь своих прежних заблуждений, не страшась самого неприятного в своих воспоминаниях. Но поскольку Орлова всегда принадлежала партии, не только мыслями, но и душой, она всегда была несвободна от этой своей главной наставницы. Да и ушла она из партии только потому, что "илухис люди, карьеристы" захватили бразды правления. Приди к власти "болес приличные" и немножко болес "левые" партийцы, такая партия, видимо, вполне устроила бы Р. Орлову. Кажется, что принадлежность к партии делает человека несвободным навсегда. Партия – что тюрьма. Как человек, просидевший всю жизнь в тюрьме, не может понять никогда не сидевшего, так и партийный (или бывший партийный) не может понять человека, свободного от этой страшной идеологии. А такие свободные люди, хоть и редко, но все же встречаются на просторах нашей бывшей родины. Одним из них был Аркадий Викторович Белинков. Главу о нем Р. Орлова назвала "Предтеча". Я не хочу писать о книге Р. Орловой (уже много о ней писалось), но эта глава удивительно показываст. как не может Р. Орлова, человек не свободный и не освободившийся от своей бывшей партийности, писать о Белинкове, который всегда был свободен от коммунизма, социализма, марксизма, ленинизма, большевизма. Сколько бы отрицательных рассказов она ни



собрала, сколько бы "плохих" поступков ни описала, никакие "блюдечки с маслинами" и обиженные женщины не могут разрушить образ этого человека, случайно родившегося в несвободной России и никогда не верившего в справедливое торжество "честных коммунистов". А если он и был одержим ненавистью, то это была ненависть к палачам, к колючей проволоке, к страшной системе страны Советов и, конечно, ко всему, что питает и укрепляет ее. В книге Белинкова о Тынянове нет ненависти к Тынянову, а в книге об Олеше нет ненависти к Олеше. И не случайно глава о нем в книге Орловой выглядит как попытка мести – мести несвободного человека свободному.

Есть среди книг-исповедей и такие, авторы которых даже и не думают "освободиться". Они все время оглядываются на советскую цензуру и как будто даже пишут свои книги для нее. Одно из таких произведений – книга Александра Некрича "Отрешись от страха" ("Оверсиз пабликешнз", 1979 г.). У книги есть подзаголовок "Воспоминания историка". Четыреста страниц ее убогистого шрифта – это длинный, долгий рассказ о жизни и научных похождениях автора в стенах Института истории АН СССР. И хотя книга названа "Отрешись от страха", но написана она так, будто автор все-таки надеется, что "восторжествует справедливость" и его позовут обратно. Русского читателя, живущего в свободном мире, удивит вера Некрича в коммунизм "с человеческим лицом". Вот несколько цитат: "В партком были выбраны люди, зарекомендовавшие себя как сторонники прогрессивного направления, профессионалы высокой квалификации". "Партком решительно выступил против бездельников, окопавшихся в Институте". "Авторитет парткома 1965 года был очень велик... Никто из его членов не пытался извлечь какую-либо выгоду для себя лично..." Поражает серьезность, с которой все это написано. Честность партийного комитета вещь, конечно же, невероятная в стране, где партбилет называют "продовольственной книжкой". Очень подробно, с соблюдением надлежащей субординации, автор пишет о советских историках, окружавших его в институте. То и дело о ком-нибудь из них он говорит – это был настоящий, честный ученый. Читатель не может не споткнуться об эти слова – ведь речь идет о людях, создавших не просто историческую науку, а советскую концепцию исторической науки. подведших нужную базу под то, что названо "Историей ВКП (б)", "Историей СССР". Никто из этих людей не излагал даже примитивной исторической истины, все ставилось с ног на голову, перекраивалось, искоренялось, переписывалось. Вот один из многочисленных примеров: "Дискуссия началась с письма М. В. Нечкиной "К вопросу о формуле "наименьшее зло". Речь шла о том, что для пограничных народов Средней Азии и Кавказа присоединение к России было наименьшим злом по сравнению с угрозой присоединения их к остальным империям Турции или Персии, в которых большим влиянием пользовались английские агенты. Нечкина в своем письме предлагала рассматривать эту формулу в свете развития хозяйственной и культурной жизни народов Российской империи, несмотря и вопреки политике царизма. Особое внимание она придавала выяснению истории объединения трудовых людей разных народов в общей борьбе против эксплуататоров..."

Читаешь и глазам своим не веришь. Ну, ладно Нечкина, она придумала свою "формулу" в 1951 году, но ведь книга Некрича вышла в свет в 1979-м, в Лондоне, а автор, судя по всему, по-прежнему присоединяется к Нечкиной. Ее, как и многих ей подобных, он называет честным историком. И не устает упоминать все чины и звания своих бывших коллег. Вот какой видится ему другой "выдающийся" деятель исторической науки: "Спустя некоторое время Анна Михайловна Панкратова встретилась со мной. Сидели мы

вдвоем в совершенно пустом зале заседаний... и мирно беседовали. Анна Михайловна была человеком душевным, совестливым и от природы глубоко порядочным. По роду занятий, по занимаемому ею видному положению ей не раз приходилось... кривить душой, и она от этого очень страдала..." Право, кажется, что речь идет о каком-то соратнике академика Сахарова, а не об одном из апологетов советского коммунизма, авторе "Истории СССР", члене ЦК.

Что это за наука – "история СССР" и вообще "советская историческая наука", если до XX съезда партии студентам и аспирантам исторических факультетов не выдавали в библиотеках никаких старых газет, даже большевистских? Сам Некрич писал в 1955 году руководству Академии Наук о запрете работать с архивными документами.

Некрич прошел войну. Он написал о ней правдивую книгу ("1941 22 июня"), ставшую вехой в нашем понимании ее истории. Но видно слишком глубоки корни партийности, не дают они ему вырваться на свободу, "отрешиться" от коммунизма. Вот она, веревочка, которой привязан вроде бы и честный человек...

Книга еще одного ученого, физика-атомщика Сергея Поликанова "Разрыв" ("Посев", 1983 г.) в каком-то смысле тоже "историческая". Это история советской атомной физики, ее возникновения и развития. Автор – член-корреспондент АН СССР, лауреат Ленинской премии и премии Американского физического общества – эмигрировал на Запад в 1978 году. Еще одна судьба, еще один аспект советской системы, еще один интересный человеческий документ. Точнее – мог бы быть интересный человеческий документ, если бы все в книге не сводилось к личной карьере и многочисленным потребностям ее делания. Добрую половину книги занимают несложившиеся отношения Поликанова с академиком Флеровым, а в целом из нее явствует, что решение автора уехать на Запад продиктовано прежде всего соображениями карьеры и поисками жизненных удобств. Например, не хотел ездить за границу один, а хотел брать с собой жену и дочь. И правильно хотел, конечно! Только все это факты его личной биографии и семейной жизни. А что же кроме этого? Как-то странно читать эту книгу, когда знаешь, что в то же время в России жил другой физик – А. Д. Сахаров. Сколько интересного, поистине уникального мог бы, по-видимому, рассказать Сергей Поликанов, если бы отрешился, хоть на время, от своего честолюбия и мыслей о карьере!

Когда читаешь эти книги "о неудавшейся карьере" – "Разрыв" или "Отрешись от страха" – в голову приходят странные мысли. А чем, собственно, они плохи? Карьера, продвижение по службе, успех – одна из очень важных сторон человеческой жизни. В свободном мире к этому относятся с большим уважением. В мире же несвободном человек, пекущийся только о своей карьере, как бы перестает быть вполне человеком, теряет душу. В мире вверх ногами, из которого мы усхали, понятия "душа" и "карьера" несовместимы, хорошо это или плохо. Так было не всегда: еще в предвоенные и послевоенные годы советский интеллигент мог вполне спокойно гордиться своей карьерой, – но за последние 25 лет сознание целых поколений, видимо, перевернулось. Эти поколения диссидентства и самиздата поистине отрешились от страха, от наваждения коммунизма и начали заново, почти на пустом месте, создавать свои духовные ценности. Их кумирами стали отрешившиеся от своей карьеры Сахаров и Григоренко, Синявский и Вайнович. В их среде родилось необыкновенное взаимопонимание, взаимная поддержка, братство, милосердие. Еще несколько лет назад объявленное отжившим понятие "душа" опять возродилось из пепла, из забвения.

“Сколько их, этих людей – бесстрашных, пренебрегающих презренной пользой, отдающих душу свою за други своя?.. И иногда, в счастливые минуты, мне кажется, что я тоже один из них... и я читаю им свои стихи:

Еще нас ждет удача или слава,  
Еще поет нам песни Окуджава...  
Что из того, что прошлое в крови?  
Нам хорошо. Не сломлена отвага.  
Поговорим о бурных днях ГУЛага,  
О Пушкине, о дружбе, о любви.

Это отрывок из книги Льва Друскина “Спасенная книга” (“Оверсиз паблейкешнз”, 1983 г.). Автор ее ленинградский поэт, несколько лет назад эмигрировавший на Запад. Это первая его прозаическая книга, но то, что написал ее поэт, чувствуешь в каждой главе, в каждой строчке. Поэзия – это жизнь автора “Спасенной книги”. Шаг за шагом, начиная с далекого детства, он анализирует прошлое и подводит к мысли о том, что главное в человеке сохранность души. Книга Друскина – тоже исповедь, но как непохожа она на исповеди Некрича, Поликанова, Орловой. Болезнь и физические страдания еще в детстве приковали Друскина к инвалидному креслу, замкнули его мир; но одновременно открылись для него особые высоты духа, поэзии, общения с близкими людьми.

“Спасенная книга” – это поэтическая и духовная история нескольких поколений людей, отрешившихся от страха и порвавших с коммунистической системой. Бегство этих людей, бегство четверти миллиона в эмиграцию – случай беспрецедентный в истории “победившего социализма”. Книга Друскина кончается страшным эпизодом этого отъезда. Команда самолета по приказу КГБ отказалась помочь парализованному автору подняться в самолет. Тогда на помощь бросились иностранцы, два итальянца. “Одного из них я обхватил за шею, другой взял меня под колени, и по тесному проходу они протиснулись со мной в первый салон и бережно, но неумело опустили на сиденье. Пассажиров было мало. В соседнем купе один итальянец спрашивал у Лили: “Что сделал этот человек, ваш муж? Почему команда ведет себя так?” Лили сказала: “У него отобрали дневник”. Итальянец не понял: “Книгу?” – “Нет, рукопись”. – “И все?” – “И все”. Тут итальянец произнес великолепные слова: “У вас еще будут проблемы. И вероятно много. Но они будут совсем другие. Таких унижений вы не испытаете уже никогда”.

И это чистая правда!

“Разнообразие спасительно для души”, – написал ссыльный Александр Пушкин своему другу Дельвигу из Бессарабии. Хочется надеяться, что мы, выбрав отъезд – наше разнообразие, спасли свои души.

*Анна Маюлина*

### КТО ОТКРЫЛ ИОНУ ВОЛОХ?

Временами кажется, что это война всех против всех. хотя на самом деле выстрелы и атаки – лишь один из аспектов израильской литературной жизни. Есть еще и весьма густое для такой маленькой страны тарахтение пишущих машинок. И хорошо это или плохо, но журналы, которые на этих машинках

печатаются, точнее отражают динамичные тенденции ивритской литературы, чем книги и антологии. И это, пожалуй, единственное утверждение, в котором все редакторы будут единодушны.

Несмотря на экономические трудности, на минных полях журнальной жизни наблюдается сейчас определенный расцвет. К шести уже существующим литературным журналам (с тиражами от полутора до пяти тысяч каждый) за последние полгода прибавилось еще три. Правда, кое-кто напоминает, что другие журналы зато исчезли или выходят не чаще раза в год, так что говорить о расцвете преждевременно.

Как и во всякой гутенберговской культуре, каждый израильский журнал предлагает читателям несколько иной набор авторов. Некоторые издания и возникают-то прежде всего потому, что те или иные авторы чувствуют себя обойденными. Зато другие, стоящие у входа в этот заповедник, говорят о них: "Ах, эти?!" Или, как один из редакторов-ветеранов сказал о новом издании: "Ну, они же весь свой материал берут из корзины, куда я выбрасываю отвергнутые рукописи..."

Так, вероятно, обстоит повсюду, но в Израиле все это произносится страстно, яростно, почти ненавистно. Поэт и редактор Натан Зах считает, что такие интонации отражают общую свирепость израильского общества. "Правда, — добавляет он, — я не знаю, как обстоят дела в Замбии..." Он не знает, как в Замбии, но в Израиле критика часто подменяется выдачей оценок и категоричными утверждениями. Зах цитирует Кишона: "Евреи готовы простить все, кроме таланта".

Редакторы по меньшей мере двух журналов начали разговор со мной с того, что яростно напали на израильские газеты за то, что они мало пишут о литературе. И один из них вдобавок категорически потребовал, чтобы я об этом написала. После чего они стали спорить, кто из них открыл поэтесу Иону Волох.

Некоторые негативные аспекты израильской литературной жизни происходят из того, что круг ее весьма узок. "Когда все писатели знают друг друга, — говорит Натан Зах, — и хуже того, когда знают друг друга все писатели и все критики, неизбежно складывается нездоровая обстановка. После стольких лет знакомства трудно ожидать от них объективности".

Но и в этом отношении Израиль, вероятно, похож на все остальные страны. Как и всюду, здесь ведутся ожесточенные бои между авангардистами и консерваторами, между молодыми и стариками, вокруг проблемы отношений между литературой и политикой, культурой и идеологией. Как и всюду, здесь оживленно дебатруется вечный вопрос, кто на кого повлиял. Чисто местной является разве что проблема, кто открыл Иону Волох. А что касается тесноги, вынуждающей всех сидеть в одних и тех же кафе на расстоянии плевка друг в друга, то она, возможно, не только мешает, но также и способствует развитию новой израильской литературы — той, что постепенно освобождается от засилья идеологии и пытается понять реальную действительность. Или игнорировать ее. Эта литература выдает на-гора немало отличных произведений, хотя верно, что не всегда самое шумное в ней — одновременно и самое лучшее.

Вблизи израильские литературные журналы распадаются на несколько групп. Одну образуют три издания, которые считаются ведущими; в другую входят два ежемесечника, которых объединяет большой формат (их можно читать, поставив на них тарелку супа); в третью состоят два журнала с арамейскими названиями. Есть еще один журнал, выделяющийся тем, что на него не нападают все остальные; и последний, особенность которого в том, что он еще не появился.

Самым старым и умеренным из ведущих является "Мознаим" ("Весы") — ежемесичник Объединения израильских писателей, основанный Бяликом еще 57 лет назад. Он возродился три года тому под руководством поэта Ашера Рейха и критика Зисси Стави, который вот уже двадцать лет ведет литературное приложение к газете "Едиот ахронот". Позднее Стави сменил Хаим Пессах, редактор издательства "Ам овед".

Некоторые читатели считают, что "Мознаим" слишком "семейный" журнал, поскольку в нем печатается больше членов Объединения, чем они того заслуживают. Но Рейх утверждает, что он "никогда не подчиняется требованию печатать только членов Объединения". В общем, однако, и читатели, и критики согласны, что при Рейхе и Пессахе журнал заметно улучшился. Перечисляя тематику в порядке предпочтительности, Пессах называет ивритскую литературу, затем еврейскую, созданную вне Израйля, и наконец мировую. Существенно, говорит он, выдерживать баланс. "Мознаим" посвятил специальные выпуски американской поэзии, французской еврейской литературе, "палестинской" литературе (евреи в арабских произведениях и арабы в еврейской), литературе Югославии и так далее.

Почти половину своего бюджета "Мознаим" получает от Министерства культуры. Его офис помещается в Доме писателей на улице Каплан в Тель-Авиве, но большинство дел решается в писательском кафе "Сифрия" ("Библиотека") в том же здании, — после того как закрылось знаменитое кафе "Штерн" на Дизенгоф, где по традиции собирались литературные группы и амбициозный молодецник.

Один из завсегдатаев "Штерна", Габриэль Мокед, 25 лет назад вместе с Барухом Хефецом создал журнал "Ахшав", редактором которого является по сию пору. Его редакция помещается у него на квартире, где под крышей есть кладовка, забитая нераспроданными старыми выпусками журнала. Мокед, вероятно, самый динамичный из редакторов. Некоторые считают, что он любит рисковать, отмечая, что благодаря этому он открыл несколько талантливых авторов; другие говорят, что он был хорош вначале, но сейчас потерял нюх, а один из моих собеседников-редакторов вообще не нашел за ним никаких заслуг.

В 60-е годы "Ахшав" "вывел в люди" таких поэтов, как Меир Визель-тир, Далия Равикович и — Иона Волох. "Ахшав" публикует также книги, в том числе первые издания Аарона Апсфельда, Иуды Амихая и Аарона Шабтая. Ныншнее поколение авторов журнала — это двадцатилетки. Зато некоторые из "воспитанников-ветеранов" больше не появляются на его страницах, и Мокед обвиняет их в неблагодарности. Но другой редактор злорадно сообщает мне, что "Мокед всегда страдал от этого, он такой — у него все лошадки разбегаются".

Когда-то "Ахшав" был ежесквартальником, но в последние годы он выходит значительно реже. На замечание, что стоило бы выходить регулярно, Мокед реагирует ворчливо: "Не учите меня делать мой бизнес!" Действительно, журнал, в основном, является его собственностью — только 10 процентов его бюджета покрывается Министерством культуры. Мокед даст читателю 720 страниц в год, тогда как другие, по его словам, не в состоянии выпустить даже 32 страницы хорошего текста. Только "провинциальный микроскопизм" израильской литературной общины, считает Мокед, позволяет ей думать, что можно публиковать хорошие вещи каждый месяц.

К своей двадцать пятой годовщине "Ахшав" выпустил толстый номер, посвященный прозе, и сейчас готовит еще три выпуска — поэзии, средневековой ивритской литературы и переводов. Кроме того Мокед участву-

ет в подготовке нового издания – англоязычного "Тель-авивского обозрения – совместно с "Мознаим", ежемесячником "Итон-77" и Центром борьбы за мир на Ближнем Востоке. Первый выпуск "Обозрения", который "должен представить диаспоре мыслящий Израиль", намечено издать летом этого года. Это должно быть независимое издание, подчеркивает Мокед, напоминая, что все другие англоязычные издания в Израиле находятся в руках истеблишмента.

Мокед – враг истеблишмента и потому главная его мишень среди других редакторов – это Менахем Пери, журнал которого "Симан Крия" ("Восклицательный знак"), связан с Тель-Авивским университетом (где Пери возглавляет кафедру общей литературы) и получает дотацию из издательства "Акибуц амеухад". Пери основал свой журнал в 1972 году вместе с Меиром Визельтером, одним из сбежавших от Мокеда поэтов. В прошлом у Пери с Мокедом было немало яростных литературных полемик, но сейчас они хранят вооруженный нейтралитет и, говорят, даже питают уважение друг к другу. Впрочем, нельзя верить всему, что говорят.

Пери считает одним из достижений своего журнала переводы. "Когда мы начинали, – говорит он, – на иврите не было ни Вирджинии Вульф, ни Скотта Фитцджеральда". Некоторые переводы, начатые в журнале, позже были изданы отдельными книгами, порой с тиражом до семи тысяч экземпляров, что в Израиле, по общему мнению, является бестселлером. Сейчас очередной выпуск "Симан Крия" задержался уже почти на год, и Пери признает, что это плохая репутация для журнала, но не следует забывать, что журнал этот – в сущности, дело рук одного человека, к тому же чудовищно занятого – Пери одновременно руководит кафедрой, преподает, пишет, редактирует, издает, ведет кулинарную колонку в еженедельнике и колонку литературных сплетен в ежедневной газете, поет в опере и вдобавок еще выступает в роли эксперта.

Теперь – о журналах, покрывающих чуть не полстола. Это "Итон-77" и "Проза". Вдобавок к одинаковому формату у них еще и общее происхождение: "Проза" была основана издателем Йоси Крайемом и редактором Яковом Бессером, затем они разошлись, и Бессер начал издавать "Итон-77", а Крайем стал редактором "Прозы".

Бессер видит различие между израильскими журналами в том, что одни тяготеют к англологичности, другие являются трибуной определенной группы. а третьи выражают определенную идеологию. "Итон-77" принадлежит к третьей категории, являясь, по мнению многих, самым откровенно политизированным из всех израильских литературных журналов. Бессер определяет идеологию своего издания как "новый реализм, связывающий литературный процесс с возникающим обществом". Журнал открыл читателям многих писателей-иммигрантов, включая самого Бессера поэта, родившегося в Польше. Он публикует еврейскую литературу других стран и переводы из арабской литературы. Часть последнего выпуска посвящена статьям и дискуссиям по проблеме сохранения демократии – образа жизни, который отстаивает журнал. Говоря о политике, Бессер заявляет: "Литература всегда должна быть в оппозиции. Нет такой идеальной действительности, против которой не следовало бы бороться". Надо заметить, что все израильские журналы являются в той или иной мере "левыми", и их отличают в этом смысле только критерии отбора – у одних чисто литературные, у других – с учетом политических соображений.

"Итон-77" получает большую поддержку от Министерства культуры и Гистадрута, но 85 процентов его бюджета покрывается продажей, подпиской и рекламой. Его тираж, вероятно, самый большой среди израиль-

ских журналов – около 5000. Многие редакторы считают, что чрезмерная политическая и социальная ангажированность вредит чисто литературному уровню журнала, но Бессер отвергает это обвинение. "Уровень журнала, как и уровень литературы не может держаться только на гениях, – говорит он. – Вершины появляются только со временем. Журнал должен отражать всю эволюцию".

Бывший соратник Бессера Йоси Крайем утверждает, что всякий журнал – прежде всего дело личного вкуса. Чтобы не слишком сузить характер своего издания, он часто приглашает в "Прозу" редакторов-гостей. Одну из своих задач он видит в пропагандировании определенных авторов (например, Амоса Кейнана – прозаика, Йорама Реувени и других); но еще более важным считает создание "областей читательского интереса". Один из выпусков "Прозы", посвященный кнаанитскому движению в израильской литературе, стал, например, университетским пособием. "Я не хочу воспитывать, – говорит Крайем, – но, как и все, я хочу влиять". Подобно Бессеру, он отвергает элитизм и публикует даже совсем неизвестных авторов. Риск оправдывается: из ста опубликованных у него поэтов и прозаиков свыше двадцати вошли в литературу, то есть продолжают публиковаться по сей день.

Как во всякой литературе, в израильской происходит неизбежный процесс истеблиширования преуспевающих изданий и прихода им на сцену бунтарских молодых начинаний. Такого рода бунтарским начинанием была "Шуфра" под редакцией Илана Шайнфельда. Этот литературный журнал с арамейским названием объявил, что будет выходить каждые полтора месяца и станет "журналом для улицы" – не слишком академичным, не слишком глубокомысленным. По мнению Шайнфельда, появление новых журналов всегда свидетельствует о переменах в литературной иерархии – например, о том, что лучшим поэтом Израиля стали считать Иону Волох. "Шуфра" отдает свои страницы преимущественно молодым и старательно указывает возраст своих авторов – обычно ниже тридцати. Сам Шайнфельд – 24-летний поэт и заместитель редактора литературного приложения к газете "Аль-Амишмар" – преподает в Тель-Авивском университете и в школе кибуцных инструкторов. Некоторые "старички" из редакторов поддержали начинание Шайнфельда. Пери, например, считает, что израильской литературе полезна небольшая встряска, ей недостает настоящей оппозиции со стороны молодых. Крайем тоже думает, что молодым нужна собственная трибуна и готов поддержать новое издание. И уж конечно революция Шайнфельда не встретила никакого официального сопротивления.

Второй журнал с арамейским названием "Игра" ("Крыша") не претендует на радикализм, а некоторым даже кажется "консервативным". Ведет его Натан Зах вместе с иерусалимским критиком Даном Мирном. "Игра" была задумана как ежегодник на 240 страницах, отражающий текущее состояние израильской культуры. Темы прошлогоднего выпуска, признается Зах, напрашивались сами собой: Орвелл, война в Ливане, сто лет со дня рождения Кафки; в нынешнем году редакторам придется трудней. В первом выпуске журнала наибольшее внимание привлекла большая статья Дана Мирона, атаковавшего националистическую направленность песен Наоми Шемер. Гостем выпуска был американский писатель Ирвинг Хау. А что думает Натан Зах о "Шурфе"? Зах изображает изумление: Шайнфельд его друг, но он, Зах, никогда не слышал о таком журнале...

В стороне от журнальных боев стоит "Хадарим" ("Комнаты"), который издает Хаит Иешурун на деньги своего мужа, владельца тель-авивской галереи "Гордон". Журнал целиком посвящен поэзии и был задуман

как ежешестимсячник; но редактор предпочитает ждать, пока накопится хороший материал, даже с риском опоздать в сроках. Каждый выпуск журнала посвящен определенной теме: политической поэзии в третьем номере, "почвенной" в четвертом; в каждом номере есть интервью с тем или иным поэтом. В последнем, это само собой разумеется, интервью с Ионой Волох.

Еще один журнал, целиком посвященный поэзии, — это готовящийся к выпуску "Маком" ("Место"), руководимый 32-летним Хези Лескали. Лескали ведет отдел литературы и искусства в тель-авивской городской газете "Аир" и считает, что его журнал должен знакомить читателя не только с новейшей израильской, но и западной поэзией. Поэтому половина первого выпуска будет посвящена переводам из бостонского поэта Фрэнка Бидарта и статье о нем Зали Гуревича. Обложка журнала будет содержать слово "Маком" и меняющуюся цифру очередного номера. Это, по мнению Лескали, подчеркнет одновременно постоянство и развитие. "А главное, — улыбаясь он, — это не по-арамейски".

Что же касается того, кто все-таки открыл Иону Волох, то об этом лучше всего спросить саму поэтессу.

*Марша Померанц*

**С 1984 года в Мюнхене выходит ежемесячный общественно-политический, экономический и культурно-философский журнал**  
**СТРАНА И МИР**

Журнал обращен ко всем читающим по-русски, вне зависимости от их политической, национальной или религиозной принадлежности — живущим в СССР и за рубежом. Объем журнала 96 стр. крупного формата.

В каждом номере журнала: ежемесячный обзор важнейших политических событий; интервью и выступления политических деятелей; облик тоталитаризма; СССР — взгляды изнутри и извне; проблемы современного Запада; историческая ретроспектива; судьбы русской интеллигенции; литература и общество; религиозное движение нашего времени. Журнал иллюстрируется фотографиями и рисунками.

Стоимость годовой подписки 60 нем. марок. Стоимость полугодовой подписки — 30 нем. марок. Цена одного номера — 6 нем. марок. Доставка авиапочтой — за дополнительную плату (10 долларов в США, Канаде и Израиле, 20 долларов в Австралии и Новой Зеландии). Подписная плата принимается перечислениями на банковский счет (Deutsche Bank Munchen, BLZ 700 700 10, Konto-Nr 331 9613, Das Land und die Welt e-V), или на почтовый счет (Postgiroamt Munchen, Postcheck-Konto-Nr.22 3981-804), а также в виде чека. При посылке чека просьба добавить к подписной плате 5 нем. марок.



## **Продолжается подписка на журнал "Двадцать два"**

Стоимость годичной подписки: в Израиле — до выхода следующего номера — 25000 шекелей, после этого — в соответствии с новым уровнем цен; за рубежом — 40 долларов (авиапочтой в Европу — 50, в США — 56 долларов), для организаций — 50 долларов. Заказы и чеки направлять по адресу: "22", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль — или представителям журнала на местах:

### **Соединенные Штаты**

L. Khotin, 235 17 Mile Dr., Pacific Grove, Ca. 93950

### **Западная Германия**

L. Roitman, 67 Oettingerst. am Englischen Garten, 8 Muenchen 22 BDR

L. Gerstein, 12 Muehlbauerst., 8 Muenchen 80 BDR

### **Великобритания**

R. Weisman, 1 Lodge Rd., Hendon, London NW4

## **КО ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ**

Мы призываем всех, кто заинтересован в сохранении нашего журнала, помочь нам пожертвованиями, которые будут приняты с глубокой и искренней благодарностью независимо от их размера.

В марте-апреле журнал поддержали пожертвованиями следующие лица: Я. Аронсон (Холон) — 2500 шек., др З. Брук (Хайфа) — 6825 шек., А. Гальперн (Тель-Авив) — 5000 шек., П. Шифман (Иегуд) — 2000 шек., А. Кербель (Рамат-Шауль) — 5500 шек., Л. Шинкар (Кирон) — 2500 шек., М. Ременик (Иерусалим) — 500 шек., З. Цур (Беер-Шева) — 3000 шек., В. Элиашберг (США) — 50 долл., В. Матлин (США) — 20 долл., Л. Цукерман (США) — 10 долл., Ю. Вельцер (США) — 10 долл., В. Воронель (США) — 27 долл., Б. Тененбаум (США) — 10 долл., Типография "Яков" (Тель-Авив) — 50 долл.

## **КО ВСЕМ АВТОРАМ**

Редакция не возвращает отвергнутые рукописи и не вступает в переписку по их поводу.

REPUBLICAN PARTY

...

...

...

...